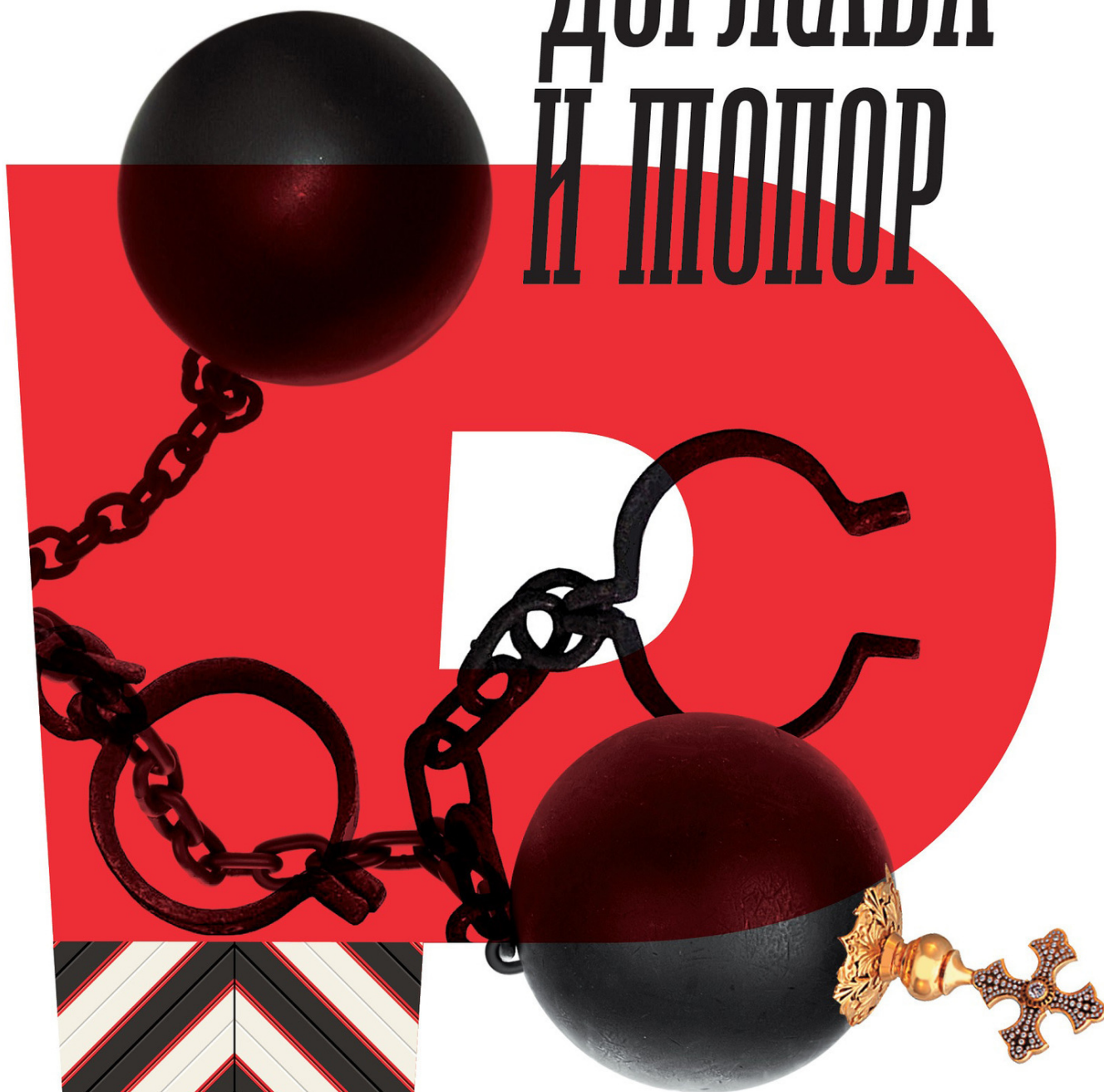


ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ

ДЕРЖАВА И ТОПОР



ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ,
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЫСК
И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО
В XVIII ВЕКЕ

ЧТО
ТАКОЕ
РОССИЯ

Что такое Россия

ЕВГЕНИЙ АНИСИМОВ

Держава и топор

«НЛО»

2019

УДК 323.281(091)(47+57)«17»
ББК 63.3(2)51-36

Анисимов Е. В.

Держава и топор / Е. В. Анисимов — «НЛО», 2019 — (Что такое Россия)

Самодержавие и политический сыск – два исторических института, теснейшим образом связанные друг с другом. Смысл сыска состоял прежде всего в защите монарха и подавлении не только политической оппозиции, но и малейших сомнений подданных в правомерности действий верховной власти. Все самодержцы и самодержицы XVIII века были причастны к политическому сыску: заводили дела, участвовали в допросах, выносили приговоры. В книге рассмотрена система государственных (политических) преступлений, эволюция органов политического сыска и сыскная практика: донос, арест, допрос, следствие, пытки, вынесение приговора, казнь или ссылка. Читатель сможет понаблюдать, как в течение века XVIII века проявлялось самосознание русского общества, каковы были его чаяния и как на них откликалось государство, меняя уголовное законодательство. Евгений Анисимов – доктор исторических наук, профессор и научный руководитель департамента истории НИУ Высшая школа экономики (Петербургский филиал), профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. Автор нескольких сотен научных публикаций.

УДК 323.281(091)(47+57)«17»

ББК 63.3(2)51-36

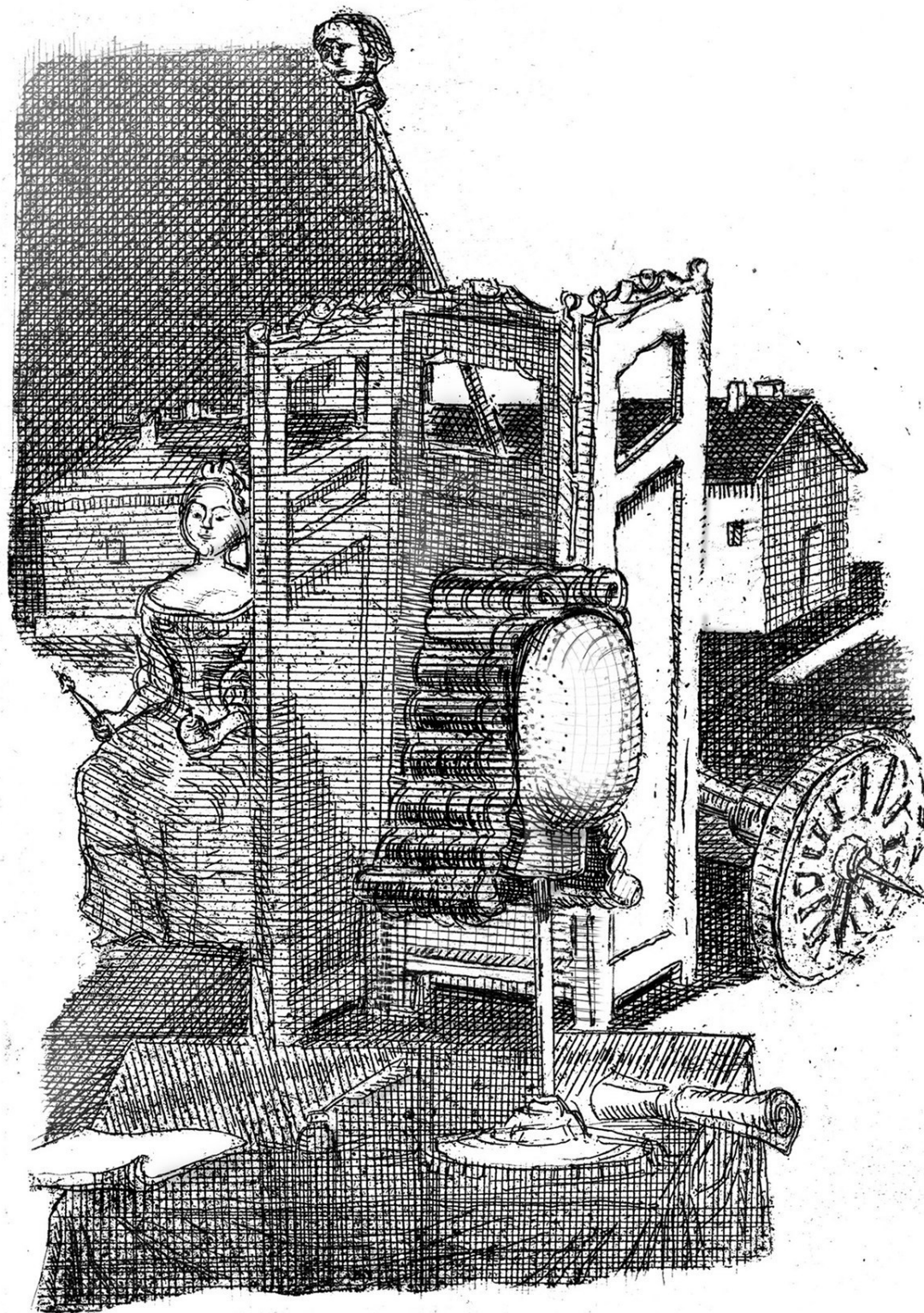
© Анисимов Е. В., 2019

© НЛО, 2019

Содержание

Введение	8
Глава 1. Государственные преступления в XVIII веке	12
Глава 2. Самодержец и органы политического сыска	31
Глава 3. «Донести, где надлежит»	48
Глава 4. Опала и арест	66
Глава 5. «Роспрос»	79
Глава 6. Розыск в застенке	99
Глава 7. Приговор	118
Глава 8. «Наутра казнь»	130
Глава 9. Тюрьма и ссылка	148
Вместо заключения	165
Краткая библиография	167
Иллюстрации	168
Список иллюстраций	194

Евгений Анисимов
Держава и топор
*Царская власть, политический
сыск и русское общество в XVIII веке*



Во время дознания по особо важным делам монарх зачастую присутствовал при расспросах за ширмой, невидимый для обвиняемых. В 1742 году при рассмотрении дела Остермана, Миниха и других за ширмой была Елизавета Петровна. Так в ряде случаев поступала и Анна Ивановна. Но, даже не присутствуя лично, образ императорский всегда был в расспросной палате, зримый или незримый, а все происходившее там делалось с императорским именем на устах.

Введение

Несомненно, идея этой книги, возникшая еще в позднесоветские годы, была продиктована моим желанием изжить из своей души страх перед органами политического сыска, которые после революции 1991 года как бы нас отпустили. Этот «генетический» страх гнезвился в моем сознании всегда и был унаследован от поколений предков. При этом нельзя сказать, что страх этот для меня, мирного академического ученого, занимавшегося финансовыми проблемами XVIII века, не имел под собой оснований. Помню, как перед защитой диссертации, в 1984 году, меня «зацепил» так называемый «куратор» нашего института и стал назначать мне встречи для бесед в разных местах города. Довольно скоро стало ясно, что он вербует меня в стукачи. И тогда я запаниковал, я испытал то, что называется Великим Государственным Страхом, поражающим моих предков. Момент для вербовки был выбран удачно: если я пошлю его по известному адресу, то моя защита может и не состояться – достаточно с Литейного позвонить моему оппоненту и порекомендовать ему не ехать на защиту. Идти же в стукачи было для меня также невозможно, и я довольно скоро оказался перед страшной дилеммой, перед которой оказывались многие герои этой книги: «И доносить мерзко, и не доносить страшно» или в другом варианте: «Либо Отечество продать, либо бессмертную душу». Беседуя с «куратором», я видел, что он человек невежественный, неумный, явный неудачник, выполнявший свою работу халатно, говоривший о пользе стукачества для родины неубедительно, рутинно. Но при этом он был страшен для меня не сам по себе, а тем, что за его спиной стояло Государство, которое могло сделать со мной все что хотело. Все помнили историю Кости Азадовского, у которого во время обыска «нашли» наркотики и отправили на пару лет на Колыму, в сущности, ни за что – он, переводчик и преподаватель, не был ни диссидентом, ни террористом, а лишь адресатом писем своих многочисленных западных коллег-филологов! И я, пригвожденный Великим Государственным Страхом, не спал по ночам и маялся от тоски. Но постепенно я стал приходить в себя. Один из героев этой книги был приведен в Тайную канцелярию и от страха не мог говорить, а лишь стучал зубами. Мудрый начальник Тайной канцелярии генерал Ушаков велел посадить его в каземат, к другим бедолагам, чтобы он «обнюхался», обвыкся и спустя пару дней был уже пригоден для сыскной работы. Вот и я также «обнюхался», разобрался со своим Страхом. Было ясно, что судьба Кости мне не грозит, как и вообще обязательный для нормального человека опыт нюхания параша, что в худшем случае сорвется моя защита. Важно, что я намеревался защищаться по опубликованной ранее книжке, которая уже вошла в научный оборот. Так что удар наносился лишь по моему тщеславию иметь степень и отчасти по карману – без степени меня бы не перевели в старшие научные сотрудники. И всё! Перемена моего настроения с этого момента была очевидна, в беседах с «куратором» я стал вести себя более свободно, даже развязно, позволял себе опаздывать на свидания, шутить. И он от меня отстал, защита прошла успешно, но испытанный мною Страх, промелькнувший надо мной, как тень пролетевшей огромной птицы, оставил в моей душе след и вылился в книгу «Дыба и кнут» – сублимацию Великого Государственного Страха, – которую двадцать лет назад я опубликовал в издательстве «Новое литературное обозрение». На тот момент история политического сыска как института по преимуществу внесудебного и незаконного преследования государственных (политических) преступников в XVIII веке не рассматривалась в таком объеме, исследование было новаторским. Прошли годы, но своей актуальности книга не потеряла, и я решил подготовить ее краткий популярный вариант, чтобы с темой познакомился широкий круг читателей. Было бы ханжеством сказать, что, работая над этой темой, я не думал о недавнем прошлом нашей страны и ее настоящем. Демоны политического сыска живы на Лубянке и Литейном, живы они и в сознании свободных граждан России.

Я мог бы посвятить эту книгу всем доносчикам русской истории, без упорного, творческого труда которых эта книга вряд ли была бы написана. Не будем забывать, что с изветов начиналось 99,9 % политических дел в России XVIII века. Однако такое посвящение будет понято как снобизм автора, а некоторые простые души даже поощрит к желанию именно так запечатлеться в будущей истории России. Поэтому я посвящаю эту книгу моим друзьям, коллегам, родным, в особенности моей жене Нине, которую я несколько лет безжалостно истязал рассказами об ужасах Тайной канцелярии и принуждал читать главы книги. Благодарен я также редактору книжной серии «Что такое Россия» Дмитрию Спорову и редактору этой книги Андрею Топычанову, которые взяли на себя тяжкий труд редактировать мой текст. С теплым чувством я вспоминаю сотрудников Российского государственного архива древних актов и в первую очередь заведующего читальным залом архива А. И. Гамаюнова. Однажды, видя, что я не успеваю до конца работы читального зала составить конспект по выданному мне делу, он взялся помогать мне. Это была обширная итоговая ведомость по приговорам, вынесенным Тайной канцелярией в 1730–1740-х годах. Проводив последнего читателя и погасив в зале верхний свет, Саша взял в руки ведомость и стал диктовать мне приговоры: «Урезать язык, сослать в Нерчинск», «Казнить, голову отсечь», «Бить кнутом, сослать в Тобольск», и так бесконечно – десятки и десятки приговоров. И казалось, что демоны Тайной канцелярии будто оживают в пустом, полутемном зале архива и окружают нас...



Летом 1749 года Бутырский пехотный полк был расквартирован в Москве, где в тот момент находился двор. Подпоручик этого полка Иоасаф Батурин решил использовать ситуацию и совершить переворот, тем более что двор и императрица часто находились за городом, в плохо охраняемых временных помещениях и шатрах. Действовать предполагалось решительно: после ареста императрицы Елизаветы и убийства графа Разумовского Батурин планировал вынудить высших иерархов церкви срочно провести церемонию провозглашения великого князя Петра Федоровича императором Петром III.

Батурин имел сообщников в гвардии и даже в лейб-компани. Он договаривался с работными людьми московских суконных фабрик, которые как раз в это время бунтовали против хозяев и могли бы, за деньги и посулы, примкнуть к заговорщикам. Батурин сумел даже подстеречь на охоте великого князя и во время этой встречи, которая привела наследника пре-

стола в ужас, пытался убедить Петра Федоровича принять его предложения. Петр утаил от Елизаветы Петровны встречу с Батуриным на охоте, чем невольно поощрил заговорщиков к активности – Батурин принял молчание великого князя за согласие.

Но заговор не удался, в начале зимы 1754 г. Батурина арестовали и посадили в Шлиссельбургскую крепость. В 1767 г. он, расположив к себе охрану, чуть было не совершил дерзкий побег из заточения. Но заговор снова разоблачили, и Батурин был сослан на Камчатку. Там в 1771 г. он устроил-таки бунт. Мятежники захватили судно и бежали из пределов России, пересекли три океана, но Батурин умер у берегов Мадагаскара.

Глава 1. Государственные преступления в XVIII веке

Появление в русском праве понятия государственных (политических) преступлений относится к так называемой эпохе судебников конца XV–XVI веков, когда в целом сложился свод законов Московского государства. В научной литературе нет единого толкования статей и терминов законодательных памятников, в которых идет речь о государственных преступлениях. Однако бесспорно, что в статье 9-й Судебника 1497 года, как и в статье 61-й Судебника 1550 года, восходящих в своем происхождении к статье 7-й Псковской судной грамоты, перечислены наиболее тяжкие виды преступлений, которые потом стали относить к государственным. Люди, совершавшие их, называются «государский убойца», «коромольник», «церковный тать», «головной тать», «подымщик», «зажигалник», «градской здавец» и «подметчик». Всех их казнили.

Общепризнано, что Соборное уложение 1649 года впервые отделило преступления против государя и государства (как его владения) от прочих тяжких преступлений. Государственным преступлениям посвящена целиком 2-я глава Уложения, хотя они упоминаются и в других главах этого кодекса. Во 2-й главе говорится, во-первых, о преступлениях против здоровья и жизни государя, во-вторых, об измене – преступлении против власти государя, которое заключалось в смене подданства, бегстве за рубеж, а также в связях с неприятелем в военное время или сдаче крепости врагу, а также в намерении это совершить («умысел»). В-третьих, как отдельный вид преступления выделен в Уложении «скоп и заговор». Историк права Г. Г. Тельберг не без оснований считал, что весь корпус государственных преступлений по Уложению сводится, в сущности, к двум их важнейшим видам, а именно к посягательству на здоровье (жизнь) государя и к посягательству на его власть. При этом к последнему виду преступлений относились самые разные деяния – от претензий на престол и помощи вторгшейся на территорию России армии иностранного государства до описки в документе с титулом государя.

Государственные преступления понимались прежде всего как преступления против *государя*, а потом уже против государства. Лишь к середине XVIII века стало более или менее отчетливо оформляться разделение понятий «государь» и «государство», на которое уже не смотрели как на вотчину государя. Трактовка государственных преступлений как наказуемых деяний, направленных преимущественно против *государя, его власти и его владений*, в сочетании с исключительными полномочиями самодержца в решении дел о таких преступлениях и породили то явление, которое принято называть «политическим сыском».

Законодательство о политических преступлениях Петровской эпохи было органичным продолжением права времен царя Алексея Михайловича. При этом нормы Уложения 1649 года были существенно дополнены рядом новых законов. Важнейшим из них является Устав воинский 1716 года, включавший в себя Артикул воинский и «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 года. В этих документах уточнен корпус государственных преступлений и закреплены основы нового процессуального права, которые широко использовались в политическом сыске.

В число государственных преступлений вошли те деяния, которые ранее таковыми и не считались. В праве и публицистике появляются понятия «интересы государственные», «интересы государственные и всего народа» и, соответственно этому, обнаруживаются нарушители этих интересов – «преступники и повредители интересов государственных с вымысла». Собственно, тогда и образовалось это понятие – «государственное преступление», которое юристы того времени трактовали весьма широко как нарушение «интересов государственных и всего народа». В указе 24 декабря 1714 года о таких преступлениях сказано обобщенно – это «все то, что вред и убыток государству приключить может». Конкретно к государственным преступлениям стали относить различные проступки по службе, умышленное неправосудие, финансо-

вые и иные преступления. Естественно, что многие из этих деяний прямо не были связаны с преступлениями против государя и его власти.

25 августа и 23 октября 1713 года были изданы именные указы, принципиально важные для истории политического сыска. Авторы указа 25 августа попытались отделить государственные преступления от частных («партикулярных прегрешений») чиновников. О последних уточнено: «...то есть в челобитчиковых делах взятки, и великие в народе обиды, и иные подобные тем дела, которые не касаются интересов государственных и всего народа». Таким образом, государственное преступление состояло в нанесении ущерба не конкретному человеку, давшему чиновнику взятки, а всему государству, всему обществу. После указов 1713 года к государственным преступникам относили не только нарушителей 2-й главы Уложения, но и всех корыстных чиновников – «грабителей народа», совершавших «похищения лукавые государственной казны», а также казнокрадов, которые обирают народ, чинят ему «неправедные, бедственные, всенародные тягости».

Столь широкая трактовка понятия «государственное преступление» как подлежащего исключительной прерогативе государя вошла в противоречие с повседневной практикой. Государь оказался физически не в состоянии справиться с тем потоком дел о преступлениях, многие из которых стали теперь называться государственными и, следовательно, подлежали его исключительной компетенции. Поэтому уже в 1710-х годах проявилась тенденция хоть как-то выделить из чрезвычайно разросшейся массы государственных преступлений те, которые должны относиться к сфере ведения самодержца. В указе Сенату от 23 декабря 1713 года Петр потребовал «объявить всенародно: ежели кто напишет или скажет за собою „государево слово или дело“ и те б люди писали и сказывали в таких делах, которые касаются о их государском здоровье и к высокомонаршеской чести, или уведав какой бунт и измену». Так подчеркивалось намерение сохранить старый корпус государственных преступлений по Уложению. В указе 25 января 1715 года корпус дел по преступлениям, которыми занимался государь, существенно сузили. Отныне прямо царю подавали изветы по трем «пунктам»: «1. О каком злом умысле против персоны его величества или измене. 2. О возмущении или бунте. 3. О похищении казны».

С 1715 года появились и маркирующие важнейшие государственные преступления термины. Если человек сказал «слово и дело *по первому пункту*», то речь шла о покушении на государя или об измене ему. По «*второму пункту*» надлежало хватать всех бунтовщиков и заговорщиков. Когда же в документах сыска встречается оборот «показал... о похищении интереса» или говорилось «о краже государственного интереса», то это означает, что изветчик обвиняет кого-то в казнокрадстве или иных нарушениях «*по третьему пункту*». Такие дела стали называться «интересными». Позже доношения «по третьему пункту» из-за несметного их числа и бесцеремонности толп доносчиков, рвавшихся на прием к царю, запретили. Их передали фискалам, а также в особые розыскные «маэорские» канцелярии.

Так оформилась самая общая классификация государственных преступлений. Петр уточнял ее в 1723 году, во время работы над указом «О форме суда», в котором к прежнему «набору» государственных преступлений прибавлены «*слова противные на государя*», то есть столь печально знаменитые оскорбляющие государя и его власть «непристойные слова». Конечно, в практике политического сыска такие «непристойные», «злые», «непотребные» слова задолго до 1723 года рассматривались де-факто как преступление, но теперь они были включены в общей индекс главнейших преступлений де-юре.

Окончательно же классификация государственных преступлений уточнена в указе Анны Ивановны от 2 февраля 1730 года. В нем так сказано о преступлениях по «первым двум пунктам»: «1-й пункт. Ежели кто, каким умышлением учнет мыслить на наше императорское здоровье злое дело или персону и честь нашего величества, злыми и вредительными словами поносить. 2-й. О бунте или измене, сие разумеется: буде кто за кем подлинно уведав бунт или

измену против нас или государства». А преступления против «казенного интереса» окончательно выведены из корпуса важнейших государственных преступлений. В таком виде определение важнейших государственных преступлений и сохранилось на весь XVIII век.

Рассмотрим *виды государственных преступлений*. Самыми важными преступлениями считались *покушения на жизнь и здоровье государя* в форме физических, а также магических действий или умысла к этим действиям. Речь идет о разных способах нанесения ущерба здоровью государя – от убийства его до «порчи» с тем, чтобы лишить его дееспособности, подчинить волю государя себе с помощью чар, магических действий, предметов и снадобий. Так как угроза убийства монарха существовала потенциально всегда, а определить, насколько она реальна, можно было только при расследовании, то власти при малейшем намеке на подобный умысел хватали каждого подозрительного. Неопределенное «желательство смерти государевой» уже рассматривалось как выражение преступного намерения. Еще более страшным преступлением являлись разговоры о гипотетических покушениях на царственных особ. Достаточно было – в шутку, спьяну, в виде ругательства – сказать о своем желании нанести физический вред государю, как это высказывание сразу же подпадало под действие законов о покушении на жизнь монарха. В 1703 году посадский Дмитров Михаил Большаков тщетно пытался доказать в Преображенском приказе, что неблагожелательные слова, сказанные своему портному о «новоманирном» платье («кто это платье завел, того бы я повесил»), к царю Петру I никакого отношения не имеют: «Слово „повесить“ он молвил не к государеву лицу, а спроста, к немцам, потому что то-де платье завелось от немцев, к тому то он слово „повесить“ и молвил». Но эти объяснения не были приняты, и Большакова сурово наказали.

Убеждение, что с помощью магии (порчи, приворота, сглаза) можно «*испортить*» *государя*, устойчиво жило в сознании людей XVIII века. Они искренне верили, что Екатерина I с А. Д. Меншиковым Петра I «корнем обвели», что сам Меншиков «мог узнавать мысли человека» и что мать Алексея Разумовского – старуха Разумиха – «ведьма кривая, обворожила» (в другом следственном деле – «приворотила») Елизавету Петровну к своему сыну Алексею Разумовскому.

Борьба с магией как видом государственного преступления опиралась на нормы Соборного уложения и Артикула воинского. Эти законы выделяли три разновидности таких преступлений. Во-первых, преследовалось всякое колдовство (чародейство, ведовство, чернокнижие), а также заговоры своего оружия, намерение и попытки с помощью «чародейства» нанести кому-либо вред. Во-вторых, наказаниям подлежали богохульники, говорившие «непристойные слова», надругавшиеся над христианскими святынями или совершавшие хулиганские действия в церкви. В-третьих, политический сыск пресекал соращение православных в язычество, раскол и вероотступничество.

Рассмотрев группу преступлений о покушениях на здоровье и жизнь государя, перейдем к *покушениям на власть самодержца*, которые назывались «изменой». Петровская эпоха сделала русское общество более открытым, но не отказалась от старого понятия «измены». Во-первых, сохранился военно-государственный смысл измены как побега к врагу или содействия противнику на войне, равно как и намерения совершить эти преступления. В Артикуле воинском говорится не только о преступной переписке и переговорах с врагами, выдаче им военных секретов, но и об умысле «измену или сему подобное учинить». Умысел этот рассматривался также как прямой акт измены – «яко бы за произведенное самое действие». Во-вторых, при Петре государственная измена рассматривалась как «преступление против подданства». Иначе говоря, изменой считалось намерение выйти из подданства русского царя.

В источниках есть два толкования термина «измена». Согласно одному из них, переход в иное подданство связан с изъятием из подданства русского государя части его территории. Эта измена, ведущая к потере земель, называлась «*большой изменой*» или «великим государственным делом». Поступок гетмана Мазепы, перешедшего на сторону шведов в 1708 году,

являлся с точки зрения русского права актом «большой измены». Состав его преступления – в том, что он умыслил лишить русского государя права владения частью государевых земель (на Украине).

Под «*изменой партикулярной*» подразумевалось намерение конкретного подданного российского государя просить о подданстве или принять подданство другого государства, а также побег русского подданного за границу или его нежелание вернуться в Россию. При Петре I Россия оказалась открыта только «внутрь», исключительно для иностранцев. В отношении же свободного выезда русских за границу, а тем более эмиграции никаких изменений (в сравнении с XVII веком) не произошло. Безусловно, царь всячески поощрял поездки своих подданных на учебу, по торговым делам, но при этом русский человек, как и раньше, мог оказаться за границей только по воле государя. Иной, то есть не санкционированный верховной властью выезд за границу по-прежнему рассматривался как измена. Пожалуй, исключение делалось только для приграничной торговли, но и в этом случае временный отъезд купца за границу России по делам коммерции без разрешения власти карался кнутом. Прочим же нарушителям границы грозила смертная казнь. Оставаться за границей без особого указа государя также запрещалось.

К измене вел не только самовольный переход границы, но и вполне невинная деловая или родственная переписка с корреспондентами за границей. В 1736 году расследовали дело о ярославских подьячих братьях Иконниковых, которые, «умысля воровски и не хотя доброхотствовать их и. в. и всему государству, изменнически отпустили отца своего Михаила з женою ево и их матерью, и з детьми их в другое государство за рубеж, в Польшу, и с ним списыватца, ис чего может приключитца государству вред и всенародное возмущение».

С петровских времен государственной изменой стал считаться и отказ следовать завещанию правящего государя или пренебрегать его правом назначать себе наследника. Как известно, это связано с обострившимися к концу 1710-х годов династическими проблемами Романовых, с желанием Петра I посадить на престол детей от своего второго брака с Екатериной Алексеевной. В манифесте 1718 года об отрешении от наследования царевича Алексея Петровича сказано, что тех, кто будет «сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том помогать станут и дерзнут, *изменниками* нам и отечеству объявляем».

Государственную измену при Петре трактовали предельно широко в духе полицейского государства как преступление против власти государя вообще. Военные порядки Петр рассматривал как образцовые для организации гражданской жизни, поэтому измена противопоставлялась службе, верному служению подданного своему государю. В 1732 году кнутом и пожизненной ссылкой был наказан прапорщик Алексей Уланов, обвиненный в том, что своего товарища, поручика Федора Елемцова, безосновательно назвал «е. и. в.¹ изменником, а не *слугою*». Когда в 1733 году солдат Бронников, наказанный за пьянство и драку, «всех ундер-афицеров и салдат бранил матерно и называл бунтовщиками, и изменниками, и стрельцами... слабой командой», то возмущенный прапорщик Кузнецов ответил следующее: «...мы – люди регулярные, ежели нам не слушатца своих камандиров, то нехорошо, и ежели с вами поступать и каманду содержать слабо, то слышал он, что *слабая каманда подобна измене*». Эта сентенция отражает отношение «регулярного государства» и людей к такому преступлению, как измена. Слово «изменник» в XVIII веке являлось табуированным, запретным и допускалось только в отношении лиц, совершивших такое преступление. После Стрелецкого розыска конца XVII века такое же значение приобрело слово «стрелец». Обозвать верноподданного «стрельцом» означало оскорбить его и заподозрить в измене.

¹ Далее в тексте используются следующие сокращения: е. и. в. – его/ее императорское величество; е. ц. в. – его/ее царское величество; ц. в. – царское величество.

Бунт – тяжкое государственное преступление – был тесно связан с изменой. Бунт всегда являлся изменой, а измена включала в себя и бунт. Конкретно же «бунт» понимался как «возмущение», восстание, вооруженное выступление, мятеж с целью свержения существующей власти государя, сопротивление и неподчинение верховной власти. Само слово «бунт» было таким же запретным в XVIII веке, как и слово «измена». Сказавшего это слово обязательно арестовывали и допрашивали. Самодержавие настолько опасалось бунта, что строго предписывало, чтобы военные в случае ссоры, брани, драки никогда не звали на помощь своих товарищей, «чтоб чрез то (крик, призыв. – Е. А.) збор, возмущение, или иной какой непристойный случай произойти мог».

«Бунтовщиками» считались восставшие в 1705 году астраханцы, Кондратий Булавин и его сообщники – в 1707–1708 годах, Мазепа с казаками – в 1708 году. Наказания за бунт следовали самые суровые. В 1698 году казнили около двух тысяч стрельцов по единственному определению Петра I: «А смерти они достойны и за одну противность, что забунтовали и бились против большого полка».

Власти преследовали всякие письменные призывы к бунту, которые содержались в так называемых «прелестных», «возмутительных», «воровских» письмах и воззваниях. Держать у себя, а также распространять их приравнялось к участию в бунте. Как «бунт» расценили в Преображенском приказе в 1700 году поступки известного проповедника Григория Талицкого: он раздавал и продавал свои рукописные сочинения с «бунтовыми словами», «будто настало ныне последнее время и антихрист в мир пришел, а антихристом в том своем письме, ругаясь, писал великого государя».

Бунтовщиком называли и полусумасшедшего монаха Левина. 19 марта 1719 года, взобравшись на крышу мясной лавки пензенского базара, он объявил Петра I антихристом: «...весь народ мужеска и женска пола будет он печатать, а у помещиков всякой хлеб описывать... а из остального отписного хлеба будут давать только тем людям, которые будут запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут... Бойтесь этих печатей, православные!.. бегите, скройтесь куда-нибудь... Последнее время... антихрист пришел... антихрист!» Таким образом, «бунтовыми» считались призывы бежать от власти якобы пришедшего в лице Петра I антихриста. Логика в таком обвинении есть. Формально всякие слова, произнесенные Левиным, есть непризнание власти монарха, неподчинение ему, следовательно, согласно праву того времени, бунт.

Очень часто в приговорах понятие «бунт» соседствовало с понятиями *скопа* и *заговора*, обозначавшими преступное объединение («скоп») с целью совершения неких антигосударственных деяний («заговора»), типа «измены», «бунта» и т. д. Если Уложение 1649 года различает преступное «прихаживанье для воровства» от законного «прихаживанья для челобитья», то петровское законодательство категорически запретило любые попытки организовывать и подавать властям коллективные челобитные. Артикул воинский запрещает «все непристойные подозрительные сходбища и собрания воинских людей, хотя для советов каких-нибудь (хотя и не для зла) или для челобитья, чтоб общую челобитную писать, чрез что возмущение или бунт может сочинитца». Эта норма 17-й главы «о возмущении, бунте и драке» написана самим Петром I. В Артикуле прямо сказано, что зачинщиков коллективных челобитных следует вешать без пощады, независимо от причины их жалобы и содержания челобитной, «а ежели какая кому нужда бить челом, то позволяется каждому о себе и о своих обидах бить челом, а не обще». Такие ограничения действовали в отношении не только разговоров в солдатских «бекетах» и караулах, но и общественной жизни всех других подданных, будь то старообрядческие моления при Петре I, мужские вечеринки «конфидентов» в доме А. П. Волынского при Анне Ивановне, светская болтовня в салоне Лопухиных при Елизавете Петровне или ритуальные собрания масонских лож при Екатерине II.

Из реальных, но неудавшихся попыток «скопа и заговора» привлекают внимание четыре: история Александра Турчанинова (1742), Иоасафа Батурина (1753), Петра Хрущова и братьев Гурьевых (1762) и Василия Мировича (1764). Камер-лакей Турчанинов обсуждал с гвардейцами план свержения и убийства императрицы Елизаветы, чтобы «принца Ивана возвратить и взвести на престол по-прежнему». Подпоручик Бутырского пехотного полка Батурин составил план переворота, который предусматривал такие вполне достижимые в той обстановке цели, как изоляция придворных и арест императрицы Елизаветы, убийство А. Г. Разумовского и провозглашение великого князя Петра Федоровича императором Петром III. Заговорщик также имел сообщников в гвардии и даже в лейб-компании. Имевшие широкую поддержку гвардейцы Петр Хрущов и братья Гурьевы в 1762 году готовили переворот в пользу экс-императора Ивана Антоновича. Не прошло и двух лет, как их план попытался осуществить подпоручик В. А. Мирович.

Список преступлений по рубрике «скоп и заговор» с целью захвата власти нужно пополнить и перечнем успешно осуществленных переворотов. Речь идет о заговоре цесаревны Елизаветы Петровны и гвардейцев, вылившемся в переворот 25 ноября 1741 года и свержение Ивана Антоновича, а также о заговоре императрицы Екатерины Алексеевны и Орловых, который привел в июне 1762 года к свержению Петра III. Эти заговоры, естественно, не расследовались – вспомним слова С. Я. Маршака:

*Мятеж не может кончиться удачей,
В противном случае его зовут иначе.*

Тяжким государственным преступлением было *самозванство* – «самозванчество». Социально-психологическая подоплека самозванства довольно сложна. Изучая ее, нужно учитывать черты массовой психологии, веру человека в чудесные спасения государей, бежавших из-под ножа убийцы, подмененных и тем спасенных багрянородных детей. Примечательна и мистическая вера в особые символы и меты – «царские знаки». К началу XVIII века казалось, что время самозванцев навсегда миновало, однако этот век принес гораздо больше самозванцев, чем предыдущий. Причины столь резкого и опасного для самодержавной власти возрождения самозванства коренились в династических «нестроениях» XVIII века. Бегство, следствие, суд, а потом и таинственная смерть царевича Алексея в 1718 году внесли смятение в сознание народа – не случайно первыми самозванцами стали как раз «царевичи Алексеи Петровичи». Ореолом мученичества было окружено имя заточенного в узилище бывшего императора Ивана Антоновича. И все же к концу правления императрицы Елизаветы самозванство явно пошло на убыль. Но вскоре самым сильным потрясением для народного сознания и толчком к новому всплеску самозванства стала трагическая история Петра III, якобы скрывшегося среди народа. В длинной череде лже-Петров III были и психически больные люди, и авантюристы разного калибра. Один из них не устраивал смятений и мятежей, а тихо, благодаря слуху, пущенному о его «царском происхождении», паразитировал среди крестьян, которые передавали «государя» друг другу, кормили и поили его, на что самозванец, собственно, и рассчитывал. Другой объявил себя «Петром III», чтобы... добыть денег на свадьбу, третий в 1773 году говорил приятелю о намерении сделаться «Петром III»: «А может иной дурак и поверит! Ведь-де простые люди многие прежде о его смерти сомневались и говорили, что будто он не умер». И расчет этот был не так уж и глуп: огромные массы людей верили в «чудесные спасения», «царские знаки» и, недовольные своей жизнью, шли за самозванцем.

Власть весьма нервно относилась к малейшему намеку на самозванство. Все подобные факты тщательно расследовались, и выловленных самозванцев жестоко наказывали. В приговорах о самозванцах 1720–1760-х годов фигурирует произнесение ими «вымышленных великих непристойных слов», «вымышленной продерзости» или «злодейственных непристойных

слов». Иначе говоря, присвоение царственного имени расценивалось как дерзкое и «непристойное слово». Оно каралось по тогдашним нормам права как тягчайшее преступление, в котором усматривали прямой умысел захватить власть.

Слова «царь», «государь», «император», поставленные рядом с именем любого подданного, сразу же вызвали подозрение в самозванстве. В 1737 году монах Исаак дерзнул написать цесаревне Елизавете Петровне письмо, в котором так «извещал» ее о своем решении: «Наияснейшая цесаревна, я буду по сей императрицы (то есть по смерти Анны Ивановны. – Е. А.) император в Москве, а ты, государыня цесаревна мне женою». Тотчас по этому письму в Тайной канцелярии начали следственное дело. Преследовали во времена императрицы Елизаветы и смелые сравнения, которыми поделилась с мужем жена: «Я перед тобою барыня и великая княгиня! И что касается и до императрицы, что царствует, так она такая же наша сестра – набитая баба, а потому мы и держим теперь правую руку и над вами, дураками, всякую власть имеем».

Нельзя было даже в шутку, иносказательно провести аналогию своего положения, статуса с царским. За «название своего жития царством» пострадал в 1740 году поручик Лукьян Нестеров, который сказал о своем поместье: «Мы вольны в своем царстве». Преступлением считалось шутливое причисление себя или кого-либо из простых смертных к царскому роду, а также упоминание о близких, интимных, товарищеских отношениях с государем: «государев брат», «товарищ его величества», «он – царского поколения».

Отказ присягать государю и *нарушение присяги* – преступления, появившиеся в XVIII веке, хотя присяга на кресте и Евангелии существовала и раньше. Преступлением считалось также пренебрежительное отношение к присяге, уничижительные комментарии («Вы-де присягаете говну!»), препятствие к ее совершению со стороны чиновников и духовенства, неумышленное неучастие подданного в процедуре присяги.

При Петре I были разработаны обязательные типовые письменные присяги для военных и гражданских служащих, которые они подписывали после клятвы и целования креста и Евангелия. За нарушение присяги (как и за дачу ложных показаний) полагалось отсечение двух пальцев, которое в 1720 году Петр I заменил на вырывание ноздрей. Одновременно царь ввел и всеобщую присягу на верность назначенному государем наследнику престола, а после смерти царевича Петра Петровича весной 1719 года предписал присягать изданному им «Уставу о престолонаследии», согласно которому император мог назначить себе в преемники любого из своих подданных.

В 1722 году жители Тары отказались присягать в верности Уставу, за что подверглись пыткам и казням. Массовый отказ подданных от присяги был связан с распространенным в среде старообрядцев представлением о том, что процедура клятвы – дьявольская ловушка антихриста Петра I, который с помощью священной клятвы хочет «привязать» к себе невинные христианские души накануне конца света, ожидавшегося, по расчетам старообрядцев, в 1725 году.

Действительно, в некотором смысле присяга оказывалась если не эсхатологической, то правовой ловушкой как для служилого человека, так и для подданного вообще. В присяге, которую подписывал каждый служащий, говорилось о верности служения государю и назначенным им преемникам, о точном исполнении «присяжной подданнической должности», то есть своих обязанностей по службе, а также о предотвращении ущерба «его величества интереса». А поскольку этот интерес понимался весьма широко, то фактически всякое преступление служащего автоматически означало нарушение присяги и могло трактоваться как клятвопреступление. О преступлении А. П. Волынского в одном из документов следствия было сказано, что он, кроме прочих преступлений, «явно уже в важнейшем и предерзком клятвопреступлении явился». Так, собственно, смотрели власти на участие служилого человека в «непристойных разговорах».

Как непризнание власти самодержца рассматривали в политическом сыске и различные «анархические» высказывания людей о своей якобы полной независимости от божественной, царской, вообще земной власти. В 1729 году к следствию привлекли купца Трофима Мелетчина, который ругал власть и утверждал: «Никого не боюсь и государя мало боюсь». Ишимский поп Михаил попал в Тайную канцелярию в 1739 году за слова: «А я-де, философ и никого не боюсь, кроме Бога!» Все эти выкрики в сыском ведомстве рассматривали как политические преступления, как выражение дерзкого неподчинения власти самодержца и оскорбление его чести. Преступлением считалось и разное иное «самовольство», например, отказ съехать с дороги, по которой шествовал государь.

В документах XVIII века встречается упоминание о таком преступлении, которое собственно и преступлением назвать трудно, хотя обвиненных в нем ждал если не эшафот, то удаление от дел или ссылка. Речь идет о так называемом «*подозрении*». Что это такое? В русских документах XVIII века встречается несколько значений этого слова. Если в деле допрошенного мы встречаем запись: «А по осмотру явился он подозрителен», то это означает, что на спине у этого человека обнаружены следы кнута – верный признак пытки или старого наказания за какое-то серьезное преступление. Доверять ему считалось невозможным.

«Подозрением» называли также дополнительные, вскрывавшиеся в ходе следствия обстоятельства преступления. В 1724 году Петр I писал о должностных преступлениях: «Ежели какое дело явитца по порядку правильному чисто, но та персона по окрестностям подозрительна...», то требуется расследование. Основанием для «подозрения» становились служебные и родственные связи с преступником. Андриса Фалька отправили в Оренбург только «за подозрением», что он, будучи слугой у лифляндца Стакельберга, «который за вины его сослан в Сибирь», *мог слышать* «непристойные речи» своего господина.

Кроме того, в источниках встречается особый термин: «*впасть в подозрение*», нередко с уточнением: «впасть в подозрение по первым двум пунктам, а именно в оскорблении величества и в возмущении противу общего покоя». Это означало, что человек не совершал государственного преступления, но его (без расследования, представления улик и доказательств) *подозревают* в намерении совершить такое преступление и уже на этом основании наказывают. Капитана фон Массая в 1742 году сослали в Охотск только по подозрению в том, что он, может быть, говорил «непристойные слова», хотя расследования об этом не проводили. В приговоре по делу Массая сказано: «За оным подозрением ни к каким делам не определять и из Охотска никуда, ни для чего отпускать его не велено».

«Подозрение» – юридическая категория почти неуловимая, ее нельзя понимать только как подозрение в совершении или причастности человека к какому-то преступлению или преступнику. «Подозрение» – обобщенное определение неназванного государственного преступления. В черновик манифеста 5 марта 1718 года о преступлениях бывшей царицы Евдокии Петр I исправил то место, где было сказано о причинах ссылки его первой жены в монастырь (выделенное прибавлено рукой Петра): «Бывшая царица Евдокия в Суздале, в Покровском девичьем монастыре, *для некоторых своих* противностей *и подозрения*, постриглась и наречено имя ей Елена».

«Подозрение» как преступление, во-первых, являлось ярким выражением средневекового права, ибо в делах о ведьмах подозрение вообще заменяло доказательства виновности, и, во-вторых, говорило о неограниченном праве государя казнить и миловать подданных без всякого объяснения причин своего гнева. Наказание «по подозрению» – чистейшая форма опалы, «голое» проявление державной воли самодержца как источника права. В манифесте 1758 года об опале А. П. Бестужева сказано, что он лишен чинов и сослан уже только по той причине, что императрица Елизавета никому, кроме Бога, не обязана давать отчет о своих действиях, и если она положила опалу на бывшего канцлера, то из этого с неопровержимостью следует,

что преступления его велики и наказания достойны, но еще важнее, что императрица не могла «уже с давнего времени ему доверять».

Пожалуй, самым распространенным видом государственных преступлений, о которых сохранилось много дел в архивах, были так называемые «непристойные слова». Их также называли «воровскими», «ззорными», «злыми», «зловредными», «вредительными», «дурными», «невежливыми», «неистовыми», «непригожими», «неприличными», «непотребными». Они были связаны с преступным оскорблением государевой чести. Во многих случаях их так и называли: «непристойные слова, касающиеся чести государя».

Защита чести государя считалась не менее важной обязанностью подданных, чем защита личности и власти царя от изменника, самозванца или колдуна. В указе Анны Ивановны от 2 февраля 1730 года сказано, что доносить нужно не только на потенциальных заговорщиков, мятежников, но и на тех, кто будет «персону и *честь* нашего величества злыми и вредительными словами поносить». К этому виду преступлений относились не только сказанные или написанные слова, оскорбляющие личность, действия и намерения государя, но также и символические непристойные движения, жесты, гримасы, поступки и даже мысли, в которых можно усмотреть или угадать тот же оскорбительный для чести государя смысл.

«Непристойным словам» придавался магический смысл. По представлению того времени, слово могло вредить, приносить ущерб подобно физическому действию. Примечательно, что когда людям приходилось писать в служебных бумагах о возможных катастрофах, то после написанного сакрального слова «мор», «пожар» следовала ритуальная фраза: «от чего, Боже, сохрани». В восприятии сказанного слова как магического действия и состояла в немалой степени причина столь суровой оценки законом произнесения или написания «непристойных слов», оценки этих действий как государственного преступления.

Соответствующая норма вошла в Артикул воинский: «Кто против его величества особы хулительными словами погрешит, его действо и намерение презирать и непристойным образом о том рассуждать будет, оный имеет живота лишен быть и отсечением главы казнен». Право петровской поры считает преступлением *все слова* подданных, которыми они ставят под сомнение *любые* намерения и действия верховной власти. Важно, что именно в виде толкования артикула 20-го о каре за «непристойные слова» дается знаменитое определение самодержавия: «Ибо Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять». Только в условиях безграничного самовластия всякое слово, сказанное подданным об этой власти, могло быть интерпретировано как «непристойное», «хулительное».

Наконец, связь всяких «непристойных слов» с родовым для них преступлением – оскорблением чести государя – усиливалась тем, что наказания за оскорбления чести государя распространили и на оскорбления его родственников. В XVIII веке эта норма была включена в законы. Присягали, как отмечено выше, не только самодержцу, но и его жене и детям, а указ «О форме суда» 1723 года в числе государственных преступлений упоминает «слова, противные на и. в. и *его величества фамилию*». Позже эта норма закона фактически распространилась и на фаворитов самодержиц, что породило пословицу: «Такой фаворит, что нельзя и говорить». Сфера запретного, сакрального включала и двор, придворных, служителей вплоть до гайдуков. В 1754 году в Тайной канцелярии «исследовали» дело Осипа Никитина, сказавшего товарищам, что на святках императрица Елизавета была в комедии, и «тогда-де попойки много было и халуи-де все перепились, и он, Осип (доносчик. – Е. А.) говорил: „Какие-де тут были холуи? Тут были честные люди, генералы“, – и тот Иван Никитин неведомо для чего говорил: „Хоть черта поставь, так едет у государыни на запятках“».

«Непристойные слова» оказались очень емким юридическим понятием, которое могло применяться к любому суждению о власти, государе, политике, даже если в нем не было ничего

оскорбительного для чести монарха. Рассказать сказку или легенду о царях-государях и их подвигах, любовных похождениях значило для подданного рисковать головой. В 1744 году бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан в Сибирь сержант Михаил Первов за сказку о Петре I и воре, который спас царя, причем оба героя, царь и вор, в пересказе сержанта отличались симпатичными, даже геройскими чертами.

Обращение людей к *истории* было в те времена занятием небезопасным. Прошлое династии, монархии, как и личность самодержца, входили в зону запретного. Одни исторические события и деятели прошлого чтились публично и официально, другие события и люди (даже живущие) как будто бы никогда и не существовали. Только одно упоминание в разговоре имен Отрепьева, Шуйского, Разина, Мазепы и некоторых других «черных героев» русской истории с неизбежностью вело к розыску. В царствование Елизаветы Петровны исчезло из истории целое царствование императора Ивана Антоновича (октябрь 1740 – ноябрь 1741 года). С 25 ноября 1741 года хранение предметов и документов, содержащих титул или изображение Ивана Антоновича, стало считаться преступлением. В 1747 году подмастерье Каспер Шраде был сослан в Оренбург на вечное житье за хранение пяти монет Ивана Антоновича.

Знание отечественной истории могло принести человеку большие неприятности. Самым ярким примером, как любовь к прошлому могла привести на плаху, служит дело А. П. Волынского. В предисловии к своему проекту о государственных делах он дал исторический очерк от князя Владимира до петровских времен. Из вопросов следствия видно, что попытка Волынского провести параллели с прошлым была расценена как опасное, антигосударственное деяние. Особо беспокоило власть то, что он упорно интересовался своими предками. На родовом древе Волынских, известных в русской истории с XIV века, кабинет-министр приказал изобразить двуглавого орла, что в Тайной канцелярии восприняли как попытку кабинет-министра выразить свои претензии на престол. Кроме того, из материалов следствия видно, что особое раздражение следователей вызвало то, что Волынский много читал исторической литературы, пускался в «дерзновенные» исторические аналогии, сравнивал «суетное и опасное» время императрицы Анны Ивановны с правлением Бориса Годунова, цесаревну Елизавету Петровну – с царицей Марией Нагой, герцога Карла Петера Ульриха – с Лжедмитрием I, а князя А. М. Черкасского – с царем Василием Шуйским. Эти исторические экскурсии привели к тому, что бывшего кабинет-министра обвинили в оскорблении не только чести императрицы, но и «высочайшего самодержавия, и славы, и чести империи».

Как «непристойное слово» воспринимали в политическом сыске различные воспоминания людей о правящем или уже покойных монархах, даже если воспоминания эти были вполне нейтральны и имели своим источником не просто слухи, а официальные документы. Григорий Чечигин в 1728 году, узнав, что бывшая царица Евдокия возвращается в Москву из ссылки, сказал: «Эта-де та царица идет в Москву, которую Глебов блудил». На допросе он показал, что «те слова говорил он, видя о том в печатном манифесте». Это была правда – в опубликованном манифесте от 5 марта 1718 года сказано, что Степан Глебов «винился, что ходил к ней, бывшей царице, безвременно для того, что жил с нею блудно два года». Памятливому Чечигину тем не менее били кнутом и сослали в Сибирь. Общее отношение власти к истории состояло в том, чтобы заставить людей жить только сегодняшним днем, мыслить в соответствии с официальной идеологией и меньше вспоминать прошлое.

Без риска оказаться без языка или в Сибири нельзя было рассказывать *о происхождении российских монархов*. Бесчисленное множество раз передавались легенды о том, как немецкого (в другом варианте – шведского) мальчика из Кокуя подменили на девочку, которая родилась у царицы Натальи Кирилловны, и из него вырос Петр I. Естественно, толпе не нравилось, что императрица Екатерина I вышла в люди из портомой, что «не прямая царица – наложница», и он «живет с нею, сукою, императрицею, несколько лет не по закону». Незаконнорожденными называли также Петра II, Анну Ивановну, Елизавету Петровну, Павла.

Земной облик и жизнь монарха – тема безусловно запретная. В официальной идеологии у государя, как у Бога, нет возраста и очень слабо обозначается пол. Человеческие болезни государя, его физические недостатки, возраст, старость, частная, а тем более интимная жизнь и вообще всякие сведения о человеческой природе земного небожителя были для подданных под строжайшим запретом. Непременно наказывали людей, которые рассуждали, сколько еще лет проживет государь, или касались темы неизбежной в будущем кончины самодержца. В этом видели намек на покушение. В 1729 году расследовали дело посадского Петра Петрова, сказавшего про Петра II «в разговорах»: «Бог знает долго ли пожить будет, ныне времена шаткие».

Проблема пола монарха оказалась очень острой в XVIII веке, когда более 70 лет на престоле сидели преимущественно женщины. Общественному сознанию того времени присуще противоречие: общество (в равной степени как мужчины, так и женщины), с одной стороны, весьма низко ставило женщину как существо неполноценное и недееспособное, но, с другой стороны, должно было официально поклоняться самодержице. В 1731 году крестьянин Тимофей Корнеев сказал по поводу восшествия на престол Анны Ивановны: «Какая-де это радость, хорошо бы-де у нас быть какому-нибудь царишку, где-де ей, императрице столько знать, как мужской пол, ее-де бабье дело, она-де будет такая ж ябедница, как наша прикащица, все-де будет воровать бояром, а сама-де что знает?» Ему урезали язык и сослали на Аргунь.

Поддерживаемая ритуалами и запретами сакральность носительницы высшей власти приходила в явное противоречие с ее реальным, подчас далеким от божественного, темным происхождением и порой сомнительным поведением. В 1748 году колодник Фома Соловьев донес на своего охранника гвардейца Степанова, который рассказал ему, что накануне он, Степанов, стоял на часах на крыльце перед опочивальней Елизаветы Петровны и видел, как в палату вошли императрица и граф Алексей Разумовский, а потом ему через лакея передали приказ сойти с крыльца. Спускаясь вниз, Степанов «помыслил, что всемиловейшая государыня с Разумовским блуд творят, я-де слышал, как в той палате доски застучали и меня-де в то время взяла дрожь, и хотел-де я, примкнувши штык, того Разумовского заколоть, а означенного лакея хотел же прикладом ударить, только-де я испужался».

На допросе Степанов не отрицал сказанного и уточнил, что он «незнаемо чего испужался» и не смог убить Разумовского, так как «вскоре мимо ево прошел дозор и потом вскоре ж он с того караула [был] сменен». Интересно дальнейшее объяснение солдата: «А заколовши-де оного Разумовского, хотел он, Степанов, е. и. в. донести, что он того Разумовского заколоть за то, что он с е. и. в. блуд творит и уповал он, Степанов, что е. и. в. за то ему, Степанову, ничего учинить не прикажет, и ежели бы-де означенной дозор и смена ему, Степанову, не помешали, то б он того Разумовского подлинно заколоть был намерен».

Степанов «испужался» не «незнаемо чего», а страшного для человека того времени противоречия между священным статусом самодержицы и кощунственностью заурядного полового акта с нею кого-то из ее подданных. Намерения Степанова ясно говорят, что соитие государыни с подданным он расценил как нападение, насилие, от которого хотел защитить государыню, действуя при этом согласно нормам уставов и присяги, для чего, как он понимал, его и поставили на посту у царской опочивальни.

Сколь разрушительно подобные размножаемые слухами (как тогда говорили, «эхом») скабрезные истории действовали на священный облик государыни в сознании людей, не приходится много говорить. Дворцовые перевороты силами гвардии и стали возможны благодаря тому, что гвардейцы на своих постах видели «оборотную», закулисную сторону полубожественной, на взгляд простецов с улицы, жизни монархов.

Данные политического сыска XVIII века убеждают, что для народа не существовало ни одного порядочного, доброго, мудрого, справедливого к людям монарха. А уж о моральном облике почти всех государей в общественном сознании имелось устойчивое отрицательное суждение. Люди, сами далекие от праведной, высокоморальной жизни, были необыкновенно

требовательны к нравственности своего повелителя или повелительницы. Только просидевший всю свою жизнь в тюрьме Иван Антонович и убитый император Петр III вызывали народные симпатии, да и то скорее всего потому, что они не успели поцарствовать Россией и нагрешить. Впрочем, воцарившегося всего на полгода Петра III с самого начала окрестили «чертом» и «шпиеном».

Словом, в XVIII веке от официальной доктрины о царе как земном Боге, кроме шлейфа непристойностей на эту тему, ничего не осталось. Подданные, особенно в своем узком кругу, да порой и публично, без всякого почтения высказывались о своих прежних и нынешних правителях как о земных, грешных людях, порой безапелляционно, цинично и грубо судили их поступки. Соликамская жонка (так в делах сыска называли замужнюю женщину) Матрена Денисьева говорила своему любовнику: «Вот-де мы с тобою забавляемся, то есть чиним блудодеяние (пояснение следствия. – Е. А.), так-де и Всемиловейшая государыня с Алексеем Григорьевичем Разумовским забавляются ж». Еще резче провела эту же параллель солдатская жонка Ульяна: «Мы, грешницы, блудуем, но и всемиловейшая государыня с... Разумовским живет блудно».

К этой разновидности преступлений относились и «непристойные песни». Они не содержали в себе непристойностей, их даже нельзя назвать песнями политическими, так сказать, песнями протеста. Они были посвящены в основном жизни царственных особ. Это лирические песни о любви и вообще о судьбе цариц и царевен. Эта «самодеятельность» приносила крупные неприятности певцам, так как приравнялась к произнесению «непристойных слов».

В 1752 году сидевший под арестом дьячок Делифовский донес на своего пристава Спиридонова, что тот спел песню:

*Зверочек, мой зверочек,
Полуношный мой зверочек,
Повадился зверочек во садочек
К Катюше ходить...*

При этом Спиридонов пояснил дьячку, что «за эту-де песню наперед сего кнутом бивали, что-де государь [Петр I] с государынею Екатериною Алексеевною жил, когда она еще в девицах имела и для того-де ту песню и сложили». Были и другие песни, за которые люди оказывались в застенке: «Постригись моя немилая» (о принуждении Петром I к пострижению царицы Евдокии); «Кто слышал слезы царицы Марфы Матвеевны», «Не давай меня, дядюшка, царь-государь» (о выдаче замуж царевны Анны Ивановны) и другие.

Нельзя было оскорблять и различные государственные учреждения – ведь они воспринимались как проводники государевой воли. Известно, что оскорбление учреждений (в том числе просто ругань в их помещении) расценивалось как нанесение ущерба чести государя. Подканцелярист Фатей Крылов в 1732 году «прославился» дерзостью, когда «Новоладожскую воеводскую канцелярию бранил матерно: мать-де, как боду забить-де в нее такой уд я хочу, тое канцелярию блудно делать». Запрещено было всуе помянуть само сыскное ведомство, а тем более шантажировать им людей.

К названным преступлениям относится *брань*, по-преимуществу нецензурная, грязная («поносные слова», «матерные слова», «слова по-соромски») по адресу персоны государя, его власти, государевых указов и т. д. Записи о таких преступлениях – самые многочисленные, хотя и довольно однообразные. Приведу несколько типичных примеров. Иеродиакон Иван Черкин, сидевший в 1727 году на цепи в колодничей палате Вышнего суда, требовал своего освобождения и «избрал е. и. в. матерны». Подьячий Степан Дятлов сказал: «Мать твою прободу и с ымператором». Дворцовый крестьянин Тарасий Истомин в 1728 году так выразился о Петре II: «Я-де насерю на государя». В немалом числе дел утверждалось, что нецензурные слова

являлись не оскорблением государя, но необходимым членом предложения. Общество к этому относилось вполне терпимо до тех пор, пока в потоке выразительной русской речи экспрессивное, бранное слово не оказывалось в опасной близости от имени и титула государя или государыни.

Титул императора, то есть перечень всех подвластных ему царств и владений, как и его личное имя, считались священными. *Оскорблением титула* считались различные физические действия, жесты, движения и слова (устные и письменные), которые каким-то образом принижали или оскорбляли значение титула, а также упоминание самого имени монарха без официально принятого титула. В 1740 году писарь Вершинин приказал копиисту Федорову исправить именной указ, присланный почему-то в замазанном виде. Федоров начал дописывать и подчищать расплывшиеся и неясные слова, пока он не дошел до титула Анны Ивановны. Тут он остановился и сказал начальнику: «Титула е. и. в. вычищать невозможно», за что Вершинин «избрал ево, Федорова матерно прямо и с титулом (то есть вместе. – Е. А.)». За это оскорбление титула Вершинина били плетями и записали в солдаты. В 1735 году было начато дело о псалме В. К. Тредиаковского на восшествие императрицы Анны Ивановны. Поэту пришлось составить трактат, чтобы доказать, что в словах «Да здравствует днесь императрикс Анна!» «никакого нет урона в высочайшем титле е. и. в.». Объяснение было принято, и дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Существовали два основных вида *оскорбления царского указа*. К оскорблению словом относится пренебрежительное название государева указа «воровским», «блядским», «лживым», «указишкой», «женским удом», различное сквернословие и брань при чтении указа: «Мать их гребу (выговорил то слово прямо), мне такая пустяга указы надокучили»; «Указ тот учинен воровски и на тот-де указ я плюю!»; «Да я на него [указ] плюю!»; «Тот указ гроша не стоит и плюнуть в указ»; «А к черту его государев указ!»; «Указ у тебя воровской и писан у бабушки в заходе и тем указом жопу подтирать». Кстати, этот совет: «Ты оным указом три жопу» – был довольно популярен в среде русского народа и за него исправно пороли кнутом и ссылали в Сибирь.

Ко второму виду оскорблений государева указа относились порча и «изодранье» его, небрежное с ним обращение и использование не по назначению. Шуйский староста Постничка Кирилов, который, по извету доносчиков, «лаял матерно мирских людей», обвинялся в том, что «тое их челобитню бросил по столу, а в той-де челобитной нас, Великого государя, имя написано...». В 1732 году батогами пороли ямщика «за бросанье на землю подорожной», в которой было написано «титло государево». На казака Артемия Жареного донесли, что он «письменными явками трет (в нужнике. – Е. А.), а в явках-де написано государское имя». Казак оправдывался, что «трет словесными явками, а не письменными», то есть записями черновыми, без титулов и имени государя.

Весьма распространенными были преступления «в дороге», когда проезжий человек отказывался слушать чтение царского указа на яме, оправдываясь тем, что сделает это дома, «в своей команде». Наказанию подвергался и тот проезжий, который «от неразуменья» не снимал при чтении государева указа шапку. Ведь обнажать голову было обязательным условием при оглашении государева указа. Не сделавший этого хотя вместе с шапкой головы не терял, но плети получал обязательно.

Как государственное преступление, оскорбляющее честь государя, расценивалось небрежное или непочтительное обращение подданных с *гербом и изображением государя* на гравюрах и живописных портретах («парсунах»), которые с Петровской эпохи стали вывешивать в присутственных местах и в домах подданных. В 1718 году был наказан шведский пленный Иоганн Старшинт, который «ударил рукою по персоне ц. в., которая написана при Полтавской баталии и говорил... будто не так написана», а именно что «государь при баталии был в сапогах, а на картине в чулках и чириках». В 1761 году «за плевание на российский герб»

арестовали посадского Петра Тетнева. В XVIII веке не раз издавали указы, запрещавшие продавать парсуны государей, если высочайшее лицо оказывалось мало похожим на оригинал.

Строгим допросам и пыткам подвергали тех, кто неуважительно относился к монетам с императорским профилем, гербом и вензелем. В 1739 году пытали подьяческую жонку Феклу Сергееву, которая «легла на пол и, заворотя подол, тем рублевином (с профилем Анны Ивановны. – Е. А.), обнажа свой тайный уд, покрывала». В 1759 году расследовали дело по извету дворового Анкундина Микулина, который донес на свою помещицу Устинью Мельницкую «о убийтии ею на рублевой манете, на патрете... императрицы Елизаветы Петровны, воши».

Отказ поднять бокал за здоровье величества («непитие за здравие») рассматривали как явное неуважение чести повелителя, как вид магического оскорбления, нанесения ущерба здоровью государя. При этом полный «покал», чарку, стакан или рюмку следовало пить до дна. О преступлении Г. Н. Теплова писал в своем доносе 1749 года большой знаток и любитель хмельного канцлер А. П. Бестужев-Рюмин. По его словам, Теплов, выпивая за здравие А. Г. Разумовского, «в... покал только ложки с полторы налил», тогда как канцлер «принуждал его оной полон выпить, говоря, что он должен полон выпить за здоровье такого человека, который е. и. в. верен и в ея высочайшей милости находится». Преступлением считались также попытки помешать тосту за здравие величества и возгласению «Многия лета».

Крайне опасны были различные тосты с обратным знаком – желание зла или «сопроводительные» пожеланию ругательства. В 1735 году колодники Московской канцелярии, получив хлеб, «молились за здравие е. и. в. Богу и говорили: „Дай, Боже, здравствовать государыне нашей, матушке, что она нас поит и кормит!“», – и оной Ларионов (колодник, на которого и донесли. – Е. А.) Богу не молился и говорил: „Дай-де, Господи, матушке нашей Анне Иоанновне не здравствовать за [то], что она мне хлеба не дает“».

Поднимая тост за здравие царственных особ, патриотам следовало умерять свой пыл, чтобы не попасть впросак. Известно, что князь Юрий Долгорукий и князь Александр Бярятинский были сосланы в 1731 году в Сибирь после того, как произнесли излишне пламенный тост в честь цесаревны Елизаветы Петровны. Как сообщил в своем доносе поручик Степан Крюковский, Долгорукий и Бярятинский говорили в застолье своему собутыльнику Егору Столетову (его тоже сослали на Урал), что они «так цесаревну любят и ей верны, что за нее умереть готовы». Эти эмоции запьяневших друзей были плохо восприняты императрицей Анной Ивановной, видевшей в Елизавете свою соперницу.

Особенно серьезно наказывали священников за *неслужение по «высокоторжественным дням»*, то есть в дни рождения царя и членов его семьи, дни тезоименитства, а также другие «календарные» даты. При Петре I особенно громким стало дело архимандрита Александро-Свирского монастыря Александра, который обвинялся «в непраздновании во дни тезоименитств» Петра и Екатерины. По этому делу царь распорядился: «Ежели оной архимандрит или другой кто из духовных персон явитца в вышеписанном виновен и оных, обнажа священничества и монашества, в помянутую (Тайную. – Е. А.) канцелярию прислать к розыску». В итоге строптивый архимандрит кончил свою жизнь на плахе. В 1733 году поп Феоктист Гаврилов был сослан навечно в Охотск за то, «что он, ведая о торжественном дни о восшествии е. и. в. на престол Российской империи, товарищу своему попу Родиону Тимофееву заблаговременно не напомнил и коварственно о том поступил». За такие проступки лишали сана, били кнутом, плетью и ссылали в дальний монастырь. Преступлением считалась и служба в «календарный день» литии, то есть заупокойной службы.

Неумышленные оговорки во время церковной службы – тема особая: за них наказывали как за описки канцеляристов. Примером может служить история, происшедшая 3 февраля 1743 года в Архангельском соборе Кремля, когда епископ Лев Юрлов, провозглашая «вечную память» Анне Петровне – покойной сестре правящей императрицы Елизаветы Петровны, «от незапности, по старости и от неосторожности» произнес вместо «*Анна Петровна*» «*Елизавета*

Петровна»! Об этом тотчас было донесено в Сенат и самой императрице, хотя для всех было ясно: престарелый епископ оговорился. В конечном счете скандал для Юрлова, уже отсидевшего при Анне Ивановне десять лет в дальнем монастыре, закончился благополучно – Юрлова лишь отстранили от службы. Преступлением был признан и поступок диакона московского Андреевского монастыря Дамиана, который в 1752 году *пропустил* в ектении имя матери правящей императрицы – Екатерины I, за что его пороли плетями, а тех, кто его не поправил, приговорили к тысяче поклонов.

Преступлением считалась также «*описка*» – пропущенная, незамеченная переписчиком (а также его начальником) ошибка при написании титула или имени монарха. Синонимом «описки» является выражение «врань в титуле». В купчей одного крестьянина 1729 года обнаружили титул «*ея* императорского величества» вместо «*его* императорского величества» (тогда на престоле был Петр II). Страшнее оказалась описка дьячка Ивана Кирилова из Тамбова, который в 1731 году, переписывая присланный из столицы указ о поминании умершей царевны Прасковьи Ивановны, вместо ее титула и имени «простою» вставил титул и имя правящей императрицы: «*ея* императорское величество Анна Иоанновна... преселилась в вечный покой». Дьячка били кнутом и сослали.

«*Подчистка*» была иным, чем «описка», преступлением. Суть ее в том, что имена или титулы государей подьячие поправляли, хотя всем было известно, что прикасаться к написанному титулу или имени государя было нельзя – с момента своего появления на бумаге эти слова считались священными. Но часто чиновник, совершивший при написании ошибку, ленился заново переписывать весь документ, брал нож и начинал выскребывать ошибку в строке, благо бумага тогда была плотная и позволяла почти незаметно удалить брак. Между тем этим своим действием он совершал государственное преступление, ибо оскорблял прикосновением своей руки царский титул. За подчистку титула в рапорте были наказаны отставной прапорщик Василий Лихарев и писавший рапорт пономарь Петр Федоров: первого оштрафовали на 15 руб., а переписчика били батогами.

Наказанию подвергались за «*прописку*» или «*недописку*» – пропуск. Вместо «всепрестлейшая» крестьянин Иван Латышев написал «всепрестлейшая», то есть пропустил слог «ве». В конце челобитной нашли еще одну прописку: вместо слова «всемиловейшая» он написал «всемлстивейшая», пропустив буквы *и* и *о*. Причем во втором случае можно было говорить скорее о выносе гласных, что часто делалось при написании длинных слов. Латышева наказали плетьюми, а помещика его, под диктовку которого писалась роковая челобитная, оштрафовали на 300 руб. За эту сумму таких Латышевых можно было купить целую деревню.

Известен случай курьезной *оговорки*, которую можно считать «устной опиской». В 1729 году в Ярославле поссорились купцы – сын и отец Пастуховы. Потом Федор донес на своего отца Михаила, который, ругая сына, сказал: «„Я-де, сам более Бога и я велю тебя по всем рядам бить кнутом“, – и он-де, Федор, ему, отцу своему, молвил: „Без указу-де его величества кнутом бить не надлежит“, – и отец же-де ево, Михайла, говорил к персоне е. и. в.: „Ваш то-де *Пилат* на Москве, а я-де дома“. – А те-де слова слышали свидетели два человека». Михаил Пастухов оправдывался тем, что «сказал, не умея он выговорить титула е. и. в., молвил „*инпилатор*“ – де на Москве и в том на оных свидетелей слался же». Свидетели встали на сторону отца – «сказали тож, что и оной Михайла показал», и ложный изветчик – сын Федор Пастухов – был бит кнутом и отправлен в Гилян.

В середине XVIII века стали заметны влияния идей философии Просвещения на право вообще, сыск и корпус государственных преступлений в частности. Это привело к отмене института «слова и дела» в 1762 году. Впрочем, некоторая либерализация репрессивного законодательства наметилось давно, еще в 1730-е годы. Во-первых, в некоторых случаях заметно стремление следователей отделить серьезный умысел к государственному преступлению от имитации такого умысла. Соответственно, устанавливали и разную степень наказания. В 1737

году в указе о предупреждении поджогов в Петербурге сказано, что «кто таким злым делом похвалится и в том обличен будет и хотя того в действо не произведет, однакож таковыми розыскивать и ежели кроме таких похвальных слов иного никакого воровства не сыщется и такие слова произнес по какой-либо ссоре или во пьянстве», то наказание не сожжение, как действительному поджигателю, а лишь кнут. В 1734 году при расследованиях государственных преступлений на Украине генералу князю А. Шаховскому предписывалось различать произнесение «непристойных слов» «из злости» и «спроста». В последнем случае карающая десница власти должна была дать преступнику легкий шлепок и вместо сурового наказания чиновник должен был малороссиянам «вытолковать с запрещением» о недопустимости в будущем подобных преступных речей.

Во-вторых, уже в 1730-е годы сыскное ведомство стало стремиться как-то регулировать поток «маловажных» дел. В 1736 году Тайная канцелярия добилась указа Анны Ивановны, чтобы все дела о «неотправлении (церковниками. – Е. А.) служб в высокотожественные дни» и в прочие «календарные» дни не пересылали бы с мест в Петербург. Из-за обилия их «по секретным делам в оной канцелярии чинится остановка». Поэтому следовало о таких преступлениях вести дела в епархиях, и если только выяснится, что они службы не отправляли «с какого противного вымысла», то присылать экстракты допросов в Тайную канцелярию.

Как известно, с 1754 года начала работать Уложенная комиссия, для которой чиновники Тайной канцелярии подготовили проект закона о преступлениях «против первых двух пунктов». Предлагалось разделить преступления на важные и неумышленные (за последние полагалось легкое, воспитательное наказание), отменить четвертование, освободить от наказаний увечных, престарелых и малолетних (до 12 лет), за ложный донос наказывать плетью и т. д. И хотя новый закон так и не был принят, перемены в корпусе государственных преступлений все-таки произошли.

Они были связаны, во-первых, с отменой в 1762 году «слова и дела», что сразу же погасило множество дел о «непристойных словах», и, во-вторых, с общим изменением стиля правления, характерного для образованной, терпимой и умной государыни Екатерины II. В знаменитой оде «Фелица» Г. Р. Державин хвалил императрицу за то, что в ее правление (1762–1796) уже нет прежних ужасов и

*Можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.
Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить.*

И все же стихотворение Державина – льстивое сочинение. Возможно, литературная киргиз-кайсацкая княжна Фелица и допускала своим подданным ордынцам пошептать о ней, но Екатерина II на такие шептания смотрела плохо и быстро утрачивала обычно присущую ей терпимость и благожелательность. Выразительным памятником борьбы со слухами стал изданный 4 июня 1763 года «Манифест о молчании», или «Указ о неболтании лишнего». В этом указе весьма туманные намеки о неких людях «развращенных нравов и мыслей», которые лезут куда не следует и судят «о делах до них не принадлежащих», да еще заражают сплетнями «других слабоумных», сочетаются с вполне реальными угрозами в адрес болтунов. Государыня предупреждала, что они играют с огнем и, дерзостно толкуя изданные императрицей законы и уставы, а также «самые божественные указания», даже не воображают «знатно себе немало, каким таковыя непристойныя умствования подвержены предосуждениям и опасностям». Надо

думать, что этот указ был вызван делом камер-юнкера Хитрово, который обсуждал с товарищами слухи о намерении Григория Орлова жениться на императрице. «Манифест о молчании» неоднократно «возобновлялся», то есть оглашался среди народа, а нарушители его преследовались полицией и Тайной экспедицией.

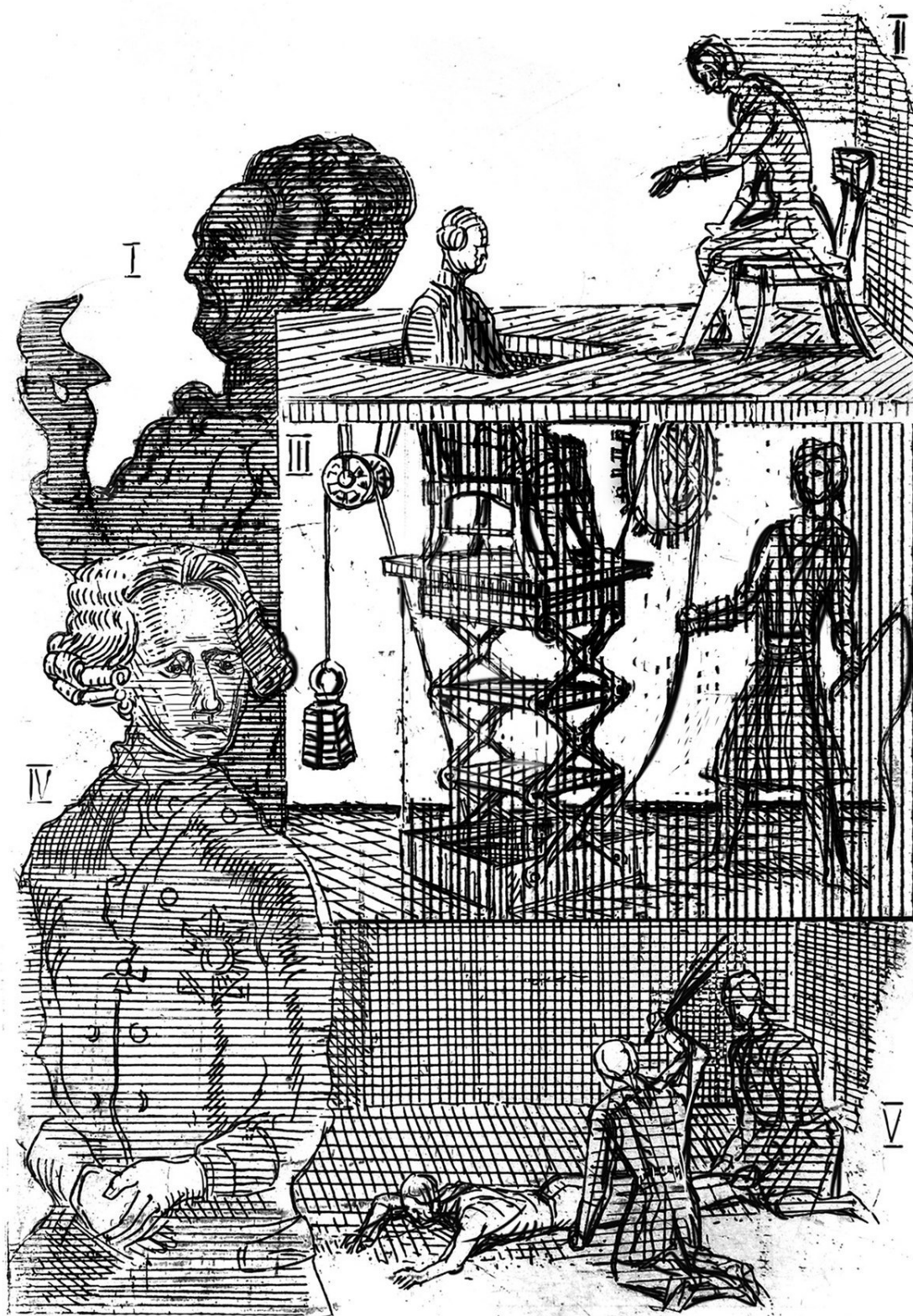
Таким образом, отмена «слова и дела» не привела к прекращению преследований за осуждающие монарха и власть разговоры – они по-прежнему считались преступными. Это в немалой степени связано с тем, что при Екатерине II и после нее остались в силе и все положения 2-й главы Уложения 1649 года о преследовании виновных по «первым двум пунктам», в том числе и по делам об оскорблении чести его величества.

В начале царствования императрица Екатерина пыталась сформулировать передовые по тем временам принципы и понятия о политическом преступлении, что отражено в ее знаменитом Наказе. Екатерина считала, что к виду тяжких преступлений нужно отнести только посягательства на жизнь и здоровье государя, а также измену государству. Оскорблением же величества предполагалось считать только конкретные действия, на это направленные, или слова, которые «приготавливают или соединяются, или последуют действию». При этом государыня считала, что наказывать надо не за слово, а за преступное действие. Хотя Екатерина II и отказывалась включать в список обвинений государственных преступников норму об оскорблении величества (так было в деле Пугачева), виновных в этом все-таки продолжила преследовать. Их, может быть, без лишнего шума (как это было раньше) отправляли в Сибирь, на Соловки, в монастыри, в деревню, заставляли разными способами замолчать. Важно, что Екатерина II стремилась не допустить в стране никакой гласной оппозиции. В 1764 году был осужден митрополит Арсений Мацеевич, который протестовал против церковной политики императрицы. За сочувствие ему и «неотправление надлежащего моления о царской фамилии» был лишен сана и сослан на Соловки архимандрит Геннадий.

Итак, на протяжении примерно двух столетий складывается корпус государственных преступлений, включавший в себя огромное число разнообразных деяний подданных, которые классифицировались как покушение на жизнь, здоровье и власть самодержца, а также оскорбление его чести. Конечно, среди дел политического сыска было немало таких, в которых шла речь о реальных покушениях, измене, сговоре, бунте и мятеже, то есть о действиях, по-настоящему угрожавших государственной безопасности России и самодержца. Однако оценивая в целом всю массу известных мне дел политического сыска, я невольно прихожу к выводу, что политический сыск был занят не столько реальными преступлениями, которые угрожали госбезопасности, сколько по преимуществу «борьбой с длинными языками».

Если оценить в совокупности все, что говорили люди о власти и за что они потом (по доносам) оказались в колодничьей палате сысканого ведомства, то можно утверждать следующее. Во-первых, общественное сознание того времени кажется очень, по-современному говоря, политизированным. Ни одно важное политическое событие не проходило мимо внимания дворян, горожан, крестьян порой самых глухих деревень. Темы, которые живо обсуждали люди, извечны: плохая власть, недостойные властители, слухи и сплетни о происхождении, нравах и пороках властей предрежащих. Во-вторых, люди в большинстве своем плохо относились к власти вообще и считали, что раньше было лучше.

Корпус государственных преступлений, который в части «непристойных слов» раздувается до гигантских размеров, убеждает, что сыскные органы действовали в качестве грубой репрессивной силы для подавления всякой оппозиционности власти, искореняли в буквальном смысле каленым железом всякую критику действий власти, подавляли малейшие сомнения подданных в правомерности ее действий. Не исключая, что развитие и разрастание корпуса государственных преступлений находятся в прямой зависимости от авторитета власти, точнее, от степени осознания ею своей уязвимости, от опасений самодержцев и их окружения потерять власть.



Степан Шешковский руководил Тайной экспедицией с 1762 по 1794 год и стал, благодаря этому, личностью весьма знаменитой в русской истории. Еще при жизни Шешковского имя его окружало немало легенд, в которых он предстает в роли искусного, жестокого и проницательного следователя-психолога. Он начал работать в Тайной канцелярии в 1740-х годах, проявил себя как исполнительный чиновник не без задатков и интереса к сыску.

Наибольшую известность в обществе Шеиловскому принесли его сеансы «домашнего наказания». Будто бы в кабинете Шеиловского находилось кресло особого устройства. Приглашенного он просил сесть в это кресло и как скоро тот усаживался, одна сторона, где ручка, по прикосновению хозяина, вдруг раздвигалась, соединялась с другой стороной кресла и замыкала гостя так, что он не мог ни освободиться, ни предполагать того, что ему готовилось. Тогда, по знаку Шеиловского, люк с креслами опускался под пол. Только голова и плечи виновного оставались наверху, а все прочее тело висело под полом. Там отнимали кресло, обнажали наказываемые части и секли. Исполнители не видели кого наказывали. Потом гость приводим был в прежний порядок и с креслами поднимался из-под пола. Все оканчивалось без шума и огласки. Но, несмотря на эту тайну, молва разносила имя Шеиловского и еще увеличивала действия его ложными прибавлениями. Екатерина II внимательно читала донесения Шеиловского и весьма ценила их. Во все царствование просвещенной императрицы Шеиловский олицетворял Государственный страх и одно упоминанием о нем многих приводило в ужас.

Глава 2. Самодержец и органы политического сыска

«Тайное» всегда есть принадлежность высшего, «верхнего государственного дела». С таким толкованием связаны названия и Тайного приказа XVII века, и органов политического сыска XVIII века. Понятие «тайный» отмечает принадлежность слова, действия, документа или учреждения к исключительной компетенции верховной власти. Напротив того, у подданного не должно быть ничего тайного. Тайное у подданного могло быть только преступным. Люди, собиравшиеся по ночам, уже только поэтому вызывали у власти подозрение и казались опасными. Андрея Хрущева, как и других приятелей А. П. Волынского, подолгу засиживавшегося у кабинет-министра, в сыске спрашивали: что они «таким необычайным и подозрительным ночным временем, *убегая от света*, исправляли и делали?»

Исключительность тайного государственного дела видна в часто встречающихся заявлениях изветчиков, что «государево слово и дело» они могут сообщить *тайно*, один на один, только самому государю. В 1719 году поляк Григорий Носович донес на русского посланника в Польше князя Г. Ф. Долгорукого по делу об измене, «которого никому, кроме самого е. ц. в., объявить не хотел, о чем и перед Сенатом спрашиван и по допросу ничего не показал», и в итоге удостоился встречи с Петром I. При расследовании дела А. П. Волынского в 1740 году главный доносчик на кабинет-министра, его дворецкий, Василий Кубанец, заявил, что имеет нечто объявить, «но не может иначе, как лично самой императрице». В тот же день ему зачитали именной указ, чтобы изветчик изложил свое «объявление» письменно и запечатал в отдельном конверте для передачи лично государыне.

Любопытную подробность сообщает неизвестный поляк-конфедерат, сосланный в 1769 году в Сибирь. Когда он с товарищами оказался в ссылке в Тобольске, то решил пожаловаться на злоупотребления местных властей. Кто-то из доброхотов посоветовал полякам положить письмо на имя государыни перед ее портретом и подобием трона, находившимся в Тобольской судебной палате, после чего по давней традиции прошение «немедленно препровождалось в Петербург». Поляки так и сделали. И действительно, их жалоба очень быстро дошла до Екатерины II и участь пленных облегчили. Следовательно, сакральность государственной тайны сохранялась, даже если челобитчик обращался к изображению монарха, подобно тому как он обращал свои тайные молитвы к Богу, молясь перед иконой.

Все самодержцы и самодержицы XVIII века были причастны к политическому сыску. Даже от имени двухмесячного императора Ивана Антоновича, «правившего» Россией чуть больше года, издавались указы и манифесты по делам сыска. В этом можно видеть традицию, уходящую к истокам самодержавия, к исключительному праву самодержца разбирать такие дела.

Интерес Петра I к сыску объясняется как личными пристрастиями царя, так и острой борьбой за власть, которую он выдержал в молодости. В этой борьбе Петр рано проявил решительность и жестокость. Недоверчивый и подозрительный, он был убежден, что только страх и насилие могут удерживать подданных в узде. Первые уроки сыскного дела Петр получил в августе 1689 года, когда допрашивал своего врага – Федора Шакловитого. Легенда связывает имя Петра и с разоблачением заговора Циклера в 1697 году: после получения доноса царь нагрянул в дом Циклера, застав заговорщиков во время совещания.

Помазанник Божий хорошо знал дорогу в застенки. Исследователи сыскной деятельности Петра I пишут о его непосредственном участии в Стрелецком розыске 1698 года. Царь сам допрашивал стрельцов, бывал на пытках, которым подвергали женщин – приближенных царевен Софьи и Марфы, а также лично допрашивал своих сестер. С 1700 по 1705 год Петр рассмотрел в Преображенском приказе и вынес резолюции по 50 делам. Даже в свои походы он брал с собой арестованных и допрашивал их.

Для работы в Тайной канцелярии Петр даже выделил особый день – понедельник. В этот день Петр приезжал в Петропавловскую крепость, слушал и читал там доклады, выписки и приговоры по текущим делам, являя собой в одном лице и следователя, и судью. К приезду царя – следователя и судьи – готовили экстракты и писали проекты приговоров, которые государь либо утверждал традиционной фразой «Учинить по сему», либо собственноручно правил и даже заново переписывал. Порой он детально вникал в обстоятельства дела, вел допросы и присутствовал при пытках. Резолюции царя показывают глубокое знание им тонкостей сыскного процесса и дел, которые его чем-то особо привлекали.

Судить о том, насколько опытным следователем был Петр, трудно. Конечно, он оставался сыном своего века, когда признание под пыткой считалось высшим и бесспорным доказательством виновности человека. Петр не отличался какой-то особой кровожадностью. Известны только два случая, когда царь указал запытать до смерти упорствующих в своих «заблуждениях» старообрядцев.

В делах сыска, как и во многом другом, Петр часто проявлял свой неуравновешенный характер. Он нередко ошибался в людях, что особенно заметно в деле Мазепы, которому слепо доверял и был глух ко всем доносам на него, многие из которых подтверждались фактами: гетман давно встал на путь измены русскому царю. Но Петр выдавал доносчиков самому же гетману, который их казнил. Согласно легенде, единственным выводом Петра I, попавшего с этой историей впросак, была знаменитая сентенция: «Снявши голову, по волосам не плачут». Вообще, личные расправы царя над подданными считались в народе нецарским делом и принесли ему дурную славу.

Петр вообще был свободен в выборе решений по каждому делу. Все было в его воле: дать указ арестовать, допросить, пытать, выпустить из тюрьмы. Он отменял уже утвержденный им же приговор, направлял дело на доследование или приговаривал преступника к казни. При этом он исходил не из норм тогдашнего права, а из собственных соображений, оставшихся потомкам неизвестными. Впрочем, ссылки на законы и процессуальные нормы тогда не были обязательны – традиция и право позволяли самодержцу выносить любой приговор по своему усмотрению.

Любопытно дело бывшего фискала Санина. Вначале Петр вынес резолюцию о его казни, потом распорядился, чтобы казнь Санина «умедлить для того, что его величество изволил иметь тогда намерение сам его Санина видеть». Затем царь встретился с Саниным, выслушал его... и повелел ужесточить казнь: вместо отсечения головы он предписал колесовать преступника. Нужно согласиться с В. И. Веретенниковым, который писал, что в подобных случаях «личная воля монарха является высшей и в данном случае единственной нормой».

В принципе, в системе самодержавной власти ни одно государственное дело не должно было миновать государя. Однако на практике смотреть все дела царь не мог и происходила их неизбежная сортировка. В обычных, маловажных делах критерием решения служил закон, регламент, инструкция. Если же подходящего закона не было, дело должно было поступать к государю. Эту схему Петр довольно последовательно проводил во время реформы государственной власти.

Эта же схема действовала в целом в делах политического сыска. Кроме общей сортировки наиболее существенных дел по «двум первым пунктам» от прочих, менее важных, сложилась устойчивая классификация и решения дел по степени их важности. «Важность» – это обобщенная оценка значимости дела, это же и общее определение преступления как перспективного для расследования в сыске, а также достойного внимания государя.

Дела «по важности» почти всегда были «секретные», «тайные». В 1723 году Тайная канцелярия отчитывала членов Главного магистрата за то, что они, исследуя какое-то дело по извету, совершили проступок: «Самую важность открыли, чего весьма чинить им не надлежало». Только руководители сыска, знающие суть отличий «важного» дела от «неважного»,

«посредственного», могли точно определить, какие из дел следует подносить государю, а какие к «важности не касаются» и могут быть решены в самом сыскном ведомстве. Поток таких не содержащих «важность» дел – а речь идет о тысячах их – шел, минуя государя, через постоянные сыскные органы XVIII века (Преображенский приказ, Тайную канцелярию и Тайную экспедицию). Поэтому для политического сыска разбор «маловажных» дел о пьяной болтовне, непристойностях, ложном кричании «слова и дела» быстро стал рутиной. Как писал П. А. Толстому оставшийся за старшего в Тайной канцелярии А. И. Ушаков, «в Канцелярии здесь вновь важных дел нет, а имеются посредственные, по которым також, яко и прежде, я доносил, что *кнутом плутов посекаем, да на волю выпускаем*».

На протяжении XVII и XVIII веков поручения по политическому сыску традиционно проводили назначенные государем доверенные люди, поставленные во главе комиссий. В XVII веке таких сыскных («розыскных») приказов – комиссий было довольно много. В октябре 1698 года, с началом Стрелецкого розыска, было образовано десять (!) следственных комиссий, во главе которых стояли бояре, а также комнатный стольник князь Ф. Ю. Ромодановский. Последний был тогда судьей Преображенского приказа. Впоследствии самодержец нередко поручал расследование всему, как тогда говорили, «синклиту», «начальствующим», «министрам», высшим должностным лицам (боярам, потом – сенаторам, членам Синода, судьям приказов, президентам коллегий и др.). Работа подобного рода следственных комиссий обычно опиралась на постоянные органы – учреждения политического сыска. Самым главным из таких учреждений долгое время был *Преображенский приказ*.

История появления этого учреждения достаточно хорошо изучена Н. Б. Голиковой. Созданный как обычный дворцовый приказ, он претерпел эволюцию и с начала XVIII века стал головным учреждением, которое ведало политическим сыском. Этому способствовало то, что с осени 1698 года приказ стал центром грандиозного Стрелецкого сыска. Розыск затянулся на несколько лет, и постепенно сыскные функции приказа стали для него важнейшими. Образовался штат опытных в делах сыска приказных, заплочных дел мастеров, появились обустроенные пыточные палаты и тюрьма. У бессменного судьи приказа князя *Федора Юрьевича Ромодановского* сосредотачивались сыскные дела по многим преступлениям, ранее поступавшие в различные приказы. Наконец, Петр именным указом 25 сентября 1702 года закрепил за Преображенским приказом исключительное право ведения следствия и суда по «слову и делу». Отныне все власти обязывались «таких людей, которые учнут за собой сказывать „государево слово и дело“, присылать к Москве, не расспрашивая... в Преображенский приказ». Такое сосредоточение сыска оказалось очень удобным Петру, который не доверял старой администрации и с началом реформ и Северной войны хотел держать политический сыск под контролем своего доверенного человека.

Во многом благодаря Ромодановскому Преображенский приказ и занял столь важное место в управлении. Сам Ромодановский был всего лишь комнатным стольником, но он находился «в милости» у молодого царя. Он входил в тот узкий круг особо доверенных людей, сподвижников-собутельников, среди которых царь отдыхал. Думаю, что в карьере Ромодановского особую роль сыграл Стрелецкий розыск 1698 года, когда он хорошо организовал следствие и получил важные сведения о замыслах стрельцов и их связях с царевной Софьей. Достиг этого Ромодановский благодаря открывшемуся у него пыточному таланту. Он был человек более жестокий и беспощадный, чем сам Петр. Порой царь даже выражал (возможно, показное) возмущение его кровопийством.

Особая жестокость Ромодановского имела объяснение – в какой-то момент стрелецкого мятежа он дрогнул. Его не было видно на поле боя после разгрома мятежников под Воскресенским монастырем. Первый розыск, причем неумелый, провел боярин А. С. Шеин, а не Ромодановский, что вызвало недоумение Петра I. Он писал в Москву, что узнал о подавлении бунта, «зело радуемся, только зело мне печально и досадно на тебя, для чего сего дела в розыске

не вступил. Бог тебя судит! Не так было говорено на загородном дворе в сених». Из этого вытекает, что при отъезде царя за границу политический сыск был поручен Ромодановскому и задание царя он не выполнил. Думаю, что Ромодановский попросту испугался и выжидал. По этому поводу Петр писал ему: «Я не знаю, откуда на вас такой страх бабей». Зато потом, когда мятеж был подавлен, а Петр вернулся в Россию, Ромодановский лез из кожи вон, чтобы загладить свою трусость и странную растерянность.

И хотя в середине 1710-х годов приказ перестал быть единственным органом сыска (часть сыскных дел перешла к «маюрским канцеляриям» и к Тайной канцелярии), Ф. Ю. Ромодановский до самой своей смерти в 1717 году оставался главным палачом державы. Место отца занял его сын – князь Иван, который подал царю челобитную, в которой «со всегорестными слезами о конечном сиротстве» просил его не оставить милостями, а главное – батюшкиным служебным «наследством». Но Ромодановскому-младшему не повезло – во время его судейства шли непрерывные реорганизации, у кормила власти постоянно менялись люди, и в 1728 году под предлогом болезни он ушел в отставку. В 1729 году сам Преображенский приказ был распушен, хотя его помещение использовалось с теми же целями лет восемьдесят.

Во второй половине 1710-х годов важное место в системе политического сыска заняли так называемые «*маюрские*» *розыскные канцелярии*, которые так именовались из-за того, что во главе них стояли майоры гвардии. Они ведали каким-либо конкретным розыскным делом по личному поручению царя. Петр часто прибегал к услугам гвардейцев для самых разных поручений. Канцелярии майоров (а их насчитывалось 12) по своей сути были временными следственными комиссиями, похожими на сыскные приказы XVII века. Подчас они, начав с одного дела, быстро разрастались в целое учреждение со штатом приказных и обширным делопроизводством.

Майорские канцелярии занимались преимущественно делами по «третьему пункту» («кража государственного интереса», «похищения казны»), а также другими должностными преступлениями. Но царь часто передавал майорам и политические дела. Майорским канцеляриям предоставлялись значительные права проводить весь цикл расследования (допросы, очные ставки, пытки) и готовить проекты приговоров. Царь был в курсе дел канцелярий и направлял весь ход расследования в них. К 1724 году Петр, завершая государственную реформу, решил ликвидировать ставшие уже ненужными «маюрские канцелярии». Указ об этом был издан 22 января 1724 года. Чуть раньше Петр решил прикрыть и Канцелярию тайных розыскных дел.

Канцелярия тайных розыскных дел, более известная как Тайная канцелярия, возникла в начале расследования дела царевича Алексея, хотя указ о ее образовании не найден. 4 февраля 1718 года Петр продиктовал П. А. Толстому «пункты» для первого допроса сына-преступника. Позже именно к Толстому и стала сходить вся информация по начатому розыску. Вокруг него – типичного петровского порученца – сложился штат приказных новой, но весьма похожей на майорские розыскной канцелярии, хотя до самого переезда в Петербург весной 1718 года ведомство Толстого канцелярией не называлось. Иначе говоря, розыск по делу царевича Алексея поначалу был личным поручением Толстому, точно так же как раньше по заданию Петра А. Д. Меншиков вел Кикинское дело, которое было частью следствия по делу Алексея.

Выбор *Петра Андреевича Толстого* на роль руководителя розыска по делу царевича можно объяснить тем, что он до этого блестяще провел операцию по возвращению из-за границы блудного царского сына. В Италии, где Толстой настиг царевича, он сумел уговорить Алексея вернуться домой, причем сделал это не без обмана. Не случайно привлеченный по делу царевича Иван Нарышкин Толстого «называл Иудой, он-де царевича обманул и выманил». После успешной миссии в Италии царь поручил Толстому уже расследование дела о побеге царевича. До этой истории Толстой не входил в круг ближайших сподвижников Петра. В молодости он принадлежал к враждебной Петру группировке Милославских, но потом сумел

добиться царского расположения. Человек уже не молодой (родился или в 1653 или в 1654 году), в начале 1697 года Толстой отправился учиться на моряка, чем особенно угодил государю-шкиперу. В 1701 году он стал посланником в Стамбуле и проявил там незаурядный талант дипломата. Вернувшись в 1714 году в Россию, Толстой стал служить в Посольской канцелярии. По роду своих занятий и склонностям П. А. Толстой был более всего дипломатом, хитрым, изворотливым и умным, но, как многие другие сподвижники Петра I, он мог заниматься и самыми разными делами.

Петр I, по-видимому, не особенно доверял Толстому, но умел ценить его дар ловкого дипломата, ум и рвение. Толстой же постоянно показывал свою преданность Петру, был готов выполнить любое его задание, не задумываясь над моральной стороной дела. Толстой не только помогал Петру вести допросы царевича, но и занимался «ответвлениями» главного розыска – вел допросы близких к царевичу людей. По окончании дела Толстой стал графом, тайным советником, президентом Коммерц-коллегии, сенатором, владельцем обширных вотчин.

Тайная канцелярия как учреждение появилась на свет в Петропавловской крепости и была типичной временной розыскной комиссией. Толстой быстро составил штат учреждения из 6–9 подъячих разных приказов и канцелярий. Им обещали, что работа их в канцелярии будет временной, до «скончания дела» Алексея. Помощниками Толстого, которых позже стали называть «ассессорами», стали старшие гвардейские офицеры А. И. Ушаков, Г. Г. Скорняков-Писарев и И. И. Бутурлин.

После смерти царевича Алексея 26 июня 1718 года Тайная канцелярия не была распущена. Получив важный донос, Петр поручил очередное дело Толстому. 8 августа 1718 года с борта корабля, находившегося при мысе Гангут, царь написал ему: «Мой господин! Понеже явились в краже магазейнов ниже именованные, того ради, сыскав их, возьми за караул». Ниже указывался список предполагаемых воров. Так, вероятно по чьему-то доносу, началось Ревельское адмиралтейское дело, которое закончилось суровыми приговорами только через несколько лет. Подобным же образом возникали и другие дела.

С образованием Тайной канцелярии наметилось географическое распределение дел между ею и Преображенским приказом: колодников по Петербургу и окрестностям велели присылать в Тайную, а из Москвы и центральных губерний России – в Преображенский приказ, который стал называться канцелярией. В 1718 году в Москве А. И. Ушаков создал, по заданию Петра, Контору Тайной канцелярии, которая разместилась на Потешном дворе в Преображенском. Осуществляя реформу управления, царь в 1724 году решил передать политический сыск Сенату, однако реорганизация сыска так и не состоялась из-за его смерти.

После того как умер Петр Великий и на престоле оказалась императрица Екатерина I, Тайная канцелярия продолжила работать. Весьма крупным стало дело монаха Самуила Вымокрова. 30 июля 1725 года А. И. Ушаков вкратце пересказал дело императрице, после чего государыня одобрила проект приговора. Тем же летом Екатерина слушала доклады по делу Феодосия Яновского, в декабре 1726 года по своему ведомству знакомил ее с делами Иван Ромодановский. Он же составил проект приговора по делу Родышевского. И все же 28 мая 1726 года в истории Тайной канцелярии была поставлена точка. В тот день появился указ Екатерины I на имя Толстого, где сказано, что Тайная канцелярия «учинена была на время для случившихся тогда чрезвычайных тайных розыскных дел и, хотя тому подобные дела и ныне случаются, однако не так важные и больше бывают такие дела у... князя Ромодановского». Поэтому канцелярию было предписано ликвидировать.

В феврале 1726 года «при боку» Екатерины I возник Верховный тайный совет, составленный из «первейших» вельмож того времени. Сразу же он стал «стягивать» к себе власть, в том числе и в делах политического сыска. Верховники выполняли роль одновременно следователей и судей: на своих заседаниях они заслушивали записи допросов, экстракты по делам сыска, выносили приговоры, принимали доклады И. Ф. Ромодановского и А. И. Ушакова.

После смерти Екатерины I 7 мая 1727 года и с восшествием на престол 12-летнего Петра II некоторое время сыскными делами ведал фактический регент А. Д. Меншиков. Он распоряжался, как расследовать начатое в апреле 1727 года дело П. А. Толстого и его сообщников, а также княгини А. П. Волконской, которую светлейший заподозрил в интригах против себя. После падения Меншикова политическим сыском стал вновь ведать Верховный тайный совет.

За исключением одного случая, когда в ноябре 1727 года нужно было дать распоряжение о расследовании дела Меншикова, малолетний царь Петр II делами сыска не занимался. Судя по делу Волконской, основная тяжесть работы лежала на А. И. Остермане и князе А. Г. Долгоруком, отце фаворита царя Ивана Долгорукого. Текущие, «маловажные» дела после ликвидации Преображенского приказа в 1729 году сосредоточили в Сенате. Однако вскоре и сам Верховный тайный совет прекратил существование.

В царствование императрицы Анны Ивановны (1730–1740) для сыскных дел использовались все известные ранее организационные формы: и постоянные учреждения, и временные комиссии, и отдельные чиновники. С ликвидацией Верховного тайного совета сыск перешел к Сенату. Однако 24 марта 1731 года появился именной указ об образовании новой *Тайной канцелярии*. Ее возникновение весьма напоминает создание «маэорских канцелярий» и первой Тайной канцелярии Толстого. В указе проявляется забота о загруженных делами сенаторах, и, чтобы им не было «помешательства... в прочих государственных делах», все «важные дела» по политическому сыску передаются генералу А. И. Ушакову. Трудно сказать, так ли уж был загружен делами Сенат, но думаю, что вступившая на престол Анна Ивановна не доверяла сенаторам, среди которых было немало ее врагов, и хотела держать политический сыск под своим контролем. Поэтому она и поручила, как ранее Петр I Ромодановскому, сыскные дела своему доверенному человеку. Новая Канцелярия тайных розыскных дел вселилась в старые хоромы в Преображенском, унаследовав от своего преемника и статус центрального учреждения, а также бюджет – 3360 руб., то есть ту самую сумму денег, «которая положена была по штату на бывший Преображенский приказ». Именно на такие ничтожные деньги содержался в 1731 году политический сыск. В этом была преемственность органов политического сыска, как и в том, что «Тайная» – так в просторечие стали называть Тайную канцелярию – пользовалась архивом закрытого Преображенского приказа.

В начале 1732 года двор вернулся в Петербург, и вместе с ним Ушаков со своей канцелярией, которая в связи с объявленным «походом» государыни в Петербург получила название «*Походная канцелярия тайных розыскных дел*». Под канцелярию очистили помещения в Петропавловской крепости. С сентября решено канцелярию «именовать... просто Канцелярией тайных розыскных дел». Создание этой канцелярии стало настоящим триумфом *Андрея Ивановича Ушакова*. К 1731 году он сумел преодолеть обидный провал в своей карьере, когда в мае 1727 года его втянули в дело Толстого да еще обвинили в недонесении, то есть по статье, которую – ирония судьбы! – Ушаков за свою жизнь в сыске предъявил множеству людей. До этой неудачи карьера Ушакова шла вполне успешно. Он выслужился при расследовании дел участников восстания Булавина в 1707–1708 годах, в мае 1714 года по указу Петра создал свою «маэорскую канцелярию», а с марта 1718 года стал первым заместителем П. А. Толстого в Тайной канцелярии. В отличие от других ассессоров – Г. Г. Скорнякова-Писарева и И. И. Бутурлина – Ушаков показал себя настоящим профессионалом сыска. Он много и с усердием работал в застенке и даже ночевал на работе.

Ушаков нередко заменял самого Толстого, который, завершив дело царевича, тяготился обязанностями начальника Тайной канцелярии. Многие сыскные дела он перепоручал Ушакову, который делал все тщательно и толково. К середине 1720-х годов Ушаков сумел укрепить свои служебные позиции и даже потеснил князя И. Ф. Ромодановского, который был не так опытен и инициативен, а главное – влиятелен при дворе, как его покойный отец. Ушаков стал докладчиком у Екатерины I по делам сыска. Гроза, которая в начале мая 1727 года разразилась

над головой Толстого, А. М. Девьера и других, лишь отчасти затронула Ушакова – он не угодил на Соловки или в Сибирь. Его, как армейского генерал-лейтенанта, послали в Ревель.

Во время бурных событий начала 1730 года, когда дворянство сочиняло проекты об ограничении монархии, Ушаков был в тени, но при этом подписывал только те проекты переустройства, которые отстаивали прежнее самодержавие. Позже, когда Анне Ивановне удалось восстановить самодержавную власть, лояльность Ушакова отметили – в 1731 году императрица поручила ему ведать политическим сыском.

Следя за карьерой Ушакова, нельзя не удивляться его поразительной «политической непотопляемости». Вместе с А. П. Волынским Ушаков судил князей Долгоруких, а вскоре по воле Бирона пытал уже Волынского. Потом Ушаков допрашивал самого Бирона, свергнутого Минихом. Еще через несколько месяцев «непотопляемый» Ушаков уличал во лжи на допросах уже Миниха и других своих бывших товарищей, признанных новой императрицей Елизаветой врагами отечества.

Ушаков сумел стать человеком незаменимым, неприступным хранителем высших государственных тайн, стоящим как бы над людскими страстями и борьбой партий. Одновременно он был ловок и, как тогда говорили, «пронырлив», обладал каким-то обаянием, мог найти общий язык с разными людьми.

Тут нельзя не отметить, что между самодержцами (самодержицами) и руководителями политического сыска всегда возникала довольно тесная и очень своеобразная деловая и идейная связь. Между ними не было тайн, они не облекали в эвфемизмы «непристойные слова» и содержание допросов и пыточных речей, неведомых как простым смертным, так и высокопоставленным особам. Как и ее предшественники, Анна Ивановна была равнодушна к сыску. В. И. Веретенников, детально изучивший историю Тайной канцелярии 1731–1762 годов, пришел к обоснованному выводу, что ни с одним учреждением, «кроме Кабинета, у Анны не было таких тесных отношений, в дела никакого другого учреждения не входила сама императрица так близко, так непосредственно». Появление генерала Ушакова в личных апартаментах императрицы с докладом о делах сыска вошло в обычай с самого начала работы Тайной канцелярии. Ушаков либо докладывал государыне устно по принесенным им выпискам о делах, находящихся в производстве или законченных «исследованием», либо оставлял у нее экстракты дел. На них императрица писала свою резолюцию: «Быть по сему докладу» или – в зависимости от своих пристрастий – меняла предложенный ей проект приговора: «Вместо кнута бить плетью, а в прочем быть по вашему мнению. Анна». Да и сама императрица давала распоряжения об арестах, обысках, лично допрашивала некоторых колодников, «соизволив... спрашивать перед собой».

Анна Ивановна порой внимательно следила за ходом расследования и интересовалась его деталями. Особенно это заметно в делах «важных», в которые были вовлечены известные люди. 29 ноября 1736 года она открыла и первое заседание Вышнего суда по делу князя Д. М. Голицына, а потом бывала и на других его заседаниях и через А. П. Волынского указывала, как допрашивать Голицына. Когда весной 1740 года пришел черед заниматься делом уже самого Волынского и его конфиденентов, Анна сама допрашивала замешанного в деле князя А. А. Черкасского, постоянно получала от следователей отчеты, читала журналы и экстракты допросов, а 21 мая, выслушав очередной доклад, распорядилась начать пытки бывшего кабинет-министра. Недовольная работой следователей, она сама взялась за перо и составила список вопросов для застенка.

В аннинское царствование в системе политического сыска видное место занял Кабинет министров – высший правительственный орган, созданный в 1731 году в помощь императрице. По многим, особенно «неважным» делам Ушаков обращался в Кабинет, где заседали влиятельнейшие сановники – А. И. Остерман, князь А. М. Черкасский, потом П. И. Ягужинский и А. П. Волынский. Из некоторых протоколов Кабинета видно, что Ушаков работал рука об

руку с кабинет-министрами и стремился разделить ответственность с министрами по наиболее острым делам, чего последние, естественно, стремились избежать.

Переезд двора в Петербург вынудил перестроить структуру политического сыска. В Москве была оставлена Контора Тайной канцелярии со штатом в 17 человек. Ею ведал «в надлежащей тайности и порядке» главнокомандующий Москвы Семен Андреевич Салтыков, родственник императрицы и один из ее преданных сторонников, помогший ей восстановить самодержавие. Начиная с 1731 года и до конца XVIII века Московский главнокомандующий был руководителем московского отделения сыскного ведомства и подчинялся непосредственно государыне. Контору Тайной канцелярии разместили на старом месте – в Преображенском.

При Анне Ивановне было организовано четыре следственные комиссии – по делу князя А. А. Черкасского (1734), князя Д. М. Голицына (1736), князей Долгоруких (1738) и А. П. Волынского (1740). Позже, в короткое правление Анны Леопольдовны, действовали еще две временные следственные комиссии – по делам Э. И. Бирона и А. П. Бестужева-Рюмина (1740–1741). С приходом к власти Елизаветы Петровны была создана следственная комиссия по делу Остермана, Миниха, Левенвольде и других. Впоследствии были учреждены комиссии по делу Лопухиных (1743), Лестока (1749) и канцлера А. П. Бестужева-Рюмина (1758–1759). Все эти Комиссии создавались по именному указу. Среди членов Комиссии обязательно числился начальник Тайной канцелярии, который, в сущности, и направлял деятельность комиссии, ибо настоящее «исследование» велось в стенах, точнее застенках, Тайной канцелярии. Закончив работу (как правило, весьма непродолжительную), Следственная комиссия на основе допросов подследственных составляла экстракт (иногда «краткий», иногда «обстоятельный») на высочайшее имя государыни и «сентенцию» – приговор, который верховная власть «апробировала», то есть одобряла. Во многих случаях этот приговор был лишь выражением высочайшей воли, что делало заседание таких комиссий формальностью.

В правление Елизаветы Петровны (1741–1761) в работе сыска не произошло никаких принципиальных изменений. В Тайной канцелярии, в отличие от других учреждений, даже люди не сменились. А. И. Ушаков – верный слуга так называемых «немецких временщиков» и «душитель патриотов» вроде Волынского – рьяно взялся за дела врагов дочери Петра Великого, постоянно докладывая государыне о наиболее важных происшествиях по ведомству госбезопасности, выслушивал и записывал ее решения, представлял государыне экстракты и проекты приговоров.

Особенно пристрастно императрица занималась делом Остермана, Миниха и других в 1742 году. Она присутствовала при работе назначенной для следствия комиссии, но при этом, невидимая для преступников, сидела за ширмой (так в свое время поступала и Анна Ивановна). И впоследствии Елизавета требовала подробных отчетов об узниках, интересовалась всеми мелочами следствия. С увлечением расследовала государыня и дело Лопухиных в 1743 году. На материалах следствия лежит отпечаток личных антипатий Елизаветы к тем светским дамам, которых на эшафот привели их длинные языки. Кроме того, Елизавета тогда, может быть, впервые узнала из следственных бумаг Тайной канцелярии о том, что о ней болтают в гостиных Петербурга, и эти сведения, полученные нередко под пытками, оказались особенно болезненны для самовлюбленной, хотя и незлой императрицы.

Протоколы допросов прямо из следственной комиссии отвозили к императрице, которая их читала и давала через Лестока и Ушакова новые указания об «изучении» эпизодов дела. Она же дала распоряжение о начале пыток Ивана Лопухина и допросе беременной Софьи Лилиенфельд. В 1745 году Елизавета лично допрашивала дворянина Андриана Беклемишева и поручика Евстафия Зимнинского, восхищавшихся правлением Анны Леопольдовны и ругавших правящую императрицу. В роли следователя выступила Елизавета и в 1746 году, когда допрашивала княжну Ирину Долгорукую, обвиненную в отступничестве от православия. Недовольная ответами Долгорукой, императрица распорядилась, чтобы Синод с ней «не слабо

поступал». В 1748 году Елизавета следила за розыском Лестока, писала заметки к вопросным пунктам, в которых не сдержала своих чувств и упрекала Лестока в предательстве. В 1758 году, когда вскрылся заговор с участием А. П. Бестужева и великой княгини Екатерины Алексеевны, императрица лично допросила жену наследника престола.

К этому времени уже десять лет начальником Тайной канцелярии был *Александр Иванович Шувалов*, родной брат влиятельного П. И. Шувалова и двоюродный брат фаворита императрицы И. И. Шувалова. А. И. Шувалов с давних пор пользовался особым доверием Елизаветы, и уже с 1742 года ему поручали сыскные дела. Он арестовывал принца Людвига Гессен-Гомбургского, вместе с Ушаковым расследовал дело лейб-компанца Петра Грюнштейна. По-видимому, работа с опытным Ушаковым стала для Шувалова хорошей школой, и в 1746 году он заменил заболевшего шефа на его посту. В сыском ведомстве при нем все осталось по-прежнему – налаженная Ушаковым машина продолжала исправно работать. Правда, новый начальник Тайной канцелярии не был так галантен, как Ушаков, и даже внушал окружающим страх странным подергиванием мускулов лица. Как писала в своих записках Екатерина II, «его занятие вызывало, как говорили, у него род судорожного движения, которое делалось у него на всей правой стороне лица от глаза до подбородка всякий раз, как он был взволнован радостью, гневом, страхом или боязнью».

Шувалов не был таким, как Ушаков, фанатиком сыска, в конторе не ночевал, увлекся коммерцией и предпринимательством. Много времени у Шувалова отнимали и придворные дела – с 1754 года он стал гофмейстером двора Петра Федоровича. И хотя Шувалов вел себя с наследником предупредительно и осторожно, сам факт, что его гофмейстером стал шеф тайной полиции, нервировало Петра и его супругу. Последняя писала в своих записках, что встречала Шувалова всякий раз «с чувством невольного отвращения». Это чувство, которое разделял и Петр, не могло не отразиться на карьере Шувалова после смерти императрицы Елизаветы и прихода к власти Петра III. Новый император сразу же уволил Шувалова от его должности.

Краткое царствование Петра III стало важным событием в истории политического сыска. Манифестом от 22 февраля 1762 года были ликвидированы институт «слова и дела» – выражение, которым заявляли о государственном преступлении, – и Тайная канцелярия. Законодательный акт не отменял институт доноительства и преследования за «непристойные слова»: большая часть манифеста посвящена пояснениям того, как теперь, при отмене «слова и дела», нужно доносить властям об умысле в преступлениях «по первому и второму пункту» и как властям следует поступать в новой обстановке.

Из последнего раздела следует, что политические дела теперь будут вести Сенат и его Московская контора, однако говорится об этом очень невразумительно. Все становится ясно, когда мы обратимся к документам о ликвидации Тайной канцелярии. В. И. Самойлов установил, что существовал указ Петра III от 7 февраля 1762 года, который предполагал вместо Тайной канцелярии «уч[редить] при Сенате особую экспедицию», 16 февраля император утвердил указ об этом, а через шесть дней выпустил манифест об уничтожении Тайной канцелярии. Согласно указу от 16 февраля, всех служащих Тайной канцелярии во главе с ее ассессором С. И. Шешковским перевели в Сенат, а указом от 25 февраля им предписывалось «быть на том же жаловании, как ныне они получают» в новой Тайной экспедиции Сената. Из сенатских бумаг следовало, что Московская контора Тайной канцелярии переходила в ведение Сената. По смете 1765 года на все ведомство политического сыска выделялось 2000 руб. в год. Эти деньги шли на жалованье чиновников. Реально же на сыск тратилось гораздо больше – из бюджета Сената и гарнизона Петербурга. Окончательный статус Тайной экспедиции был утвержден указом Екатерины II 19 октября 1762 года, а также в ходе начавшейся в 1763 году реформы Сената. Тайная экспедиция вошла в его I департамент, где велись самые важные «государственные и политические дела». Во главе Экспедиции был поставлен С. И. Шешковский, ставший одним из

обер-секретарей Сената. Он поддерживал связь по делам своего ведомства непосредственно с генерал-прокурором и государыней.

Пришедшая к власти в июне 1762 года Екатерина II и ее ближайшие сподвижники понимали важность политического сыска и тайной полиции вообще. Об этом говорила императрице вся предшествующая история России, а также ее собственная история вступления на трон. Весной и летом 1762 года, когда началась реформа сыскного ведомства, на какое-то время сыск оказался ослаблен. И хотя сторонники императрицы почти в открытую готовили путч в ее пользу, Петр III не имел точных сведений о надвигающейся опасности и потому только отмахивался от слухов и предупреждений разных людей на этот счет. Если бы работала Тайная канцелярия, даже в том виде, в котором она была в 1761 году, то одного из заговорщиков, Петра Пассека, арестованного 26 июня 1762 года по доносу, допросили бы с пристрастием и выяснили подробности заговора Орловых.

Словом, пришедшая к власти Екатерина II не хотела повторять ошибок своего предшественника на троне. *Тайная экспедиция* при ней сразу же заняла важное место в системе власти. В сущности, она получила все права центрального государственного учреждения, а ее переписка стала секретной: на конвертах в Экспедицию надлежало писать «О секретном деле».

Политический сыск при Екатерине II многое унаследовал от старой системы, но в то же время был отличен от нее. Эпоха просвещенного абсолютизма предполагала известную открытость общества, либерализм в политике. Реформы Екатерины способствовали упрочению сословного строя, немыслимого без системы привилегий. В записке 1763 года императрица писала, что дворянина следовало освободить «от всякого телесного истязания» и подвергать наказанию, только если он «перед судом изобличен», причем доказательства его вины «требуется вящие, нежели противу недворянина». Она руководствовалась убеждением, что образованный дворянин потенциально менее склонен к преступлениям, чем не попавший под лучи Просвещения простолюдин. Эти начала были положены в основу законодательства о дворянстве. Однако практика политического сыска показывала, что опасение верховной власти перед лицом угрозы, исходившей от дворянина, как и от любого другого подданного, всякий раз перевешивала данные дворянскому сословию привилегии и преимущества.

В целом концепция госбезопасности времен Екатерины II была основана на поддержании «покоя и тишины» – основы благополучия государства и его подданных. Согласно законодательным запискам Екатерины о будущем устройстве России, Тайная экспедиция имела две главные задачи: во-первых, она собирает сведения «о всех преступлениях противу правления» и, во-вторых, «велит преступников иметь под стражу и соберет все обстоятельства», то есть проведет расследование. Впрочем, не следует идеализировать реальную политику. Ее средства подчас выходили далеко за рамки даже тогдашней законности и очень напоминали (или просто копировали) осуждаемые просвещенным абсолютизмом методы насилия и жестокости. Характерные для второй половины XVIII века проявления либерализма, просвещенности и гуманности в политике отражали во многом лишь стиль правления лично императрицы Екатерины II – женщины образованной, умной, незлой и гуманной, но и она переступала грань тех моральных норм, которые считала для себя образцовыми.

Как и все ее предшественники, Екатерина II признавала политический сыск своей первой государственной «работой», проявляя при этом увлеченность и страстность, вредившие декларируемой ей же объективности. В сравнении с Екатериной II императрица Елизавета Петровна кажется жалкой дилетанткой, которая выслушивала почтительные и очень краткие доклады Ушакова во время туалета между закончившимся балом и предстоящей прогулкой. Екатерина же знала толк в сыске, сама возбуждала сыскные дела, писала, исправляла или утверждала «вопросные пункты», ведала всем ходом расследования наиболее важных дел, выносила приговоры или одобряла «сентенции» – приговоры. Постоянно получала императрица и какие-то агентурные сведения, за которые платила деньги.

Екатерина II лично допрашивала подозреваемых и свидетелей. В 1763 году она писала генерал-прокурору Глебову: «Нынешнею ночь привели враля (так она называла Арсения Мациевича. – Е. А.), которого исповедовать должно, приезжайте ужо ко мне, он здесь во дворце будет». Под постоянным контролем императрицы шло расследование дела Василия Мировича (1764), самозванки – княжны Владимирской, то есть княжны Таракановой позднейшей литературы (1775). Огромна роль императрицы при расследовании дела Пугачева в 1774–1775 годах, причем Екатерина II усиленно навязывала следствию свою версию мятежа и требовала доказательств ее.

Самым известным политическим сыскным делом, начатым по инициативе Екатерины II, оказалось дело о книге А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790). Екатерина указала разыскать и арестовать автора, прочитав только 30 страниц сочинения. Императрица еще работала над своими замечаниями по тексту книги Радищева, ставшими основой для допроса, а сам автор был уже «препоручен Шешковскому». Направляла императрица и весь ход расследования и суда. Через два года Екатерина руководила организацией дела Н. И. Новикова. Она дала указания об арестах, обысках, сама сочинила пространную «Записку» о том, что надо спрашивать у преступника, а потом вносила уточнения в список вопросов. Возможно, ей принадлежат явно неодобрительные «возражения» на ответы Новикова. Наконец, она сама приговорила Новикова к 15-летнему заточению в крепости.

Екатерина II использовала все способы сыскной организации, которые придумали еще до нее. В основе этой организации лежало все то же сочетание персональных поручений доверенным лицам, временным следственным комиссиям с рутинной работой постоянных органов политического сыска. «Сенатская концепция» организации сыска строилась на том, что генерал-прокурор Сената был руководителем сыскного ведомства – Тайной экспедиции как части Первого департамента Сената. И вообще, должность генерал-прокурора после реформы Сената стала ключевой в системе управления. Императрица постаралась назначить на нее не просто опытного чиновника, а своего, доверенного человека. Для этого в 1764 году она заменила старого генерал-прокурора А. И. Глебова на князя А. А. Вяземского. Императрица напутствовала его такими словами: «Совершенно надейтесь на Бога и на меня, а я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам». Почти три десятка лет Вяземский оставался доверенным порученцем императрицы в Сенате, и Екатерина II была им неизменно довольна – он оказался одним из лучших исполнителей ее воли, хотя и вызывал неприятие многих людей.

При Екатерине II важное место в системе политического сыска стал играть главнокомандующий Москвы, которому была подчинена Московская контора Тайной экспедиции. На этом месте сидели доверенные императрицы П. С. Салтыков, князь М. Н. Волконский и князь А. А. Барятинский. Расследованием политических дел занимались и главнокомандующие Петербурга князь А. М. Голицын (дело Таракановой) и граф Я. А. Брюс (дело Радищева), а также другие доверенные чиновники и генералы, действовавшие как в одиночку, так и в комиссиях, – генерал Веймарн (дело Мировича), К. Г. Разумовский и В. И. Суворов (дело Петра Хрущева и братьев Гурьевых). Особым доверием Екатерины II пользовались А. И. Бибииков и П. С. Потемкин. Бибиикову, назначенному в ноябре 1773 года главой казанской секретной следственной комиссии, было поручено расследование причин мятежа Пугачева. В мае 1774 года в Оренбурге образовали вторую секретную комиссию капитана А. М. Лунина. Обе секретные комиссии подчинялась генералу Бибиикову, а когда он неожиданно умер – генерал-майору П. С. Потемкину.

Степан Иванович Шешковский, руководивший Тайной экспедицией 32 года (1762–1794), стал благодаря этому личностью весьма знаменитой в русской истории. Еще при жизни его имя окружало немало легенд, в которых он предстает в роли искусного, жестокого и проницательного следователя-психолога. Он начал работать в Тайной канцелярии в 1740-х годах, проявил себя как исполнительный чиновник. К моменту реорганизации сыска в начале 1762 года

он уже имел огромный опыт сыскной работы, служил секретарем Тайной канцелярии и был вторым лицом в политическом сыске. Как руководитель Тайной экспедиции Шешковский был известен Екатерине II с 1763 года, когда он занимался, по-видимому весьма успешно, делом Мациевича. Несомненно, он пользовался доверием императрицы. Связь с ней он чаще всего поддерживал через А. А. Вяземского или статс-секретарей, но известно также о его личных докладах государыне и участии в тайных заседаниях у императрицы по делам политического сыска, причем его проводили в личный кабинет Екатерины тайно.

Авторитет Шешковского у императрицы был высок. Екатерина II обращалась к нему за советом по разным делам и поручала ему сложные и срочные, не терпящие отлагательств дела. В 1775 году она сообщает Я. А. Брюсу о том, что поручила Шешковскому разобраться в запутанных личных делах Натальи Пассек, и, как пишет императрица, «он подал мне приложенную выписку» и посоветовал сдать дело в архив и более им не заниматься, что императрица и сделала. Для допросов пойманного осенью 1774 года Пугачева она выслала именно Шешковского, которому поручила узнать правду об истоках самозванства Пугачева и его возможных высоких покровителях. В рескрипте М. Н. Волконскому от 27 сентября 1774 года она писала: «Отправляю к вам отсель Тайной экспедиции обер-секретаря Шешковского, дабы вы в состоянии нашлись дело сего злодея привести в ясности и досконально узнать все кроющиеся плутни: от кого родились и кем производились и вымышлены были». В тот же день в письме П. С. Потемкину она охарактеризовала обер-секретаря следующим образом: «Шешковский... которой особливой дар имеет с простыми людьми (разговаривать. – Е. А.), и всегда весьма удачно разбирал и до точности доводил труднейшия разбирательства». Шешковский по много часов подряд допрашивал Пугачева и для этого поселился возле его камеры на Старом монетном дворе. Высокую оценку своих способностей Шешковский оправдывал многие годы. Его считали самым крупным специалистом по выуживанию сведений у «трудных», упрямых арестантов. Он знал, как нужно их убеждать, уговаривать (по терминологии тех времен – «увещевать»), запугивать.

По-видимому, Шешковский умел подать себя государыне, держа ее подальше от многих тайн своего ведомства. В письме 15 марта 1774 года к упомянутому генералу А. И. Бибикову Екатерина ставила деятельность руководимой Шешковским Тайной экспедиции ему в пример, возражая против допросов «с пристрастием»: «При распросах какая нужда сечь? Двенадцать лет Тайная экспедиция под моими глазами ни одного человека при допросах не секла ничем, а всякое дело начисто разобрано было и всегда более выходило, нежели мы желали знать».

И здесь мы возвращаемся к легендам о Шешковском. Из них не ясно, были ли пытки в Тайной канцелярии или не были. Скорее всего, Шешковский был страшен тем, чем страшны были людям XVIII века Ромодановский, Толстой, Ушаков и Шувалов. Все они олицетворяли *государственный страх*. Точно известно, что самого сочинителя «Путешествия...» ни плеть, ни кнут не коснулись, но, по рассказам сына, он упал в обморок, как только узнал, что за ним приехал человек от Шешковского. Когда читаешь письменные признания Радищева, его покаятные послания Шешковскому, наконец написанное в крепости завещание детям, то этому веришь – Радищевым в Петропавловской крепости владел страх, подчас истерическая паника. Когда по разрешению Екатерины II руководитель Тайной экспедиции допросил драматурга Якова Княжнина, человека интеллигентнейшего и слабого, то, как пишет Д. Н. Бантыш-Каменский, Княжнин «впал в жестокую болезнь и скончался 14 января 1791 года».

Легенды приписывают Шешковскому также роль иезуитствующего ханжи, своеобразного палача-морализатора, который допрашивал подсудимых в палате с образами и лампадками, говорил ейно, сладко, но в то же время зловеще: «Провинившихся он, обыкновенно, приглашал к себе: никто не смел не явиться по его требованию. Одним он внушал правила осторожности, другим делал выговоры, более виновных подвергал домашнему наказанию». То, что Шешковский приглашал людей к себе домой для внушений, было по тем временам делом

обычным. Многие сановники, особенно генерал-прокурор и высшие чины полиции, несмотря на официальный запрет регламентов, «вершили дела» дома, в том числе и розыскные.

Когда Шешковский умер в 1794 году, новый начальник Тайной экспедиции А. С. Макаров не без труда привел в порядок расстроенные дела одряхлевшего ветерана политического сыска и особенно развернулся при Павле I, что и немудрено – новый император сразу же задал сыску много работы.

К сожалению, объем книги не позволяет остановиться на теме «Политический сыск и местное управление», но другой темы – «Церковь и политический сыск» – коснуться хотя бы конспективно совершенно необходимо – так важна эта тема для русской истории. Во многом история взаимоотношений церковных и сыскных органов отражала то подчиненное положение, в котором находилась церковь в самодержавной России со времен Московской Руси. Сам процесс такого подчинения – характернейшая черта в развитии многих народов и стран, но в России он приобрел особо уродливые черты, превратил церковь в государственную контору, полностью зависимую от воли самодержца.

Священник рассматривался властью как должностное лицо, которое служит государству и наряду с другими чиновниками обязан принимать изветы и доносить на своих духовных чад. Священники действовали как помощники следователей: увещевали подсудимых, исповедовали колодников, а потом тщательно отчитывались об этом в Тайной канцелярии. Обычно роль следователей в рясе исполняли проверенные и надежные попы из Петропавловского собора. Даже в 1773 году для «увещевания и исповеди» в Казанскую секретную комиссию, расследовавшую восстание Пугачева, был откомандирован протопоп Петропавловского собора Андрей Федоров.

Когда устраивались судилища над важными государственными преступниками, то среди членов суда обязательно были высшие церковные иерархи. Они участвовали в рассмотрении дел и их обсуждении. Правда, в одном отношении Русская православная церковь, несмотря на давление светской власти, сохранила честь – включенные в суды церковники ни разу не подписали смертных приговоров, ссылаясь на запрет церковных соборов выносить приговоры в светских судах. Светская власть не считалась со священным статусом монастырей и относилась к ним как к тюрьмам, ссылая туда в заключение и в работы светских преступников, часто больных и искалеченных пытками. Подобное пренебрежение к иночеству вызывало протест терпеливых ко многим унижениям членов Синода, которые жаловались, что от этого «монашескому чину напрасная тщета происходит».

За покорность церковников светская власть платила сторицей – без ее гигантской силы и могущества официальная церковь никогда бы не справилась со старообрядчеством. А именно старообрядцы признавались церковью как заклятые враги, недостойные пощады. Особо злоеущую роль в преследовании старообрядцев сыграли три церковных иерарха: архиепископ Нижегородский Питирим, Феофан Прокопович и Феодосий Яновский. Они особенно тесно сотрудничали с политическим сыском. Питирим был настоящим фанатиком борьбы с расколом. Он пытался одолеть старцев в религиозной дискуссии, которая сочеталась с шантажом и угрозами, умело вносил смуту в их среду, вылавливал наиболее авторитетных старцев, отправлял их в Петербург на допросы в Тайную канцелярию и Синод.

Да и сам Священный Синод почти с первого дня работы в 1721 году стал фактически филиалом Тайной канцелярии. Феодосий был близким приятелем П. А. Толстого и А. И. Ушакова. В Синоде была оборудована тюрьма с колодничьими палатами, где людей держали столь же сурово, как в Петропавловской крепости: в оковах, в голоде, темноте и холоде. Была тюрьма и в Александро-Невском монастыре. Сюда, в эту подлинную вотчину Феодосия, привозили церковников, заявивших «слово и дело» или обвиненных в «непристойных словах». Здесь Феодосий и его подчиненные допрашивали их, а потом отсылали к Толстому. Одновременно из Тайной канцелярии к Феодосию присылали пытаных в застенке и раскаявшихся раскольни-

ков. Феодосий должен был установить, насколько искренним было раскаяние не выдержавших мучений людей, и затем сообщал об этом Толстому.

После ссылки и заточения самого Феодосия в 1725 году, к чему приложил руку Феофан Прокопович, последний занял место не только главы Синода, но и ближайшего сподвижника А. И. Ушакова в делах веры. До самой своей смерти в 1736 году Феофан тесно работал с сыском. Он давал отзывы на изъятые у врагов церкви сочинения, участвовал в допросах, писал доносы, советовал Ушакову по разным проблемам, лично увещевал «замерзлых раскольников».

Как и Феодосий, Феофан не только боролся рука об руку с Толстым и Ушаковым за чистоту веры, но и использовал могучую силу политического сыска для расправы со своими конкурентами в управлении церковью. Жизнь великого грешника Феофана проходила в писании доносов и ответов на «пункты». Феофан был умнее, изворотливее и удачливее Феодосия и кончил жизнь свою не как Феодосий – в запечатанной подземной камере, а в собственном доме в Петербурге. И хотя после смерти Феофана в церкви не осталось таких, как он, умных, «пронырливых» и жестоких инквизиторов, дело, которое было начато Никоном, подхвачено Питиримом, Феодосием и Феофаном, продолжили чиновники специального Сысного приказа, который к середине XVIII века выполнял роль инквизиторского филиала Тайной канцелярии. Сюда передавали из Тайной канцелярии упорствующих в своих убеждениях старообрядцев «для изыскания истины пытками», во время которых у дыбы стоял священник и увещевал вернуться к церкви. Пытки в приказе были очень жестокие. Старообрядец либо там погибал, либо выходил из него раскаявшимся в своих убеждениях изгоем и калекой.

60-летнему каменщику Якову Куприянову в 1752 году на первой пытке дали 90 ударов кнутом, а на второй – 70 ударов, на третьей пытке несчастный получил 100 ударов! Несмотря на эти мучения, Куприянов от старообрядства не отрекся. Его приговорили сначала к сожжению, но потом били кнутом и сослали в Рогервик – раскольников в Сибирь, боясь их побегов, не ссылали. Упорствующий в расколе дворцовый 70-летний крестьянин Полуехт Никитин был настоящим борцом за то, что теперь называют свободой совести. В 1747 году он выдержал две пытки, на которых получил 73 удара кнутом, но по-прежнему утверждал: «Будь-де воля Божия, а до души моей никому дела нет и никто отвечать не будет». Лишь со времен Петра III и Екатерины II можно говорить об ослаблении репрессий государства и церкви против старообрядцев. Главное направление борьбы изменилось – началась борьба с хлыстами.

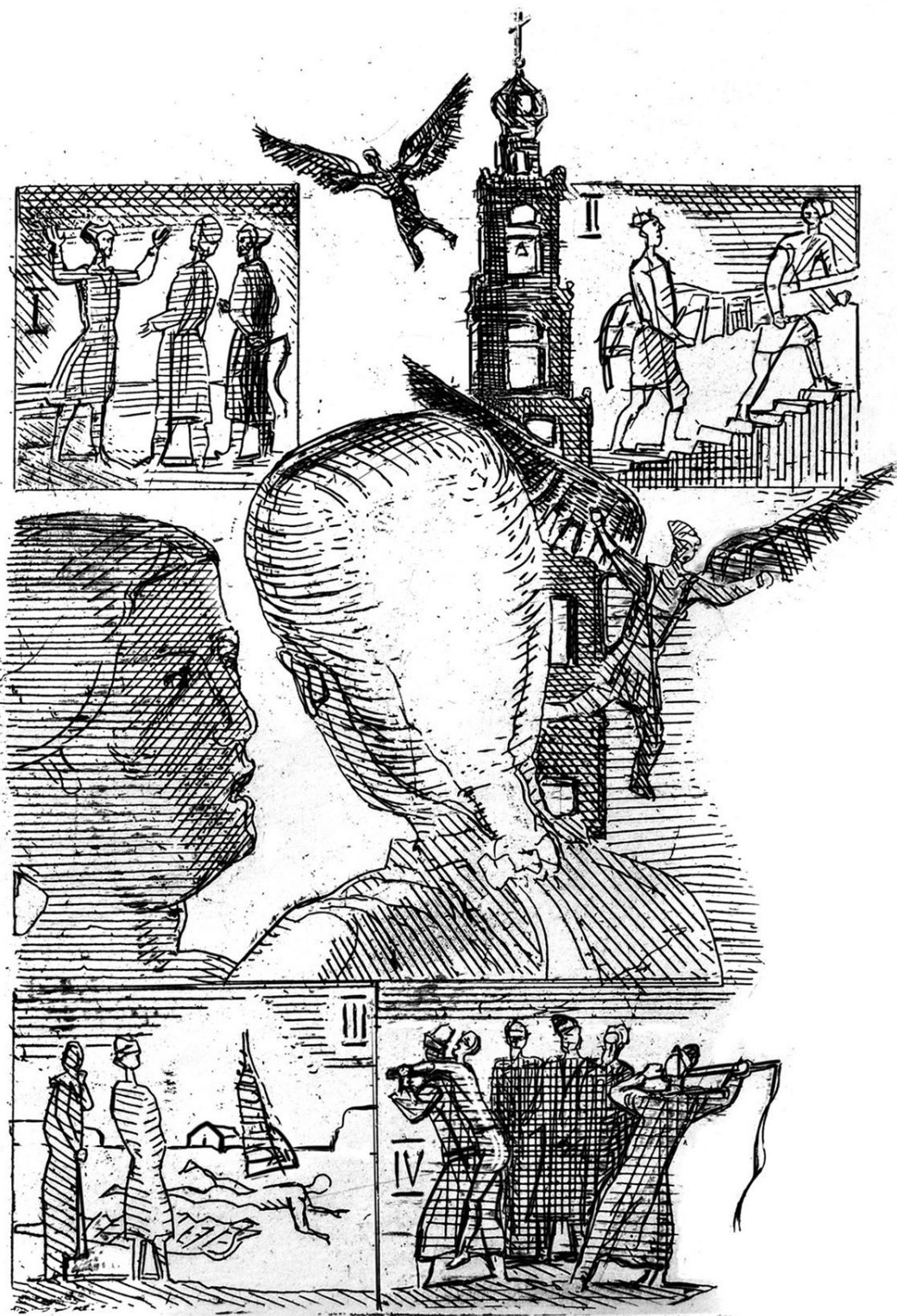
Подведем итоги. Важнейшей особенностью истории русской государственности было то, что развитие правовых основ общественной жизни не затрагивало института самодержавия. В итоге существовало право, записанное и утвержденное в указах, уставах, Уложении, и одновременно царила воля самодержца, пределов которой право не устанавливало. Во всех случаях расследования крупных политических дел заметно, что исходным толчком к их началу была ясно выраженная воля самодержца, который подчас исходил при этом не из реальной вины данного человека, а из собственных соображений, подозрений или капризов. Принцип влостования, выраженный Иваном Грозным в емких словах «а жаловати есмя мы своих холопов вольны, а и казнить вольны же есми были», виден и в не менее афористичном высказывании императрицы Анны Ивановны, знаменитой переписки Грозного и Курбского не читавшей, но мыслившей в 1734 году так же, как и ее дальний предшественник на троне: «А кого хочу я пожаловать, в том я вольна». В этом же ряду стоит и высказывание Екатерины II, «мывшей голову» одному из своих сановников: «Подобное положение, не доложась мне, не подобает делать, понеже о том, что мне угодно или не угодно, никто знать не может». Все вышесказанное нужно иметь в виду, когда читатель будет знакомиться с главами о расследовании политических преступлений и особенно с главой о приговоре, жестокость или мягкость которого полностью зависела от воли государя.

Непосредственным образом с вышесказанным связана и история государственных учреждений и институтов, которым посвящена эта глава. Было бы ошибкой думать, что в России

XVIII века существовало некое единое учреждение, которое, меняя названия, сосредотачивало бы в себе весь тогдашний политический сыск. Дело в том, что на государственные институты этого времени нельзя переносить представления о «правильном» государственном аппарате, выработанные государствоведами XIX века и развитые в современной теории управления. Естественно, что при Петре I заметны тенденции к систематизации, унификации и специализации всей системы управления. Наиболее ярко они проявились в государственной реформе Петра 1717–1724 годов. Вместе с тем эта реформа не изменила сути самодержавия как власти, которая никогда не терпела в отношении себя ни систематизации, ни регламентации, ни унификации. Тем более не могла она допустить и делегирования своих полномочий какому-либо учреждению или группе лиц. Это и понятно: противное с неизбежностью вело бы к гибели самодержавия – неподконтрольного никаким уставам, законам, регламентам режима личной власти.

В основе работы многих государственных институтов самодержавия лежали принципы *поручений* (или, как их называли в XVIII веке, комиссий), которые самодержец временно и регулярно давал кому-нибудь из своих доверенных подданных. Такие дела назывались: «*его, государя, дело*». На принципах порученчества, а не делегирования части полномочий монарха учреждению или человеку и строилось все государственное управление и в XVII, и в XVIII веке. По этому принципу работал и подконтрольный только самодержцу политический сыск. При этом работа порученцев-следователей сочеталась с сыскной работой различных высших правительственных учреждений, а также центральных сыскных учреждений.

В отдельные моменты какое-либо из этих учреждений получало в деле сыска преимущество, но потом – опять же по воле государя – отходило на задний план. Преимущество политического сыска выражалась не в преимущественности учреждений, которые занимались делами по государственным преступлениям, а в преимущественности неограниченной власти самодержца. Именно эта власть порождала политический сыск, давала ему постоянные импульсы к существованию и развитию в самых разнообразных организационных формах, контролировала и направляла его деятельность.



В 1697 году в Кремле «закричал мужик караул и сказал за собой Государево слово». Никакого Слова за ним не было. Это был первый подтвержденный документами русский воздухоплаватель, который на допросе в Стрелецком приказе сказал, что «сделав крыле, станет летать как журавль» и поэтому просил денег на изготовление слюдяных крыльев. Однако испытание летательного аппарата в присутствии И. Б. Троекурова закончилось неудачей и «боярин на него кручинился и тот мужик бил челом», сказал, что слюдяные крылья тяжелы

и нужно сделать кожаные, но потом «и на тех не полетел», за что его пороли, а потом у него в счет потраченных на его замысел денег отписали в казну имущество.

Глава 3. «Донести, где надлежит»

По утверждению Н. Б. Голиковой, из просмотренных ею 772 дел Преображенского приказа за конец XVII – начало XVIII века только пять начались не с доноса. То же можно сказать и о всем XVIII веке. И все же, несмотря на эти данные, волю самодержца как исходный толчок для возбуждения политического дела нужно поставить на первое место – так велико, всеобъемлюще было ее значение. Эта воля верховного и высшего судьи всех своих подданных выражалась не только в виде указа о начале расследования по государственным преступлениям, но и в любой другой, порой весьма произвольной форме.

Начало сыского дела царевича Алексея уникально. Это произошло на глазах десятков людей, присутствовавших 3 февраля 1718 года в Кремлевском дворце при отречении привезенного из-за границы царевича от наследования престола. В тот день Петр I, по словам обер-фискала Алексея Нестерова, обращаясь к «непотребному» сыну, «изволил еще говорить громко же, чтоб показал самую истину, кто его высочества были согласники, чтоб объявил». По словам голландского резидента барона Якоба де Би, «царевич приблизился к царю и говорил ему что-то на ухо». В вопросных пунктах царевичу, написанных царем на следующий день, упоминается, что во время церемонии в Кремле Алексей Петрович «о некоторых причинах сказал словесно» и что теперь следует эти признания закрепить письменно и «для лучшего чтоб очиститься письменно по пунктам». Разумеется, решение о начале этого грандиозного политического процесса XVIII века Петр обдумал заранее.

Дело Толстого, Девьера и других в 1727 году началось также без всяких изветов. Почувствовав сопротивление некоторых вельмож своим планам породниться с династией посредством брака дочери с великим князем и наследником Петром Алексеевичем (будущим Петром II), А. Д. Меншиков составил некий не дошедший до нас «мемориал» о преступлениях одного из своих недоброжелателей – генерал-полицейстера Петербурга А. М. Девьера. «Мемориал» стал основой указа Екатерины I о том, что Девьер «подозрителен в превеликих продерзостях, но и кроме того, во время нашей, по воле Божией, престестоккой болезни многим грозил и напоминал с жестокостию, чтоб все его боялись». Девьера арестовали и допросили с пристрастием. Он дал нужные следствию показания на других людей. Так началось дело о «заговоре» Толстого и других.

В принципе, не только верховная, но и любая другая власть имела возможность и право начать розыск по своей воле, исходя из практической целесообразности. Воеводы и другие администраторы по своей должности от имени царя без всякой челобитной, жалобы, доноса были обязаны бороться с разбойниками, грабителями и вообще ворами посредством сыска. Все такие дела можно назвать *безызветными*. Так, примером безызветного начала политического дела служат расследования массовых бунтов, восстаний, крупных заговоров. Однако с усилением роли политического сыска в системе власти, с кодификацией корпуса политических преступлений самодержавие гипертрофировало значение сыска (то есть внесудебного расследования) как функции любой законной власти по защите государственной и общественной безопасности. Возбуждение и ведение политических дел самой властью и только через сыск стали нормой. Превращение сыска – этого чрезвычайного метода ведения процесса – в норму связано непосредственно с оформлением самодержавного строя, с развитием характерных для него деспотических черт. При этом воля государя и донос как главные источники возбуждения политического процесса были связаны друг с другом. Ни один крупный процесс, даже если были горы доносов, не мог начаться без государева указа о начале сыска.

В истории сыска известно только несколько случаев *самоизвета*. Скорее всего, доноски на самих себя были людьми психически больными или религиозными фанатиками, желавшими «пострадать» за свои идеалы. В 1704 году нижегородец Андрей Иванов кричал

«государево дело» и просил, чтобы его арестовали. На допросе он сказал: «Государево дело за мною такое: пришел я извещать государю, что он разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть». Иванов ссылаясь на запрещающий все эти безобразия Стоглав. Под пыткой он утверждал, что у него нет никаких сообщников и «пришел он о том извещать собою, потому что и у них в Нижнем посадские люди многие бороды бреют и немецкое платье носят и табак тянут и потому для обличения он, Андрей, и пришел, чтоб государь велел то все переменить». Иванов погиб в застенке под пытками.

После дела Варлама Левина, который с готовностью шел на муки, был издан указ Синода от 16 июля 1722 года, который можно назвать законом о порядке правильного страдания за веру. В указе утверждалось, что не всякое страдание законно, полезно и богоугодно, а только то, которое следует «за известную истину, за догматы вечных правды». В России же, истинно православном государстве, гонений за правду и веру нет, поэтому не разрешенное властью страдание подданным запрещается. Кроме того, власть осуждала страдальцев, которые использовали дыбу как своеобразную трибуну для обличения режима. Оказывается, страдать надлежало покорно, «не укоряя нимало мучителя... без лаяния властей и бесчестия». Однако этот указ не остановил старообрядцев.

Первые *правовые нормы об извете* (доносе) возникли во времена образования Московского государства. В статье 18 2-й главы Соборного уложения, обобщившей практику предшествующей поры, об извете сказано: «А кто Московского государства всяких чинов люди сведает, или услышат на ц. в. в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысел и им про то извещати государю... или его государевым бояром и ближним человеком, или в городех воеводам и приказным людям». Эта статья толкует извет как обязанность подданного, о чем говорит и статья 19 о наказании за недонесение, а также статьи 12 и 13 о ложном доносе. Наконец, в 15-й главе сказано о награде за правый извет из имущества государственного преступника в размере, «что государь укажет».

В царствование Петра I прежние нормы об извете не только сохранились в законодательстве, но и получили свое дальнейшее развитие. Указы царя и Сената многократно подтверждали обязанность подданных доносить. Изданный 23 октября 1713 года указ стал одним из многих «поощрительных» постановлений на эту тему. В нем говорилось: «Ежели кто таких преступников и повредителей интересов государственных и грабителей ведает, и те б люди без всякого опасения приезжали и объявляли о том самому е. ц. в., только чтоб доносили истину; и кто на такого злодея подлинно донесет, и тому, за такую его службу, богатство того преступника, движимое и недвижимое, отдано будет; а буде достоин будет, дается ему и чин его, а сие позволение дается всякого чина людям от первых и до земледельцев, время же к доношению от октября месяца по март».

Извет упомянут и на первых страницах Артикула воинского: «И ежели что вражеское и предосудительное против персоны е. ц. в. или его войск, такожде его государства, людей или интересу государственного что услышу или увижу, то обещаюсь об оном, по лучшей моей совести и сколько мне известно будет, извещать и ничего не утаивать». Стоит ли говорить о святости присяги для военного человека, дающего ее перед строем, и о страхе нарушения этой присяги. Не будем забывать, что закон наказывал воина еще и за неизвет.

Отдельными указами поощрялись доносы на фальшивомонетчиков, дезертиров, а также о самых разных преступлениях чиновников, подрядчиков, таможенников, судей, питейных голов и т. д. Во многих случаях изветчика ждала награда: для свободных «пожитки и деревни» или четверть имущества виновного, а для крепостных – свобода.

В практике доносительства при Петре I произошли важные изменения, после того как в 1711 году возник институт *фискалов* – штатных доносчиков во главе с обер-фискалом. Они находились во всех центральных и местных учреждениях. Инструкция предписывала им «над всеми делами тайно надсматривать и проводывать про неправый суд, також в сборе казны и

протчего», а затем доказывать вину преступника в надежде получить награду – половину его имущества.

В сознании русских людей понятие «фискал» стало символом подсматривания и гнусного доносительства. Как сообщали Петру I фискалы Михаил Желябужский, Алексей Нестеров и Степан Шепелев, «в разные числа, ненавидя того нашего дела, [сенатор] Племянников называл нас, ставя ни во что, улишными судьями (то есть грабителями. – Е. А.), а князь Яков Федорович (Долгорукий. – Е. А.) антихристами и плутами». Высшие чиновники всячески сопротивлялись разоблачениям фискалов, угрожали им, уничтожали собранный фискалами материал. Так, в 1717 году сенатор И. А. Мусин-Пушкин приказал сжечь целый ящик материалов о казнокрадстве М. П. Гагарина. Ненавидели фискалов и за то, что, собрав материалы для обвинения, они иногда шантажировали ими чиновников.

Но Петр I все же оставался иного, лучшего мнения о фискалах. Для царя это были своеобразные сыскные золотари – он признавал, что «земского фискала чин тяжел и ненавидим». Хотя царь не сомневался, что отдельные фискалы грешны (в 1724 году он казнил за злоупотребления генерал-фискала А. Нестерова), тем не менее польза, которую они приносили стране, казалась царю несомненной – ведь, по его мнению, в России почти не было честных чиновников и только угроза доноса и разоблачения могла припугнуть многочисленных казнокрадов и взяточников, заставить их соблюдать законы. Неутомимая фискальская деятельность того же Нестерова в 1714–1718 годах позволила вскрыть колоссальные хищения государственных средств сибирским губернатором М. П. Гагариным и другими высокопоставленными казнокрадами. Царь обобщил накопленный опыт работы фискалов и в указе 17 марта 1714 года уточнил их обязанности. Фискалы ведали все «безгласные дела», то есть не имеющие челобитчиков, просителей по ним. К таким делам относились прежде всего «всякия преступления указом», все, «что к вреду государственному интересу быть может, какова б оное имяни ни было». Фактически каждый нарушитель указов становился жертвой доноса фискала.

Зная, как дерзко и самовольно ведут себя облеченные огромной властью фискалы, Петр пытался ввести ограничения в их деятельность – он предписал, что фискалы должны «во всех тех делах... только проведывать и доносить и при суде обличать» и никогда «всякого чина людем бесчестных и укорительных слов отнюдь не чинить». И тем не менее норма о безответственности фискала в случае ложного доноса сохранилась: «Буде же фискал на кого и не докажет всего, то ему в вину не ставить, ибо невозможно о всем оному окуратно ведать». Больше, что им грозило в этом случае, – «штраф лехкой», чтобы впредь «лучше осмотряся, доносили». Наградой же за верный извет служила половина конфискованного имущества, которую делили между собой фискал-изветчик, его коллеги по городу или губернии, а также обер-фискалы «с товарищи». Это была новинка закона – теперь «изветное дело» стало приносить материальную выгоду всему сообществу фискалов.

По форме *изветы* были письменные и устные. В XVIII веке письменные изветы оформляются в форме «доношений», «записок». К этому типу относится донос управляющего уральскими заводами В. Н. Татищева на полковника С. Д. Давыдова, который в 1738 году прибыл в командировку в Самару и за столом у Татищева произнес «непристойные слова». Донос Татищева состоял из двух частей: собственно доношения – извета на имя императрицы Анны – и приложения – доношения. В своем доносе Татищев писал: Давыдов, «будучи у меня в доме, говорил разные непристойные слова о персоне ваше. и. в. и других, до вышнего управления касающихся в разных обстоятельствах, которые точно, сколько [из-за] великой моей горести и болезни упомянуть мог, написал при сем...» И в приложенной «Обстоятельных слов тех записке» Татищев изложил все, что сказал ему Давыдов.

Это был самый сложный по форме донос, который встретился мне среди материалов XVIII века. Обычно же письменный извет – это «доношение», по-современному говоря, заявление. Подполковник Иван Стражин в 1724 году собственноручно написал следующий извет:

«В Архангелогородскую губернскую канцелярию. Доношение. Сего генваря 9-го дня я, нижеименованный, был у секретаря Филиппа Власова в гостях и по обедне, между церковным пением, пел во прославление славы е. и. в. титул, упоминая с присланными... формами, и, как начал тот речь титул „Царю Сибирскому“, и тогда Сибирский царевич Василий Алексеевич говорил, что-де, Сибирский царь он, Василей, и за то его, Василья, я, нижеименованный, бранил и говорил ему: „Какой ты Сибирский царь, но татарин?!“, и оной Сибирский к тем речам говорил, что-де, дед и отец ево были Сибирские цари и о том я, нижеименованный, по должности своей объявляю чрез сие. При том были...». Далее приводится список свидетелей, на которых доносчик «слался» как на людей, готовых подтвердить его извет.

Устные (явочные) изветы были распространены больше, чем письменные, хотя такое определение их формы в известном смысле условно – ведь и содержание устного доноса обязательно вносили в журнал учреждения в виде протокола – записи «словесного челобитья». С устными изветами более связано знаменитое выражение «слово и дело» или «слово и дело государево», которым маркировалось публичное заявление изветчика о знании им государственного преступления, будь то чей-то поступок, сказанное человеком слово, фраза или умысел к совершению преступления. Равную силу с выражением «слово и дело» имели другие выражения: «слово государево», «дело государево». При изложении дела в документах сыска употребляли и такие выражения: «Кричал за собою „важное слово и дело“», «И сказал за собою „е. и. в. дело“».

Что такое «государево дело»? В Уложении этот термин обозначает важное государственное преступление. В чем же отличие «государева слова» от «государева дела»? Уже первые упоминания этих выражений в документах показывают, что современники не обращали внимания на различия в их употреблении. В Уложении 1649 года «слово» и «дело» также используются на равных: «Учнут за собою сказывать „государево дело или слово“» (гл. 2, ст. 14).

В 1705 году появился указ о посадских, которые привлекались за кричанье «слова». Таких людей надлежало вести в Ратушу, где их допрашивали, «нет ли чего за ними причинного о его государеве здравии». Если ответ был положительный, то крикун немедленно, по силе закона 1702 года, переправлялся в Преображенский приказ, к Ромодановскому. Если же кто, «не ведая разности „слова“ с „делом“, скажет „дело“, а явится „слово“, то тем и другим, которые станут сказывать за собою его „государевы дела“, указ чинить в Ратуше им, инспекторам с товарищи». Из контекста указа, как справедливо заметил Н. Н. Покровский, следовало, что власть пытается отделить политические дела от дел по прочим преступлениям, подведомственных не Преображенскому приказу, а Ратуше. При этом «слово» относилось к политическому преступлению, а «дело» – к должностному или иному не политическому преступлению. В указе же 1713 года словосочетания «государево слово и дело» и «государево слово или дело» используются без различий. Такая нечеткость, неопределенность понятий обычна для законодательства тех времен.

Думаю, в конечном счете речь идет о двойном смысле понятия «государево слово и дело». Во-первых, им обозначали важное исключительно для государя дело, и, во-вторых, «государево слово и дело» есть публичное заявление изветчика не собственно о государственном преступлении (информация о нем являлась тайной), а о своей осведомленности о преступлении и желании сообщить об этом государю. Аббат Шапп д'Отрош наилучшим образом объяснял по-французски второй смысл знаменитого выражения «слово и дело» – «Я обвиняю вас в оскорблении величества словом и делом!»

В 1713 году была предпринята серьезная попытка уточнить содержание доносов, объявленных через публичное кричание «слова и дела». В указе сказано: «Ежели кто напишет или словесно скажет за собой „государево слово или дело“ и те бы люди писали и сказывали в таких делах, которые касаются о их государском здоровье и высокомонаршеской чести, или ведают какой бунт, или измену. А о протчих делах, которые к вышеписанным не касаются, доносить

кому надлежит, а в тех своих доношениях писать им, ежели на кого какие дела ведают, сущую правду. А письменно и словом в таких делах „слова или дела“ за собою не сказывать. А буде с сего его, Великого государя, указу станут писать или сказывать за собою „государево слово или дело“, кроме помянутых причин, и им за то тем быть в великом наказании и разорении и сосланы будут на каторгу».

Как же проходило *извещение* властей о государственном преступлении? Известно несколько форм явочного, то есть личного, извета. Первый из них можно условно назвать «бюрократическим»: изветчик обращался в государственное учреждение или к своему непосредственному начальству, заявлял («сказывал», «извещал», «объявлял»), что имеет за собою или за кем-то «слово и дело». В 1707 году иеромонах Севского Спасского монастыря Никанор принес письменный донос генерального судьи Василия Кочубея на гетмана Ивана Мазепу. На допросе он объяснил, что приехал в Москву и «по знакомству пошел Преображенского приказа к подъячему, к Алексею Томилову, и сказал, что есть за ним, Никанором, „государево дело“ и он-де, Алексей, велел ему явитца [к] князю Федору Юрьевичу (Ромодановскому. – Е. А.) и по тем-де, Алексеевым словам, он, Никанор, и явился князю Федору Юрьевичу».

Обычно в протоколах о таких делах местные чиновники записывали, что «по спросу оной сказал, что имеет он за собою „государево слово и дело“, касающееся к первому пункту, по которому подлинно знает и доказать может и касается до...», – и далее называлось имя человека, на которого доносили. На этом функции местных властей в расследовании дела обычно завершались.

Иногда донос сообщал не сам изветчик, а его начальник или иной посредник (так называемое «знание слова и дела за другим»). В 1735 году солдат Иван Седов, увидев, как императрица Анна Ивановна пожаловала посадскому человеку два рубля на новую шляпу, в присутствии сослуживцев произнес «непристойные слова»: «Я бы ее с полаты (то есть с крыши. – Е. А.) кирпичем ушиб, лучше бы те деньги салдатам пожаловала!» После этого товарищи Седова сказали капралу Пасынкову, «чтоб он о том донес камандирам, и оный капрал сказал: „Я сего ж часу донесу“, – и ис казармы пошел». Пасынков направился в ротную канцелярию, где и доложил о происшествии. Там устный извет записали, и с него началось дело о политическом преступлении.

Известить власти о своем «слове и деле» можно было и обратившись к любому часовому, который вызывал дежурного офицера, и тот производил арест изветчика. К такому приему доносчики прибегали часто: «Пришед под знамя к часовым гренадером... сказал за собою „слово и дело государево“ и показал в том...». Особенно популярен среди доносчиков был «пост № 1» у царской резиденции, причем эта активность изветчиков вызвала раздражение государя, что отразилось в его указах. Но так доносчики поступали и позже. 27 мая 1735 года Павел Михалкин на допросе в Тайной канцелярии показал, что «сего мая 27 дня, пришед он к Летнему ее и. в. дворцу, объявил стоящему на часах лейб-гвардии салдату, что есть за ним, Павлом, „слово“ и чтоб его объявить, где надлежит».

Другой способ объявления «слова и дела» был наиболее эффектен, хотя, в принципе, власти его не одобряли. Изветчик приходил в какое-нибудь людное место – на улицу, в суд или храм – и начинал кричать «Караул!», а затем объявлял, что «за ним есть „слово и дело“». Упомянутое в документах выражение «кричал» следует понимать как прилюдное, публичное, возможно громкое произнесение роковых слов. 21 декабря 1704 года караульный солдат, стоявший у Москворецких ворот в Москве, привел в Преображенский приказ нижегородца Андрея Иванова и сказал, что Иванов подошел к его посту, «закричал „Караул!“ и велел отвести себя к записке, объявляя, что за ним государево дело».

Одной из причин публичного кричания было стремление доносчика вынудить облеченных властью людей заняться его изветом, к чему эти люди порой не очень стремились. Дело изуверки Салтычихи в 1762 году началось с того, что измученные издевательствами госпожи

шестеро ее дворовых отправились в Московскую сенатскую контору доносить на помещицу. Узнав об этом, Салтычиха выслала в погоню десяток своих людей, которые почти настигли челобитчиков, но те «скорее добежали до будки (полицейской. – Е. А.) и у будки кричали „Караул!“». Скрутить их и отвести домой слуги Салтычихи уже не могли – дело получило огласку, полиция арестовала челобитчиков и отвезла на съезжий двор. Через несколько дней Салтычихе удалось подкупить полицейских чиновников, и арестованных доносчиков ночью повели якобы в Сенатскую контору. Когда крестьяне увидели, что их ведут к Сретенке, то есть к дому помещицы, то они стали кричать за собою «дело государево». Конвойные попробовали их успокоить, но потом, по-видимому, сами испугались ответственности и отвели колодников вновь в полицию, после чего делу о страшных убийствах был дан ход.

Итак, публичное кричанье «слова и дела» было допустимо только тогда, когда подать или записать в органах власти свой извет было невозможно. В остальных же случаях нужно было объявлять «просто», без шума. Громогласное же объявление доносчиками о государственном преступлении сыск не одобрял и даже за это наказывал, хотя и в меру. В 1733 году некто Чюнбуров кричал «слово и дело» и потом сообщил, что его сослуживец не был у присяги. В приговоре о Чюнбурове сказано: «Доносить надлежало было ему просто, не сказывая за собою „е. и. в. слова“, но токмо за оное ево сказыванье... от наказанья учинить ево, Чюнбурова, свободна... дабы впредь о настоящих делах доносители имели б к доношению ревность».

Часто при всем народе кричали «слово и дело» пьянчужки. Два монаха, Макарий и Адриан, были посажены за пьянство на цепь и тут же объявили друг на друга «слово и дело». Утром, протрезвев, они не могли вспомнить, о чем, собственно, они собирались донести. Кричали «слово и дело» и те, кто думал таким образом избежать наказания за какое-нибудь мелкое преступление. Иногда же в роковом крике видна неуравновешенная натура, проявлялись признаки душевной болезни, невменяемости. Таких дел велось много, и обычно в конце их ложного доносчика секли «ради науки», после чего он, присмиривший и трезвый, выходил на волю. Но некоторые «вздорные» кричанья или бред больного человека привлекали внимание следователей, пытавшихся извлечь из них «важность», некое «сыскное зерно». Так, в декабре 1742 года Василий Салтыков, охранявший Брауншвейгское семейство в Динамюнде, рапортовал императрице Елизавете о том, что караульный офицер Костюрин ему донес следующее: к «имеющейся при принцессе (Анне Леопольдовне. – Е. А.) девке Наталье Абакумовой для ея болезни приходил при нем штаб-лекарь Манзе пускать кровь и оная девка крови пускать не дала и кричала, что-де „взять хотят меня под караул, бить и резать!“ и сказала за собою „слово“ и того ж часа оную девку, взяв, обще гвардии с майорами Гурьевым, Корфом и Ртищевым спрашивали и в том она утверждается, что имеет за собою „слово“ в порицание высокой чести ваше и. в., слышала (это. – Е. А.) она от фрейлин Жулии и Бины». Однако оказалось, что она «в беспамятстве и в великой горячке». Поэтому решили отложить допрос до выздоровления больной. Императрица предписала выслать Абакумову в Петербург. Салтыков писал, что как только она «пришла в себя и приказано от меня... везть ее бережно». Это дело вполне типично для политического сыска.

Срочность как обязательное условие извета установлена указом 2 февраля 1730 года: «Ежели кто о тех вышеписанных... великих делах подлинно уведает и доказать может, тем доносить, как скоро уведает, без всякого опасения и боязни, а именно – того ж дни. А ежели в тот день, за каким препятствием донести не успеет, то, конечно, в другой день». Чуть ниже, правда, уточнялось: «... по нужде на третий день, а больше отнюдь не мешкать». Этот указ наводил некоторый порядок в практике извета. Он был направлен в основном как раз против частых злоупотреблений законом об извете со стороны доносчиков – матерых преступников, которые пытались с помощью «бездельного», надуманного извета затянуть расследование своих преступлений или увильнуть от неминуемой казни. Указ впервые предусматривал, что людям, которые «ведали, а не доносили неделю или больше, и тем их доносам не верить».

Типичным для многих дел о ложном доносе стал приговор: «И тому ево показанию верить не велено, ибо показывал спустя многое время».

Известно, что и до 1730 года, в петровское время, власти относились с подозрением к «запоздалым изветчикам». Однако «застарелые доносы» с неудовольствием, но все же принимались сыском. Игнорировать то, что относилось к интересам государя, было нельзя. Но при этом чиновники обязательно записывали, сколько прошло времени с момента преступления: «чрез семь дней о том не доносил»; «не извещал семнадцать дней»; «Сказал за собою „государево слово по второму пункту“, которое знает пятой год»; «Сказывал семь лет назад». Изветчика при этом обязательно спрашивали о причинах его нерасторопности. Обычно в оправдание изветчик ссылался на свои отлучку, занятость, недогадливость, «несовершенство даров разума», необразованность или незнание законов. Один свидетель утверждал, что не донес, так как «косноязычен от рожденья», другой оправдывался тем, что «был болен зубною болью», третий же утверждал, что «не донес с простоты своей за малолетством».

«Запоздалый изветчик» не мог рассчитывать на поощрение, или сумма его награды за донос уменьшалась – все зависело от срока просрочки. По делу Михалкина А. И. Ушаков 7 ноября 1735 года написал резолюцию: «Вышепомянутому изветчику Павлу Михалкину за правой ево на означенного Михайла Иванова извет надлежало учинить немалое награждение, но токмо... Михалкин... слыша вышеписанного Михайла Иванова показанные непристойныя слова, более двух месяцев не доносил... однако ж за показанной правой ево извет... выдать ему из Тайной канцелярии в награждение денег пять рублей... дабы, на то смотря впредь, как он, Михалкин, так и другие, о таких важных делах уедава, к скорому доношению паче ревность имели...».

Содержание извета секретно, знать его простой смертный не мог, да и не каждый из чиновников имел право требовать, чтобы изветчик ему раскрыл «непристойные слова», объявил «саму важность» доноса. Малолетний дворянский сын Александр Денисьев донес на дворовых людей своего отца Ермолая в говорении «непристойных слов». Отец привел мальчика в Тайную канцелярию и заявил, что сын его знает за собою «слово и дело» на дворовых, но что именно говорили они, «того имянно тот ево сын не сказал, да и он, Денисьев, о том ево не спрашивал». В последнее верится с трудом, но поведение Денисьевых полностью отвечало букве закона.

Многие изветчики хранили содержание извета в тайне даже от местных властей и требовали доставить их в столицу, а иногда обещали рассказать о преступлении только царю. Власти понимали, что за этим, как правило, не стояло ничего, кроме желания избежать пытки, потянуть время да еще попытаться по дороге в Москву сбежать. Так, Терентий Феодорицкий в 1728 году, «идучи в застенки к розыску, кричал за собою „государево слово и дело“ и чтоб ево представить пред е. и. в., а потом сказал, что о том он кричал для того: мыслил тем криком отбыть розыску, а никто ево кричать не научал». Как уже сказано, таких изветчиков либо заставляли передать запечатанный конверт с изветом в Москву, либо допрашивали, не уточняя суть («важность») извета.

Почти во всех указах об извете подтверждалось, что изветчика ждет награда. Так было принято с давних пор. В первой половине XVIII века объявленная награда за доведенный донос составляла 3, 5, 10 и более рублей, а для служащих означала и повышение в чине или по должности. Резолюцию о поощрении солдата Ивана Дулова, доведшего извет на своего товарища Щербакова, можно считать типичной: «Написать из салдат в капралы и выдать е. и. в. жалованья денег десять рублей из Канцелярии тайных дел». В случаях же исключительных, связанных с раскрытием важного государственного преступления, сумма награды резко увеличивалась и доносчик мог получить свободу (если он был крепостной или арестант), конфискованное поместье преступника, различные щедрые торговые льготы и привилегии. В ординарных слу-

чаях чиновники исходили из сложившейся наградной практики, в неординарных же награду называл государь.

По-видимому, как только появился извет, так сразу же возник и «ложный извет» («недельный», «бездельный»). Можно выделить несколько типов ложного извета. К первому относится извет преступников, которые доносили, «отбывая розыску в воровствах», «нестерпя в воровствах своих розысков» или «избывая каторжных работ». Такие изветы, по словам управляющего заводами Виллима Геннина, преступники подают, «употребляя себе место лекарства... от смерти и ссылки».

Однако люди шли на ложный извет и для того, чтобы привлечь к себе внимание, добиться хотя бы какого-нибудь решения своего дела или настоять на его пересмотре. Особенно част был так называемый «дурной извет» во время ссор, драк, побоев. Следователи довольно быстро определяли, что за сказанным под пьяную руку изветом ничего не стоит. Протрезвевший гуляка или драчун с ужасом узнавал от окружающих, что он арестован как изветчик важного государственного преступления.

Хотя все понимали, что подобные изветы обычно «бездельны», «неосновательны», игнорировать их было невозможно. Выведенного к эшафоту и кричавшего там «слово и дело» преступника уводили с площади, после чего начиналось расследование по этому извету. Это был единственный способ узнать, является ли донос преступника правдивым. В 1728 году дьячок Иван Гурьев, сидевший в тюрьме в ожидании отправки в Сибирь за старые преступления, донес о «важном деле» на своего сокамерника – бывшего диакона и как доказательство предъявил письмо, якобы выпавшее из одежды диакона. Письмо это было оценено как «возмутительное воровское». Но следователи легко установили, что дьячок попросил диакона написать на листе бумаги несколько вполне нейтральных строк, к которому затем подклеил им самим же написанные «возмутительные» слова. Сделал это он, как показал на допросе, «после розысков за воровство... и послан был в острог, и стал мыслить, как бы ему написать какое ни есть писмо, чем бы ему от ссылки свободитца, а судьи-де их, колодников, держат за караулом многое время, а кроме того иного никакова непотребства за вышними господами и ни за кем не знает». Приговор дьячку был суров: за написание «воровского злоумышленного возмутительного письма» и за то, что он «желал тем воровским умыслом привести постороннего невинно к смертной казни... казнить смертью – четвертовать».

Донос, подчас надуманный и лживый, благодаря особенностям розыска или физической крепости изветчика иногда вполне удавался. В 1730 году приговоренный Савва Фролов донес на своего товарища по несчастью – колодника Пузанова, который якобы говорил, что императора Петра II нужно бить кнутом. Доносчик сумел «довести» свой явно надуманный донос, и в итоге последовал новый приговор о Фролове, который «за оный правой донос, вместо смертной казни, бит кнутом и с вырезанием ноздрей сослан в Сибирь, на Аргунь, в вечную работу».

Проблема «бездельного извета» как во время следствия, так и во время казни – тема многих постановлений, начиная с Уложения 1649 года. 22 января 1724 года Петр I распорядился такому изветчику даже правый донос «в службу не ставить» и судить его, «чего [он] достоин». Но в тот же день царь дополнил этот указ другим, более гибким: при расследовании дела преступника-доносчика извет его следовало отложить, «пока тот розыск окончат, а потом следовать его доношению», и таких доносчикам «наказания... отнюдь не чинить прежде решения тех дел». К ложным изветчикам приравнивались доносчики по общеуголовным делам, объявлявшие о них с помощью «слова и дела».

Указом 1730 года верховная власть попыталась уменьшить число ложных доносов, сократив срок объявления «слова и дела» до 3 дней (более поздний донос признавался уже недействительным, ложным) и предоставив местным властям больше прав в расследовании изветов колодников и каторжников, которых больше всего подозревали в «ложном слове». Указ категорически запрещал верить доносам преступников, которые «приговорены будут к смерти и

посажены в покаянную или при самой экзекуции станут сказывать „слово и дело“». Эти нормы подтверждались указами 1733, 1751, 1752, 1762 и других годов. Однако несмотря на многократные предупреждения, ложное доносительство было очень развито. Да и немудрено: борясь с ложными доносами, государство активно поощряло доносы вообще. Поощрительные указы более многочисленны, чем указы против ложных доносов.

Расследование ложного доноса требовало от следователей опыта и особого знания людей, чтобы обнаружить возможные побудительные мотивы, двигавшие ложным доносчиком. Только выяснив причины доноса и восстановив причинно-следственную связь, следователи могли с уверенностью сказать об истинности или ложности доноса. В 1727 году симбирский посадский Алексей Беляев, обвиненный собственной женой и ее братом Чурашовым в богохульстве, был спасен от сожжения заживо только потому, что Синод потребовал от Юстиц-коллегии проверить два указанных Беляевым в свою защиту обстоятельства. Во-первых, накануне появления доноса он подал в консисторию челобитную на свою жену, уличенную им в измене. Беляев утверждал, что его неверная супруга, спасаясь от несомненного наказания и публичного позора, ложно оговорила его. Во-вторых, Беляев был убежден, что брат жены вошел с ней в сговор из корысти – он не хотел отдавать ему, Беляеву, давний долг. Только после того, как Юстиц-коллегия навела необходимые справки и факты, указанные Беляевым, подтвердились, ответчик после четырех лет заключения был выпущен на волю, жену наказали за измену, а на Чурашова завели дело как «о лживом доносителе и важных [дел] коварственном затейщике». Этот процесс только по счастливому стечению обстоятельств закончился благополучно для Беляева – ведь на допросах в губернской канцелярии под пытками он признался в чудовищном богохульстве, подтвердив тем самым возведенный на него ложный извет.

Случай Беляева привлек внимание властей жестокостью вынесенного ему приговора, что потребовало убедительных доказательств вины в богохульстве. Но так было не везде и не всегда. Обычно следователи Тайной канцелярии не вникали в тонкости ложных доносов. Происходило это по разным причинам: из-за множества дел; доверия к показаниям, данным по пыткой; отсутствия (как было в случае с Беляевым) указа об особо тщательном расследовании; не было влиятельных или богатых ходатаев и возможности дать следователям взятку. Наконец, если ответчик, к своему несчастью, вызывал подозрения (например, был ранее судим и наказан, не ходил на исповедь и т. д.), то его дело никто детально не изучал. В итоге дело рассматривали быстро, небрежно и затем следовал приговор, подчас несправедливый.

После указа 1762 года понятие «слово и дело» исчезло из оборота, но не исчез сам донос, извет. Вместо кричания «слова и дела» появилась новая форма официального извета – *доношение*. Этот документ ничем не отличался от письменного доноса. Все, в сущности, осталось по-прежнему: заявление доносчика, знаменитые «первые пункты» обвинения, арест, допросы и т. д. Екатерина II и ее чиновники получали доносы, ими пользовались и даже их инспирировали, что было, например, в деле камер-юнкера Хитрово в 1763 году. Сохранилась и старая законодательная норма о срочности извета. В 1764 году Григорий Теплов по поручению императрицы упрекал казначея Иллариона в том, что тот вовремя не донес на архимандрита Геннадия – сторонника Мациевича. Стиль и содержание увещевания говорят о сохранении института доносительства фактически в неизменном виде и после формальной отмены «слова и дела». Теплов требовал, чтобы Илларион объяснил, почему он не подал извет вовремя: «Вы, в столь важном деле через семь недель и 6 дней промолчали, о котором вам бы надлежало того же часа донести». При этом он добивается объяснений: «Чтоб вы чистосердечно открыли, какие то именно причины были, которые вас от столь должного доноса, яко времени не терпящего, так долговременно удержали».

Выше уже было много сказано о том, как возник и действовал механизм доносительства, какое место занимал извет в системе права. Рассмотрим теперь не юридический, а социально-психологический аспект доносительства. Оно являлось частью обыденной жизни людей

и выходило далеко за границы тогдашнего права. Первый вопрос – кто доносил? Отвечая на него, полностью разделяю вывод, сделанный в 1861 году П. К. Щербальским: *«Страсть или привычка к доносам есть одна из самых выдающихся сторон характера наших предков»*.

Тот массовый материал, с которым мы знакомимся по фондам учреждений политического сыска XVIII века, позволяет прийти к выводу, что изветчиками были люди самых разных социальных групп и классов, возрастов, национальностей, вероисповедования, с разным уровнем образованности, от высокопоставленного сановника до последнего нищего. Доносчики были всюду: в каждой роте, экипаже, конторе, доме, застолье. Доносчик старался быть памятливым и внимательным, проявляя нередко склонности завзятого сыщика. Так, один из колодников, собиравших милостыню в 1734 году у архиерейского двора в Суздале, заглянул даже на помойку, чтобы донести: «Из архиерейских келей бросают кости говяжьи, никак он, архиерей мясо ест» (монаху нельзя было есть мясо. – Е. А.).

Образ изветчика в русской истории – это образ народа, точнее огромной массы «государевых холопов». Именно в этом состояла причина массового доносительства в России. Екатерина II, известная патриотка, автор многочисленных высказываний о несравненных достоинствах русского народа, видела прямую связь между системой деспотической власти и доносительством: «Между государями русскими было много тиранов. Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь как бы воспользоваться и обратить себе на пользу все им подходящее».

Рассмотрим же основные группы доносчиков. Выше сказано об одной из самых значительных групп доносчиков – о преступниках, которые с помощью извета пытались облегчить свое положение, спасти жизнь, попросту потянуть время. Крепостные, доносящие на своих господ, – вторая после преступников значительная группа доносчиков. Можно утверждать, что большинство дел дворян, обвиненных в государственных преступлениях (особенно в сказывании «непристойных слов»), имеют своими источниками именно донос крепостного.

«Доведенный» извет, согласно букве закона, позволял получить «вольную», выйти на свободу. В 1721 году дворовый Аким Иванов донес на своего господина Тимофея Скобелева, пившего и буянившего без меры. На упреки своей сварливой супруги Скобелев при Иванове якобы сказал: «Что ты мне указываешь? Ведь так сам государь, Петр Алексеевич делает!» Донос Иванова подтвердился, и по приговору 1722 года Скобелева за его преступление было велено «бить батоги нещадно», а «донositелю Акиму Иванову, за его извет дать паспорт, в котором написать, что ему, Акиму, с женой и с детьми от Скобелева быть свободну и жить где похочет». Так крепостной стал свободным человеком.

К свободе крепостные стремились разными путями, в том числе и через ложный донос. Потом, после пыток и долгого сидения в тюрьме, крепостные в огромном своем большинстве говорили одно и то же: «За своим господином никаких преступлений не знаю, а „слово и дело“ кричал, отбывая... холопства (или крепости. – Е. А.)». За ложный донос крепостного обычно били кнутом и возвращали хозяину под расписку или ссылали, если предполагали, что помещик «будет иметь на него... злость».

В изветах крепостных на своих господ можно увидеть и месть жестокому или несправедливому хозяину. При расследовании извета (1739 год) дворового помещицы Аграфены Барятинской Трофима Федорова выяснилось, что Федоров «блудно жил» с дворовой девкой Натальей, которую помещица выдала замуж за другого дворового, а недовольного решением госпожи Федорова посадила в холодную, а потом продала канцеляристу Головачеву. Федоров к другому хозяину идти не хотел и, по-видимому, шантажировал хозяйку и нового своего хозяина Головачева подслушанным им разговором, обещал донести о сказанных помещицей «непристойных словах» в Москве. Попав в трудное положение, Барятинская и Головачев заперлись в спальне Барятинской и обсуждали происшедшее. Опытный в подслушивании Федоров вновь припал к скважине и разобрал, как Головачев сказал его хозяйке: «Ты этих слов

не опасайся, всемилостивейшая-де государыня изволит жить с Бевернским и посылает ево в Курляндию вместо себя и тут ничего не опасаетца, а ты-де, *опасайся холопа своего*, а при тех их словах других никого, кроме ево, Федорова, не было». После этого Федоров смело донес на свою госпожу.

Совет Головачева «опасайся холопа своего» был своевременным предупреждением для многих помещиков, которые относились к крепостным как к живому имуществу и, не стесняясь «хамов» и «хамок», выражали свои чувства. Каждое слово господина, где бы оно ни было сказано – в поле, в нужнике, за обедом, в постели с женой, – слышали, запоминали, а иногда и записывали дворовые.

Особую группу доносчиков составляли *родственники, близкие друзья, приятели, соседи*. Жены доносили на мужей, которых не любили и от которых долго терпели побои и издевательства. Мужья сообщали о «непристойных словах» своих неверных жен. По доносу жены Варвары в 1736 году был арестован и сожжен как волшебник ее муж Яков Яров. На очных ставках она же с убийственной доказательностью уличала его в колдовстве. Посадская жонка Февронья кричала «слово и дело» на собственного мужа и объясняла на допросе это тем, что «не стерп[ела] от мужа побои».

Обычными были доносы братьев на братьев, отцов на детей, детей на отцов. Причины доносов самые разные, но все эти доносы были одинаково далеки от защиты государственной безопасности: распри из-за имущества, вражда, жадность, особенно зависть, а также другие мотивы, которые заглушали родственные и христианские чувства. В 1732 году копиист Петр Свешников донес на своего брата Павла в говорении им «непристойных слов», но потом повинился, сказал, «что о вышеозначенном на оного своего брата Павла затеял, вымысля собою, напрасно, по злобе, что оной ево брат з другими людьми в разные времена прихаживал в дом ево Петров и ево, Петра, бивал многократно безвинно».

Что заставляло людей становиться доносчиками? Прежде всего – угроза стать неизветчиком, то есть недоносчиком. Оказаться неизветчиком было страшнее, чем стать ложным изветчиком. Согласно законам, неизветчик признавался фактически соучастником государственного преступления. Его ожидало наказание кнутом, ссылка на каторгу или даже смертная казнь «за то, что он ведал воровской умысл, а не известил» или что он «знал за тем... (имярек) „государево слово и дело“ и нигде о том не донес». Так было с новгородским распопом Игнатием Ивановым, который по указу Петра I был казнен в 1724 году за недонесение слышанных им от других «непристойных слов».

Суровое наказание ждало присягавших служащих, которые поклялись на кресте и Евангелии доносить, но не донесли. Опасаясь именно этого, В. Н. Татищев сел в 1738 году за сочинение извета на своего гостя – полковника Давыдова, который позволил себе «острые» застольные разговоры. Перед писанием доноса Татищев рассказал о происшедшем полковнику Змееву. Тот дал совет, что нужно доносить немедленно, ибо, сказал Змеев, «здесь он, Давыдов, врет, а может и в других местах будет что врать, [а] здесь многие ссылочные имеютца и, то услыша, о том как донесут, а Давыдов покажет, что и с тобою о том говорил, то можешь и с того пропасть, и для того надобно тебе писать, куда надлежит немедленно».

От недоносительства многих удерживало и то, что духовенству, в соответствии с синодальным указом 1 мая 1722 года, разрешалось нарушать таинство исповеди, если в ней будет замечен состав государственного преступления. В объявлении по этому поводу Синода говорилось, что нарушение тайны исповеди «не есть грех, но полезное, хотящаго быть злодейства пресечение». Попы приносили присягу, обязывавшую их доносить. Нарушавших эту присягу сурово наказывали. Исповедовавший В. Кочубея поп Иван Святайло в 1708 году был сослан на Соловки, а московского попа Авраама, принимавшего исповедь у подьячего Докукина, в 1722 году наказали кнутом, урезанием языка, вырыванием ноздрей и ссылкой на каторгу в вечную работу.

Сложность ситуации заключалась в том, что священник оказывался извечником без свидетелей и поэтому его могли обвинить во лжи и в оговоре своего духовного сына. В 1725 году генерал Михаил Матюшкин рапортовал из Астрахани в Петербург, что Покровской церкви поп Матвей Харитонов сообщил ему, что «был у него на духу солдат и сказывался царевичем Алексеем Петровичем». Поп прогнал самозванца и дал знать о нем властям. Когда «Алексея Петровича», который оказался извозчиком Евстифеем Артемьевым, схватили, то он показал, что называться царевичем Алексеем его «научал»... сам поп Матвей, которого тотчас же арестовали и заковали в колодки. И лишь на последующих пытках самозванец «сговорил», то есть снял с попа обвинения. После этого Артемьева увезли в Москву в Преображенский приказ, а попа оставили под караулом. Несмотря на обращение Астраханского епископа Лаврентия в Синод об освобождении попа Матвея «яко оправданного», его отправили в Синод с указом «обнажить священничество», так как он обвинен «в важном е. и. в. деле». Иначе говоря, подозрения с законопослушного попа так и не сняли.

Иными доносчиками двигало неутоленное чувство мести и злобы. Они хотели только одного – принести ближнему вред во что бы то ни стало. Доносчик Дмитрий Салтанов на следствии 1723 года уже по второму его ложному извету «о себе говорил, что-де мне делать, когда моя такая совесть злая, что обык напрасно невинных губить». Муромский поп Василий Федотов в 1762 году показал «по первому пункту» на вдову А. И. Остермана Марфу, а потом признался, что «оное учинил он в пьянстве своем и по злобе на оную Остерманову за то, что-де, по приходе ко оной, для поздравления ее о восшествии... Петра Феодоровича, желал он за то поздравление получить себе чарку вина или что-нибудь из денег, но люди той Остермановой, за болезнь ее, в келью к ней не допустили, как думает он, по приказу оной Остермановой, и за то желал он, поп, ей, Остермановой высылкою в Тайную контору причинить оскорбление и отомстить свою злобу».

За донос нередко брались *шантажисты*, хорошо понимавшие, сколько проблем может доставить извет. По дороге из Сибири в Москву в 1722 году арестанты Яков Солнышков и старица Варсонофия потребовали, чтобы их конвойный, ефрейтор Кондратий Гоглачев, дал им бумаги и чернил для сочинения жалобы (что конвоем было категорически запрещено). Добились они этого, сказав охраннику, что «ежели не даст, [то] на него, ефрейтора, донесут». Боявшийся оглашения каких-то своих грешков ефрейтор добыл им бумаги и чернил.

Доносчик – это еще и *энтузиаст*, искренне верящий в пользу своего доноса, убежденный, что так он спасает отечество. Особо знаменит тобольский казак Григорий Левшутин, который, по словам П. К. Щебальского, «всю жизнь свою посвятил, всю душу положил на это дело (доносительство. – Е. А.). С чутьем дикого зверя он отыскивал свою жертву, с искусством мелодраматического героя опутывал ее, выносил истязания со стоицизмом фанатика, поддерживая свои изветы, едва окончив дело, начинал новое, полжизни провел в кандалах и на предсмертной своей исповеди подтвердил обвинение против одной из многочисленных своих жертв». Левшутин сам, по доброй воле ходил по тюрьмам и острогам, заводил беседы с арестантами, выпрашивал у них подробности, а потом доносил. В 1721 году он выкупил себе место конвоира партии арестантов, сопровождал ее до Москвы. В итоге этой «экспедиции» он сумел подвести под суд всю губернскую канцелярию в Нижнем Новгороде.

Головной болью для сибирской администрации был Иван Турчанинов – турецкоподданный еврей Карл Левий, взятый в плен под Очаковым и сосланный на Камчатку за шпионаж. Там, перейдя в православие, он стал одним из самых знаменитых прожектеров и доносчиков XVIII века. Он донес на всю сибирскую администрацию во главе с губернатором, убедительно вскрыл все «жульства» и чудовищные злоупотребления сибирских чиновников. В награду за труды он удостоился чина поручика и награды в 200 руб. Специальная комиссия И. Вольфа разбирала доносы Турчанинова на сибирскую администрацию двадцать лет!

Опытный доносчик никогда не забывал, что извет надо доказать, «довести» его с помощью показаний свидетелей и доказательств. Подчас оказывалось, что «довести» донос крайне трудно: или преступный разговор был один на один, без свидетелей, или свидетели не дали нужных изветчику показаний, или, наконец, сам изветчик не выдержал пыток и отказался от своего доноса. В итоге, анализируя дела политического сыска, замечаешь, что иной извет, явно не «бездельный», тем не менее за недоказанностью признавался ложным. Н. Б. Голикова, обобщая материалы Преображенского приказа за 1695–1708 годы, пришла к выводу, что число ложных изветов крестьян и холопов на своих господ достигало 87,7 % (57 из 65 изветов), и объясняла это тем, что «каждый донос был сопряжен с огромным риском и тяжкими мучениями». Попад в застенки, изветчики даже не предполагали, как подчас трудно «довести» донос.

Особенно опасным для изветчика был донос на влиятельного, «сильного» человека. Все попытки донести на злоупотребления князя Ромодановского (а он был в Москве настоящим царьком) приводили только к наказанию доносчиков, причем без всякого расследования их изветов. Опасно было вставать и на пути такого отъявленного вора, каким был А. Д. Меншиков. Даже когда полковник А. А. Мякинин, только что назначенный генерал-фискалом, сумел уличить Меншикова в утайке налогов с одной из своих крупных вотчин на протяжении 20 лет, светлейший нашел-таки способ расправиться с ним. Мякинина отдали под военный суд и приговорили к расстрелу, замененному ссылкой в Сибирь.

Только хладнокровные и «пронырливые» люди умели в нужном месте «подстелить соломки». В 1702 году в Нежине капитан Маркел Ширяев донес на старца Германа. Оказалось, что как-то раз Герман обратился к капитану на базаре с «непристойными словами» о Петре I, даже увел офицера в укромный уголок, где описал весь ужас положения России, которой управляет «подмененный царь» – немец. Ширяев притворился, что увлечен словами проповедника, узнал его адрес и на другой день пришел к Герману в гости. Он вызвал старца на улицу, а пока они прогуливались, двое солдат – подчиненных Ширяева незаметно пробрались в дом старца и спрятались за печкой. Когда хозяин и гость вошли в избу, то Ширяев, для того чтобы как бы «взять в розум» сказанное на базаре старцем о Петре, попросил того повторить «непристойные слова». Сделано это было исключительно для ушей запечных свидетелей. И только после этой операции Ширяев донес на старца «куда надлежит».

Несмотря на общераспространенность доносительства, люди того времени хорошо осознавали неизбежное противоречие между долгом, требовавшим во имя высших государственных целей донести на ближнего, и христианскими заповедями, устойчивым представлением о том, что доносчик – это Иуда, предатель, которому нет прощения. Самыми серьезными противниками политического сыска оказались старообрядцы. Среди них почти не было доносчиков. Старообрядцы многим могли поступиться, но оставались стойки и непримиримы в отношении власти, в защите своей веры, а следовательно, в своей духовной независимости.

Не только старообрядцы избегали доносительства. Как известно, в 1730 году, сразу же после восшествия на престол Анны, была предпринята попытка ограничения императорской власти. Казанский губернатор А. П. Волынский написал своему дяде С. А. Салтыкову письмо в Москву, что приехавший из Москвы в Казань бригадир Иван Козлов весьма одобрял попытку ограничить власть императрицы Анны и очень огорчился, что замысел этот не удался. Волынский сначала отказался подавать донос на Козлова, считая это неприличным и бесчестным для дворянина. Однако по настоянию дяди он подал донос с просьбой рассматривать его «только приватно, а не публично». «Мне, – написал он, – доношения подавать и в доказательствах на очных ставках быть... – то всякому дворянину противу его чести будет, но что предостерегать и охранять, то, конечно, всякому доброму человеку надобно, и я, по совести своей, и впредь не зарекаюсь тож сделать, если что противное увижу или услышу». Далее из письма следует, что от подачи доноса Волынского удерживали сомнения в полной победе группировки Анны Ивановны. Как видим, честь дворянская по-Волынскому – понятие гибкое: в одном случае она

вообще не допускает доноса, в другом же случае допускает, но лишь тайно и только тогда, когда извет не несет опасности для доносчика-дворянина.

Известны другие, хотя и немногочисленные, попытки осуждения доносительства. В августе 1732 года солдат Ларион Гробов сказал своим товарищам – доносчикам на солдата Седова: «Съели вы салдата Ивана Седова ни за денешку, обрадовались десяти рублям!» За эти слова Гробова били плетью и сослали в Прикаспий. В том же году в Тайной канцелярии свидетель по делу солдата Кулыгина капрал Степан Фомин «сперва в роспросе о тех непристойных словах имянно не объявил, якобы стыдясь об них имянно объявить». Затем выяснилось, что он отговаривал изветчика от подачи доноса. Действия Фомина расценивали как преступление.

Даже если доносчики исходили в своем поступке из «присяжной должности» и считали, что поступали как «верные сыны отечества» при полном одобрении и поощрении со стороны государства, червь сомнения все-таки точил их души. Они понимали безнравственность доноса, его явное противоречие нормам христианской морали. Бывший фельдмаршал Миних в 1744 году писал А. П. Бестужеву-Рюмину из пелымской ссылки, что в 1730 году, при вступлении Анны Ивановны на престол, он, как главнокомандующий Петербурга, «по должности... донесть принужден был» на главного военно-морского начальника адмирала Сиверса. Миних признавал, что донос его погубил жизнь адмирала, которого сослали на десять лет, и только перед смертью он был возвращен из ссылки Елизаветой Петровной. Теперь, почти 15 лет спустя после извета, доносчик, сам оказавшись в ссылке, писал: «И потому, ежели ея величества наша великодушнейшая императрица соизволила б Сиверсовым детям некоторые действительные милости щедрейше явить, то оное бы и к успокоению моей совести служило».

Вообще-то люди страшно боялись доносов и доносчиков. Как только они слышали «непристойное слово», то стремились, во-первых, не допустить продолжения опасного разговора, во-вторых, бежать с места происшествия и, в-третьих, всячески отвертеться от участия в следствии в роли доносчиков или свидетелей. Музыканты, игравшие на семейном празднике у пленного шведа Петера Вилькина в январе 1723 года, прекратили игру, собрали инструменты и поспешно бежали после того, как хозяин заявил, что императору Петру I осталось жить не более трех лет. Музыкантов гнал с вечеринки *великий государственный страх*: они не хотели стать сообщниками, свидетелями, колодниками, пытаемыми, казнимыми по политическому делу.

Если человек начинал публично говорить «непристойные слова», окружающие его «от тех речей унимали» уговорами. Чаще всего ему говорили: «Дурак, полно врать!» или «Врешь ты, дурак!» Иногда такого человека били или изгоняли. Купец Смолин, который в 1771 году решил пострадать «за какое-нибудь правое общественное дело и тем заплатить свои житейские грехи, мучающие его», начал громко ругать государыню в церкви, но добился только того, что причетники выбросили его из храма. Пришлось самоизветчику идти сдаваться властям. Если слышавшие «непристойные слова» не могли бежать, то они делали вид, что ничего не слышали из-за «безмерного пьянства», или сидели далеко и не «дослышали», или якобы были увлечены другим делом, или спали.

Из сказанного выше ясно, что доносчика не окружала любовь народная. Его ненавидели, боялись, ему угрожали расправой. Сохранилась челобитная доносчика – церковного дьячка Василия Федорова, по извету которого казнили помещика Василия Кобылина. После возвращения из Преображенского домой у дьячка начались неприятности, которые он подробно описал в своей челобитной 1729 года. Сразу после казни Кобылина «дано мне, – пишет дьячок, – по прошению моему, до настоящего награждения, корову с телицею, да на прокорм их сена, да гусей и кур индейских по гнезду, и то чрез многое прошение насилу получил в три года, а охранительного и о непорицании меня указов из той (Преображенской. – Е. А.) канцелярии не дано». Эта защитная грамота была необходима изветчику: «Я чрез три года как от жены того злодея претерпевал всякие несносные беды и разорения и бит смертно, от чего и доднесь

порядошного себе житья с женою и детьми нигде не имею и, бродя, без призрения, помираем голодною смертию, яко подозрительные». И хотя дьячок, как и все ему подобные челобитчики, приbedняется, положение его действительно было незавидное. С места в церкви села Лихачево его согнали, и когда он, уже получив защитную грамоту, туда приехал, «того села поп Александр Васильев и пришлой крестьянин Семен Федосеев, которой живет на моем дьячковом месте, помянутой данной мне ваше. и. в. грамоты ни во что ставили и порицали и, залуча меня в деревне Крюкове, у крестьянина Максима Иванова, били и увечили смертным боем, от чего и поныне правою рукою мало владею, которой бой и увечье в Волоколамской канцелярии, при многих свидетелях, как осматриван и описан, а челобитья моего о том бою и о порицании онаго ваше. и. в. указа тамошний воевода... Иван Козлов не принял».

Тот, кто опасался доноса или знал наверняка, что на него донесут, стремился предотвратить извет во что бы то ни стало. Проще всего было подкупить возможного изветчика, умиловить его подарками и деньгами или, наоборот, припугнуть. В 1734 году брянский помещик Совет Юшков, сидя за столом с посадским – портным Денисом Бушуевым, высказался весьма критично об императрице Анне. Бушуев, как верноподданный, решил ехать в Петербург и донести на хозяина застолья. Что только не делал Юшков, чтобы Бушуев отказался от своей затеи: сажал его под арест, приказывал бить батогами, поил водкой, уговаривал, угощал обедом, предлагал помириться. Холопы Юшкова, знавшие об этом конфликте, не спешили поддержать Бушуева и не доносили властям о кричании им «слова и дела». Несколько недель Бушуев прятался от Юшкова по имениям разных помещиков, которые также не доносили о происшедшем властям, пока наконец храбрый портняжка не добрался до Рославля и не заявил воеводе Чернышову, что «ведает он, Бушуев, за помянутым Юшковым, по силе е. и. в. указу первого пункта, некоторые от него, Юшкова, поносительные слова на е. и. в., что на него, Юшкова, и доказать может». Воевода арестовал Юшкова, Бушуева и свидетелей и выслал их в Петербург.

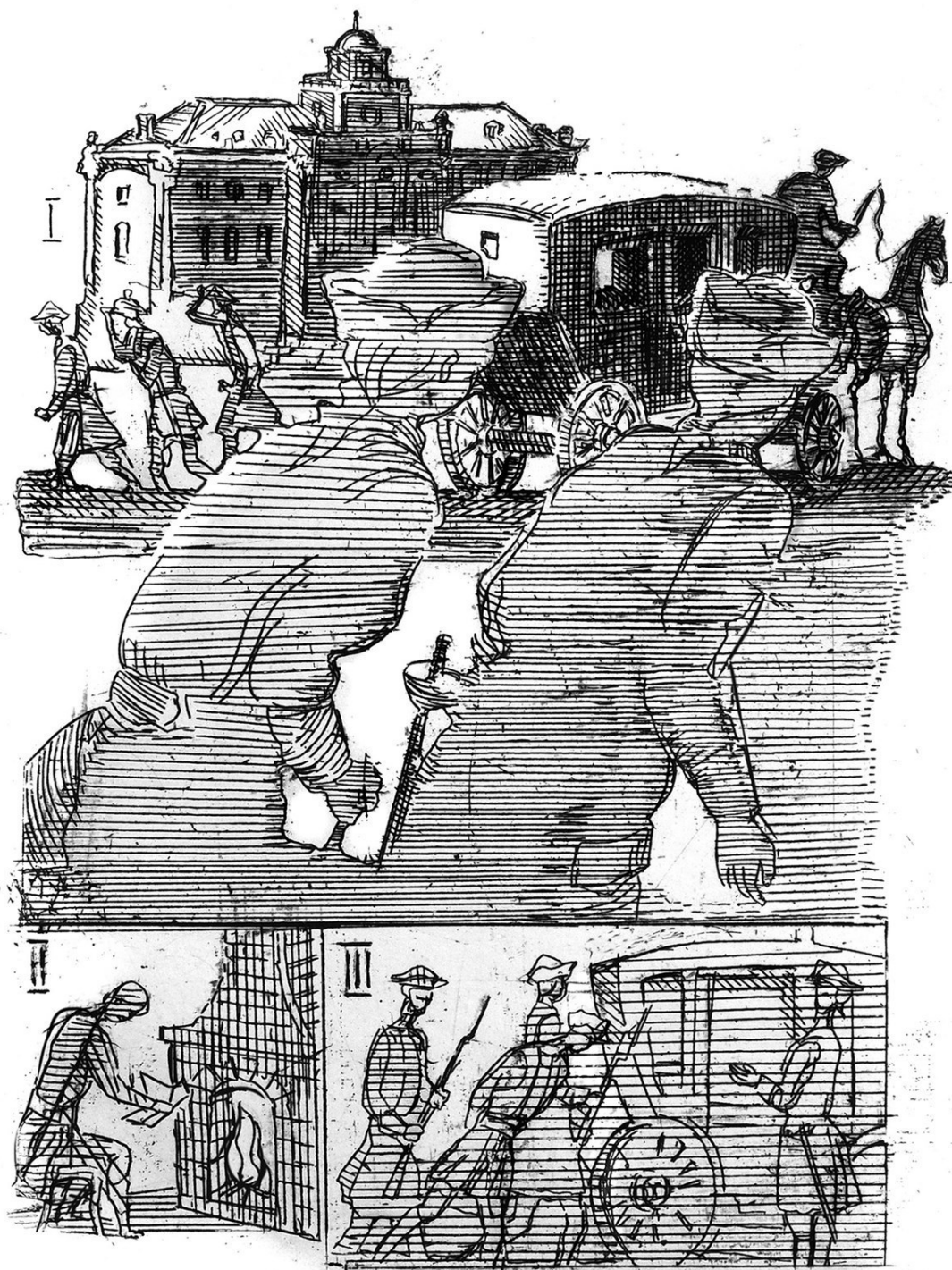
Местные власти, исходя из сказанного в главе об учреждениях сыска, должны были принять донос, арестовать, допросить указанных изветчиком людей и отправить их в столицу или сообщить по начальству о начатом деле и ждать распоряжений из центра. Но все это – формально, по закону. Чаще всего местные начальники попросту игнорировали доносы. В 1707 году красносарский воевода И. С. Мусин-Пушкин поссорился с подьячим Иваном Мишагиным. Тот кричал «слово и дело» и был посажен своим начальником в тюрьму. Сидя под арестом, Мишагин объявлял «слово и дело» всем подряд: караульным, арестантам, посетителям. Через решетку окна он кричал «слово и дело» людям, шедшим в собор на службу. Народ слушал и шел дальше. В конце концов раздосадованный воевода приказал Мишагина обезглавить. И сколько тот ни бился и ни кричал, что по закону его нужно отправить в Москву, Мусин-Пушкин был непреклонен – изветчику отсекали буйну голову. Конечно, воевода Мусин-Пушкин грубо нарушил закон.

Разные причины мешали начальникам начать дело по услышанному доносу. Одни не доверяли изветчику – часто человеку несерьезному, корыстному или склонному к пьянству. Другие боялись, что их втянут в машину политического сыска, замучают допросами. Третьи дружили с жертвой доноса, были ее родней. Будем иметь также в виду, что среди местных начальников было немало людей, которые попросту гнушались этими грязными делами. Наконец, чиновников подкупали, задабривали, уговаривали плюнуть на донос, забыть о нем, советовали положить извет в долгий ящик.

Заклучая главу о доносах, отмечу их массовость и распространенность в рассматриваемый период, а также необыкновенную отзывчивость власти к изветам всех видов. С помощью законодательства и полицейской практики власти создали такие условия, при которых подданный не доносить (без риска потерять свободу и голову) попросту не мог. Поэтому «извещали» тысячи людей. Читать бесчисленные доносы тех времен – труд для историка тяжкий. От этого

чтения можно легко потерять веру в народ и человечество. Единственным утешением служит только та мысль, что без копания в этом окаменелом дерьме невозможно написать книгу на данную тему.

Истоки доноительства – в истории становления политического режима Московского княжества. По мере упрочения Московского царства значение извета возрастало не только по причине усилившейся самоизоляции России от мира, но и в силу особенностей управления такой огромной страной, как Россия. При слабости власти, неразвитости инструментов государственного контроля доноительство стало чуть ли не единственным эффективным способом выявить «ниспровергателей» государевых указов, а сам донос стал служить доступным власти способом контроля за исполнением законов. Появление института штатных доносчиков – фискалов есть законченное выражение этого принципа на практике. Кажется, что в тогдашних условиях только с помощью доносов соседей, родственников, сослуживцев, товарищей, конкурентов, завистников власти можно было проконтролировать исполнение подданными законов в поместных, земельных делах, при уплате налогов, податей и пошлин, при соблюдении монополий, при исполнении службы государевыми людьми, в борьбе со старообрядцами и т. д. и т. п. Само собой, доноительство стало самым надежным оружием в борьбе с государственными преступлениями.



До ареста за некоторыми подозреваемыми вели слежку – наружное наблюдение. Голландский дипломат де Би писал о своем нахождении в Петербурге в 1718 году, во время дела царевича Алексея: «Я узнал от слуг моих, что в течение трех недель, с самого раннего утра, безотлучно находилось в саду моем неизвестное лицо, которое записывало всех, приходивших ко мне, я ни разу не выходил из дому без того, чтобы за мною не следили издали двое солдат, чтобы видеть, с кем я буду разговаривать дорогою». Позже вице-канцлер П. П. Шафиров подтвердил дипломату, что за ним, действительно, следили – русскому правительству не нравились его депеши в Голландию, которые перлюстрировались, поэтому было решено проследить источники дипломатических инсинуаций.

Шарль Массон, арестованный секретарь великого князя Александра Павловича, писал: «Размышления о первых днях опалы не давали мне покоя, так что я вдруг вскочил с постели перебирать свои бумаги, чтобы уничтожить из них все, какие могли бы показаться подозрительными и повредить мне или моим друзьям...». Массон давно жил в России, поэтому поступал совершенно правильно. Особенно тщательно он изорвал свой дневник, в который заносил заметки и наблюдения о жизни двора. Дневниковые записи, рукописи записок и книг, а также письма обычно становились самыми опасными уликами при разоблачении государственных преступников.

Глава 4. Опала и арест

Рассмотрим, что происходило после получения доноса. Обычно, если речь шла о «маловажных» делах, начальник выслушивал извештика и приказывал внести содержание извета в журнал входящих бумаг. Затем он вызывал дежурного офицера и приказывал вместе с солдатами отправиться за указанным в доносе ответчиком и свидетелями. Резолюцию об этом в журнале Тайной канцелярии записывали по принятой форме: «Показанных людей сыскать и распросить с обстоятельствы по указу». В некоторых случаях назначали наружное наблюдение за подозреваемыми, внедряли шпионов в их окружение, перлюстрировали их письма и провоцировали подозреваемых на произнесение «непристойных речей».

Арест человека известного, знатного оказывался порой делом непростым. Ему, как правило, предшествовали события и действия, которые принято с древних времен называть *опалой*. Именно опала становилась часто исходным толчком для возбуждения политического дела. Опала – гнев, немилость, нерасположение государя к своему подданному, преимущественно служилому человеку. С юридической точки зрения опала есть, как писал Н. Д. Сергеевский, «общая угроза в неопределенной санкции». В. Н. Татищев, комментируя Судебник 1550 года, дал такое определение этого понятия: «Опала есть гнев государев, по достоинствам людей и преступлений различенствовало, яко: 1. Знатному не велят ко двору ездить; 2. Не велят со двора съезжать и сии, как скоро кому объявят, обыкновенно черное платье надевали; 3. В деревню жить; 4. Писали по городу во дворяне, отняв чины; 5. В тюрьму». Такое определение опалы распространимо на XVII век, а также на первую половину XVIII века – время жизни самого Татищева, да и после него. Проявление самодержавной воли в течение нескольких веков русской истории становилось истинной причиной гонений, репрессий и даже террора. Недаром существовала выразительная пословица «Царев гнев – посол смерти». Классификацию наказаний опальных, данную Татищевым, нужно дополнить и другими их видами, в том числе смертной казнью, но об этом будет подробно сказано ниже, в главах о приговоре и наказании.

Человек, почувствовавший приближение опалы, увидевший несомненные ее симптомы, оказывался в ужасном, неестественном для себя положении. Мир вокруг него сразу менялся. Узнав о запрете ездить ко двору, А. П. Волынский впал в унынье. Его обычно многочисленные гости стали избегать гостеприимного дома кабинет-министра. По городу поползли слухи, что на друзей Волынского «кладены были метки». Лишь несколько человек остались верны дружбе с Волынским и стремились как-то приободрить его.

Оказавшись в подобном странном положении, человек начинал метаться и искать содействия у друзей, знакомых, сослуживцев. В 1727 году А. Д. Меншиков, почувствовав близость опалы, пытался предупредить свою гибель. Он безуспешно искал встречи с императором Петром II, писал дружественно-просительные письма вице-канцлеру А. И. Остерману (который втайне и подготовил крушение всесильного фаворита). Когда же 8 сентября 1727 года ему объявили домашний арест, то светлейший послал жалобную челобитную царю, прося освободить его из-под ареста, «памятуя речение Христа-спасителя: да не зайдет солнце во гневе Вашем». Затем он послал во дворец свою дочь Марию – невесту царя, а также жену, написал послания сестре царя Наталье Алексеевне, своим коллегам-верховникам. Да и потом, после высылки в Рененбург 10 сентября 1727 года и до самой ссылки в Сибирь в апреле следующего года, он неустанно слал знакомым письма с просьбой о помощи и содействии, заставлял свою жену и дочерей писать к женам и дочерям этих сановников. Стоит ли говорить, что никто ему не помог.

В условиях опалы каждый думал о себе и, как прокаженного, сторонился вчерашнего счастливца. «Куда девались искатели и друзья? – вспоминала в своих мемуарах Н. Б. Долгорукая первые дни опалы семьи Долгоруких. – Все спрятались и ближние, отдалече меня стаща,

все меня оставили в угодность новым фаворитам, все стали уже меня боятца, чтоб встречу с кем не попалась, всем подозрительно. Лутше б тому человеку не родитца на свете, кому на время быть велику, а после прийти в несчастье: все станут презирать, никто говорить не хочет!»

Поддерживать опального человека, ходатайствовать за него и даже ездить к нему считалось крайне опасным. Для этого требовалось большое мужество и даже самопожертвование, на которые царедворцы в большинстве своем способны не были. К опальному Волынскому по-прежнему ездил только граф Платон Мусин-Пушкин. Потом в Тайной канцелярии его с страстием допрашивали: зачем он, зная об опале кабинет-министра, к нему все-таки ездил, не для заговора ли? Простые человеческие чувства – дружба, верность, сочувствие – как возможные мотивы поведения человека сыску были всегда непонятны.

Да и сам попавший в опалу стремился избежать встреч и разговоров, которые могли бы бросить на него тень и усугубить государев гнев. Екатерина II вспоминала об опале Лестока в 1748 году: «По вечерам императрица собирала двор у себя в своих внутренних апартаментах и происходила большая игра. Однажды, войдя в эти покои его величества, я подошла к графу Лестоку и обратилась к нему с несколькими словами. Он мне сказал: „Не подходите ко мне!“ Я приняла это за шутку с его стороны, намекая на то, как со мной обращались, он часто говорил мне: „Шарлотта! Держитесь прямо!“ Я хотела ему ответить этим изречением, но он сказал: „Я не шучу, отойдите от меня!“ Это меня несколько задело, и я ему сказала: „И вы тоже избегаете меня“. Он возразил мне: „Я говорю вам, оставьте меня в покое“. Я покинула его, несколько встревоженная его видом и речами. Два дня спустя, в воскресенье, причесывая меня, мой камердинер Евреинов сказал мне: „Вчера вечером граф Лесток был арестован, и говорят, посажен в крепость“. Тогда одно только название этого места уже внушало ужас».

Тревожные мысли терзали человека, над головой которого нависла гроза царского гнева. Он напряженно вспоминал все обстоятельства своей жизни за последнее время и уничтожал бумаги, которые могли ему повредить. На вопрос следователей, почему перед арестом Волынский сжег черновики своих бумаг, тот отвечал: «они мне более не были нужны», но потом признался, что опасался неприятностей, если его черновики кому-то попадут на глаза и это ему «причтется». Дело в том, что там было немало черновых отрывков проекта о «поправлении государства». Волынский боялся, что любая фраза из проекта может на следствии ему повредить. Тогда же он сжег и перевод с латыни книги Юста Липсия, которую считал для себя также «опасной». И это правильно – внимание следователей привлекали все заметки на полях прочитанных преступником книг, все выписки и конспекты. Составителя их вопрошали, зачем он читал эти книги, зачем конспектировал и в чем смысл каждого значка и пометы на полях. Свои бумаги перебирали и Лесток, и погубивший его А. П. Бестужев-Рюмин. Часть бумаг они уничтожили, а часть передали знакомым.

Чаще всего поначалу никакой схемы при арестах не было – следователи, получив одобрение верховной власти, арестовывали главных «злодеев», допрашивали их и дальше хватали всех, кого называли на допросах и под пытками подследственные. Так и возникала схема. В ней была заложена своя логика, которая основывалась на двух главных положениях. Во-первых, при расследовании политических дел действовал принцип, выраженный в инструкции императрицы Анны А. И. Ушакову: «*До самого кореня достигнуть*». Во-вторых, следствие признавало, что всякое преступление против государства невозможно без «причастников», и задача следователей – выявить их круг, обнаружить преступное сообщество и обезвредить его. Подробнее об этом будет сказано ниже.

В итоге, когда начинались большие процессы, город замирал в ожидании арестов и репрессий. Секретарь саксонского посольства Пецольд писал 4 июня 1740 года о деле Волынского: «У одних замешан враг, у других родственник, у третьих приятель, и почти из каждой семьи кто-нибудь прикосновен к делу Волынского, невозможно изобразить чувства радости и огорчения, надежды и страха, которые борются теперь между собою и держат всех в общем

напряжении». Такая же паника охватила столичный свет и в 1718 году, когда начали брать людей по делу царевича Алексея, и в 1743 году, когда город жил слухами об арестах по делу Лопухина.

Обычно к моменту задержания указ об аресте уже был подписан. Документ этот был произволен по форме, но ясен по содержанию: «Указ нашим генералу Ушакову, действительным тайным советникам князю Трубецкому и Лестоку. Сего числа доносили нам словесно поручик Бергер да майор Фалькенберг на подполковника Ивана Степанова сына Лопухина в некоторых важных делах, касающихся против нас и государства; того ради – повелеваем вам помянутого Лопухина тотчас арестовать, а у Бергера и Фалькенберга о тех делах спросить о том, в чем доносят на письмо, по тому исследовать и что по допросам Лопухина касаться будет до других кого, то, несмотря на персону, в комиссию свою забирать, исследовать и что по следствию явится, доносить нам». Этот документ – указ императрицы Елизаветы от 21 июня 1743 года, по которому началось знаменитое дело Лопухиных.

Следующей стадией опалы обычно становился *домашний арест*. «Графу Михаилу Бестужеву объявить е. и. в. указ, чтоб он со двора до указа не выезжал» – таким был указ о домашнем аресте одного из участников дела Лопухиных. Бестужева дома не оказалось, он отдыхал на приморской даче, где его взяли и предписали продолжать «отдых» уже не выходя из комнат, под охраной. Указ о домашнем аресте означал, что к дому опального наряжался караул, который не позволял хозяину ни выходить из дома, ни принимать гостей.

Как содержали людей под домашним арестом, видно из инструкции подпоручику Каковинскому, приставленному 16 апреля 1740 года к дому А. П. Волынского. Ему надлежало заколотить все окна в доме, запереть и опечатать все, кроме одной, комнаты. В ней и следовало держать опального кабинет-министра, как в камере тюрьмы «без выпуску», при постоянном освещении. Все это делалось, согласно инструкции, для того, чтобы арестант «отнюдь ни с кем сообщения иметь или тайных тому способов сыскать не мог и для того в горнице его быть безотлучно и безвыходно двум солдатам с ружьем попеременно». Дети Волынского находились в том же доме, но отдельно от отца. К ним был приставлен особый караул. Согласно указу Елизаветы от 13 ноября 1748 года о домашнем аресте Лестока, опального вельможу держали отдельно от жены, «а людей его, – читаем в указе, – никого, кто у него в доме живет, никуда до указа с двора не пускать, також и посторонних никого в тот двор ни для чего не допускать, а письма, какие у него есть, также и пожитки его, Лестоковы, собрав в особые покои, запечатать и по тому же приставить караул».

Следователи приезжали в дом арестованного и допрашивали его. В одних случаях домашний арест оказывался недолгим – Лестока, например, отвезли в Петропавловскую крепость уже на третий день, А. П. Бестужев же маялся под «крепким караулом» четырех grenadiers целых 14 месяцев. После домашнего ареста чаще всего следовала ссылка или перевод в крепость, в тюрьму. Впрочем, часто попадали туда и без «прохождения» стадии домашнего ареста.

Для многих будущих узников политического сыска арест становился полной неожиданностью. В «Черниговской летописи» описан арест полковника Павла Полуботка, который произошёл при следующих обстоятельствах. В 1723 году он вместе со старшиной был вызван в Петербург, где украинцы подали Петру I челобитную о восстановлении гетманства на Украине. Царь, прочитав челобитную, «того ж моменту изволил приказать своими устами генерал-маёру... Ушакову, з великим гневом и яростию, взять под караул полковника Павла Полуботка, судию еeneralного Ивана Чарниша, Семена Савича, писаря еeneralного, там же, при Кофейном доме стоявших, и всех, кто с ними ассистовал, от которых и от всех, отвязавши своими руками сабли, тот же еeneral Ушаков велел всех попровадити в замок мурований Питербургский, где с первого часу порознь были все за караулом посажени». Полуботок, обвиненный в измене, умер в крепости 18 декабря 1724 года.

Внезапность ареста, суровое обращение при этом с арестантом, быстрый и такой же суровый допрос, да еще перед высокими начальниками, а то и государем – все это обычно выбивало людей из седла, и они терялись. Так, в 1718 году генерал В. В. Долгорукий был внезапно арестован по делу царевича Алексея. В челобитной Петру I уже после допросов он так объясняет первоначальные показания: «Как взят я из С[анкт]-Питербурха нечаянно и повезен в Москву окован, от чего был в великой десперации (отчаянии. – Е. А.) и беспамятстве и привезен в Преображенское и отдан под крепкий арест и потом приведен на Генеральный двор пред ц. в. и был в том же страхе; и в то время, как спрашиван я против письма царевича пред царским величеством, ответствовал в страхе, видя слова, написанныя на меня царевичем приняты[ми] за великую противность и в то время, боясь розыску, о тех словах не сказал».

Были и другие виды внезапного ареста, например, «обманный» арест – под видом приглашения в гости, на дружескую пирушку, а также под предлогом («под протекстом») срочного вызова на службу, командировки. Чтобы захватить врасплох Кочубея и Искру весной 1708 года, устроили настоящий спектакль с участием самого Петра I и канцлера Г. И. Головкина. В письме царя Мазепе от 1 марта 1708 года излагался план захвата людей, преступление которых было уже классифицировано до следствия («великому их быть воровству и неприятельской факции»). Кочубей и Искра были вызваны якобы по делу в Смоленск.

Теперь рассмотрим работу сыска при аресте государственного преступника, жившего вдали от столицы. Из сыскаго ведомства в провинции посылали нарочного (как правило, гвардейского сержанта или офицера), который получал деньги на прогоны и инструкцию (она называлась также «ордером»). Такие инструкции (а их сохранилось немало), как и рапорты нарочных по завершении операции, позволяют воссоздать типичную сцену ареста в провинции.

Обычно, приехав в провинциальный или уездный город, нарочный гвардеец являлся к воеводе или коменданту, предъявлял ему свои полномочия в форме именного указа или ордера и узнавал, где может быть преступник. В одних случаях указ был адресован конкретному воеводе, а в других имелись в виду все местные власти, независимо от их уровня. Они должны были помогать нарочному людьми, лошадьми, деньгами, устраивать его на постой. Для исполнения именного указа посланец получал от воеводы в помощь отряд солдат, подьячих и проводников. С этим воинством столичный гость и арестовывал преступника. Согласно инструкции 1734 года, каптенармус Степан Горенкин, посланный на Олонец за старообрядческим старцем Павлом, имел право арестовывать и допрашивать всех людей, которые могли бы указать место, где укрывался старец, причем в случае, если Горенкин не нашел бы старца, ему предписывалось всех арестованных вместе с семьями везти в Петербург. Часто боясь упустить преступника, посланные задерживали в доме всех подряд, даже гостей, а уже потом, в столице, решали, кто виноват, а кто вошел в дом случайно. Сам дом опечатывали, а у дверей ставили караул. Иногда в доме оставляли засаду, чтобы хватать всех, кто приходил и спрашивал о хозяине.

В рапорте от 15 октября 1738 года полковник Андрей Телевкеев описывает, как он, действуя строго по инструкции, арестовывал обвиненного в произнесении «непристойных слов» полковника С. Д. Давыдова: «По данному мне... ордеру сего числа пополудни во 2-м часу полковника Давыдова изъехал (то есть нашел. – Е. А.) я в деревне Царевщине и, поставя кругом двора и у дверей в квартире ево караул, вшед к нему в ызбу, выслав всех, арест ему объявил, и сперва он не противился, потом, немного погодя, говорил, чтоб я объявил ему подлинной указ, по которому арестовывать его велено, но я ему повторне объявил, что указа показать ему не должно, но он, противясь есче, закричал: „Люди! Караул!“, – на что я ему объявил, что того чинить весьма непристойно, представляя о том указы е. и. в., и по оному уже едва шпагу из рук своих отдал; письма ево сколько нашлось, все осматривал и партикулярныя [в том числе], собрав, особо запечатав, и деньги под росписку отдал прапорщику Тарбееву; другие же, каса-

юсчиеся до ево комис[с]ии, отданы бывшим при нем подьячим, по ордеру же вашего превосходительства велено, по изъезде ево, того ж часу в путь выслать, но за неимением к переправе порому чрез реку Волгу на несколько часов принужден удержать, пока пором сделают, которой здешним мужикам тотчас делать приказал и для понуждения людей своих послал, а по сделании, отправя при себе за реку, возвращаясь...». Кроме того, Телевкеев сообщал о результатах обыска: «По осмотру же моему в имеющемся при нем подголовнике, между другими, найдено в бумашке мышьяку злотника с два, которой взял с собой».

В этом описании есть несколько важных моментов. Во-первых, Давыдова арестовали внезапно. Дом, где он находился, предварительно окружили цепью солдат. Так делалось всегда, чтобы предотвратить возможную, как тогда говорили, «утечку» преступника, уничтожение улики и попытки дать какой-нибудь знак сообщникам. Во-вторых, при аресте Телевкеев забрал и опечатал все письма и бумаги Давыдова, как официальные, так и личные. Опечатывание производилось, как правило, личной печатью руководителя ареста. Это было другое обязательное правило при аресте – не дать преступнику уничтожить улики. В-третьих, арестованного Давыдова немедленно повезли в Петербург. Доставить преступника как можно скорее в столицу считалось важной обязанностью нарочного.

Правда, при захвате Давыдова было нарушено важное правило, обязательное при аресте персон высокого ранга: ему не был предъявлен именной указ об аресте, после чего Давыдов не без оснований стал звать на помощь людей и поначалу отказывался отдать свою шпагу. Потом Тайная канцелярия сурово спросила организатора ареста, Татищева: зная, «что о именных и. в. указах, не имея оного собою, употреблять никому не подобает... для чего помянутому Давыдову объявить вы велели, что якобы по именному е. и. в. указу повелено его арестовав и под караул в Санкт-Питербурх прислать, не имея о том имянного ея и. в. указу?» Татищев оправдывался: он хотел, чтобы «оной Давыдов не дознался для чего арестуетца, дабы не надумался в говоренных ему, Татищеву, словах к выкрутке себе что показывать». По-своему Татищев был прав – все инструкции об аресте преступника требовали, чтобы он ничего не знал о причине ареста.

Внезапность арестов объясняется желанием сыскных чиновников не поднимать лишнего шума, не вызывать панику среди родных и соседей и избежать потасовки при аресте. В 1722 году капитан Цей, посланный арестовать коменданта Нарыма Ф. Ф. Пушкина, столкнулся с вооруженным сопротивлением, и в завязавшейся стычке даже пролилась кровь.

Существенным моментом ареста являлся захват преступника с *поличным*. При аресте старообрядцев и других противников официальной церкви власти стремились прежде всего захватить старинные рукописные книги и «тетрадки». Они служили самой надежной уликой для обвинения в расколе. При аресте колдунов забирали все подозрительные предметы: сушеные травы, кости, «малорослые коренья», «тетрадки гадательные», «неведомые письма» и т. д. Особо важным поличным в то время считались письма, записки, деловые бумаги. Смертельно опасно было хранить различные «причинные письма» – запрещенные бумаги, листовки и «преlestные письма», призывающие к сопротивлению или бунту, а также написанные на бумаге «непристойные слова». При изъятии писем людей сразу же начинали допрашивать: «Где они [их] взяли и для чего у себя держали?» В 1721 году сурово наказали Семена Игнатьева – брата бывшего духовника царевича Алексея, расстриги Якова Игнатьева, за то, что Семен взял «письма царевичевы (Алексея. – Е. А.) и держал их у себя». И только потому, что преступнику не исполнилось восемнадцати лет, его лишь высекли батогами и сослали в Сибирь.

Обычно при аресте преступника захваченные бумаги сразу не разбирали. Этим занимались уже чиновники Тайной канцелярии, сортируя «важные», «причинные» от тех, в которых «важности к Тайной канцелярии не явилось». Они тщательно изучали отобранные при обыске конспекты даже разрешенных к чтению и хранению дома книг. У пытливого читателя выпрашивали: «На какой конец выписывал ты пункты из книги „О государственном правлении“,

клоняющиеся более к вреду, нежели к пользе?» Так допрашивали в 1793 году арестованного сочинителя Федора Кречетова. За полсотни лет до этого такие же вопросы задавали в сыске другому книгочею – А. П. Волынскому, у которого была большая библиотека исторических сочинений.

По окончании сортировки составляли протокол: «Августа в 26 день в Канцелярию... взят под караул водошного дела мастер Иван Посошков, а сын ево малолетний Николай в доме ево, Ивановом, под караулом же, и письма ис того дому взяты в помянутую Канцелярию и розбيرانы, при взятьи писем были канцелярист Семен Шурлов... капрал Яков Яновской, салдат четыре человека... Андрей Ушаков. Секретарь Иван Топильской». Так началось дело знаменитого Ивана Посошкова.

Когда присланные за человеком военные не обнаруживали преступника, то они забирали всех, кого находили в его доме, и везли в тюрьму, чтобы выяснить в допросах, куда сбежал преступник. Из дела 1714–1715 годов следует, что вместо беглых преступников в Преображенское притащили их жен. Женщин держали до тех пор, пока солдаты не разыскивали мужей или пока они сами добровольно не сдавались властям. Такое заложничество, по некоторым признакам, было довольно-таки распространено. Против этого не возражало и право, построенное на признании вины родственников за побег их близкого человека. Они, как уже отмечалось выше, должны были доказать свою невиновность и непричастность к побегу.

Если допрошенный в сыске изветчик точно не знал имен людей, на которых доносил, или не помнил, где они живут, то, как правило, он обещал узнать их в лицо, так как «с рожей их знает». В этом случае прибегали к довольно жуткой процедуре: изветчика (в этом случае его называли *языком*) под усиленной охраной проводили или провозили по улицам, чтобы он мог точно показать место или причастных к делу людей. В 1713 году доносчика Никиту Кирилова как «языка» водили по московским улицам, и он указал в толпе на знакомого, который, как непричастный к делу, после допроса был выпущен на свободу. 19 августа 1721 года по указу губернатора А. Д. Меншикова полиция водила по улицам Петербурга арестанта – солдата Антипа Селезнева – для опознания мужчин и женщин, обвиненных им «в розглашении непристойных слов разных чинов людям». Сохранился «Реестр, кого солдат Селезнев опознал». «Языка» водили там, где он наслушался «непристойных слов» – преимущественно по притонам и публичным домам (так называемым «вольным домам»). Протокол опознания и допросы жильцов и хозяев, по-видимому, составлялись на месте: «На дворе торгового иноземца Меэрта никого не опознал и сказал он, Селезнев, что той бабы нет, а он, Меэрт, сказал, что, кроме тех людей, других никаких нет и такой бабы, про которую он, Селезнев, говорил, не бывало. На дворе торгового иноземца Вулфа опознал жену ево Магрету Дреянову. На дворе государева денщика Орлова, в котором живет иноземец Иван Рен, опознал чухонку Анну Степанову...» и т. д.

Из документов политического сыска неясно, как водили изветчика по городским улицам. Появление такого человека с конвоем тотчас вызывало панику среди прохожих и уличных торговцев. Все разбегались, лавки пустели – ведь «язык» мог показать на любого прохожего. Возможности произвола и злоупотреблений были здесь ничем не ограничены. Мемуарист Д. И. Рославлев писал: «Настоящих своих милостивцев разбойник, разумеется, не указывал, надеясь, что они еще будут ему полезны впоследствии, зато мстил своим врагам, обзывая их как своих укрывателей. Если же у самого развозимого языка не было особенно им нелюбимых людей, то опять тогдашнее начальство принимало на себя труд подсказывать ему имена тех лиц, которых следовало обвинить в пристанодержательстве; для этого, разумеется, избирались достаточные жители, которых начальство хотело поучить». Далее Рославлев рассказывает, как оговоренные «языком» люди давали взятку начальнику и злодею, чтобы тот «очистил» его.

Даже за границей знатный беглец не чувствовал себя в безопасности. Он опасался не только официальных демаршей русского правительства, которое требовало (нередко с угро-

зами) его выдачи, но и попыток выкрасть его или убить, как это сделали с Войнаровским, племянником гетмана Мазепы, – его поймали на улице Гамбурга и тайно привезли в Петербург. Прибегал политический сыск и к обманым вызовам из-за границы. Особенно знаменита история задержания принцессы Владимирской (Таракановой). По указу Екатерины II ее обманом вывез из Италии находившийся в Ливорно с эскадрой А. Г. Орлов. Он прикинулся влюбленным в «принцессу». Позже в отчете Орлов писал: «Она ко мне казалась быть благосклонною, чего для я и старался пред нею быть очень страстен. Наконец, я ее уверил, что я бы с охотой и женился на ней и в доказательство хоть сегодня, чему она, обольстясь, более поверила. Признаюсь, милостивая государыня, что я оное исполнил бы, лишь только достиг бы до того, чтобы волю вашего величества исполнить». 21 февраля 1776 года Орлов заманил самозванку и ее свиту на корабль «Три иерарха», стоявший на рейде в Ливорно. Здесь ее арестовали, а затем отвезли в Петербург. При этом Орлов послал женщине якобы тайную записку, в которой писал, что он также арестован, просил возлюбленную потерпеть, обещал при случае освободить из узилища. Вся эта ложь нужна была, чтобы самозванка не умерла от горя и была доставлена в Россию в целости и сохранности. После Орлов написал Екатерине, что самозванка «по сие время все еще верит, что не я ее арестовал».

Итак, наш герой выслежен, спровоцирован, арестован и его нужно препроводить в узилище, по-современному говоря, *этапировать*. В столицах с доставкой «куда следует» арестованных преступников особых проблем не было – как уже сказано выше, за нужным человеком из Тайной канцелярии посылали на извозчике гвардейского или гарнизонного офицера с двумя-тремя солдатами, которые и привозили новоиспеченного арестанта в крепость. Почти так же поступали с людьми познатнее, только для них нанимали закрытую карету да усиливали конвой. Такой вид ареста назывался «честным», так как он не сочетался с демонстративным унижением человека. При аресте его не заклепывали в цепи и вообще обращались с ним не как с преступником, а как с временно задержанным.

Намного сложнее было доставить арестанта из провинции. Инструкции нарочным требовали от охраны соблюдения нескольких важных условий. Вести арестанта нужно было быстро, тайно от посторонних, не давая арестанту бумаг и чернил, не позволяя вести переписку и общаться с родственниками и окружающими. По дороге конвою запрещалось обирать и обижать местных жителей, но на самом же деле все было как раз наоборот. Кроме того, охране нужно было упредить побег, самоубийство или перехват арестанта возможными сторонниками и соучастниками. Наиболее надежным средством от «утечки» арестантов в дороге считались «колоды» или «колодки» (отсюда столь распространенное название узников тогдашних тюрем – «колодники»). Однако колоды были очень неудобны и тяжелы, поэтому чаще прибегали к ручным и ножным кандалам.

Везли арестанта обычно либо в открытых телегах, либо в специальных закрытых возках. Для людей знатных находили вместительные кареты – берлины, а также большие закрытые возки. Естественно, что никто из арестантов не должен был знать, куда его переправляют. О конечном пункте не всегда знала даже охрана. Взятого в плен русскими войсками в Литве Фаддея Костюшко привезли в Петербург в конце 1794 года. Согласно секретному ордеру, конвой вез бунтовщика под именем некоего генерала Милашевича – на эту фамилию была выдана подорожная. Начальника конвоя предупредили: «Чтобы до С[анкт]-Петербурга никто, ни под каким видом, не знал кого вы везете, под наистрожайшим на вас и свиту вашу взысканием». В Петербург въезжать можно было «в темноту уже ночи, а не прежде».

Длинная и трудная дорога подчас спланивала охрану и арестантов. Бывало, что арестанты угощали конвоиров в кабаках, ссужали их деньгами на прогоны, а те, в свою очередь, не следуя строго букве инструкции, давали своим подопечным разные послабления. За деньги у охраны можно было получить водку, освобождение от тяжелых оков, возможность пересылать письма или встретиться с родственниками. Перевоза в 1733 году из Брянска в Петербург арестанта

стованных, начальник конвоя сержант Прокофий Чижов расковал в Гдове преступника Совета Юшкова, «для того, что те кандалы были ему, Юшкову, тесны». Там же сделали новые, более просторные оковы. Следовательно, какое-то время преступник в дороге находился без кандалов, что все инструкции категорически запрещали. Нарушивший инструкцию сержант попал в пыточную палату, а потом его разжаловали в солдаты.

Арестанта следовало привезти здоровым, «в невредном сохранении». Поэтому охрана должна была заботиться об узнике, думать о его здоровье, удобствах, еде и даже настроении. Об одном арестанте, которого везли из Пруссии в 1757 году, А. П. Бестужев писал М. И. Воронцову: «Опасательно, чтоб он, при нынешней по ночам довольно холодной погоде, в колодке и в железах живучи, от раны не умер».

Конвоиры внимательно следили за питанием колодников, не давали арестантам ни столовых ножей, ни вилок, придирчиво рассматривали каждый кусок мяса или рыбы, чтобы в них не было острых костей. Как сказано в инструкции 1732 года, «на пищу давать им хлеб, переламаывая в малые куски». Охрана должна была не допустить самоубийства поднадзорного. В инструкции 1727 года об аресте старообрядцев сказано: «Ободрав у них поясы и гонтяны, и ножи им в руки не давать, чтоб оные раскольщики, по обыкности своей раскольнической, себя не умертвили».

Зная, что их ждут в пыточной палате страшные муки, иные арестанты, несмотря на внимательную охрану, все же пробовали покончить с собой еще по дороге в камеру пыток. В экстракте об Астраханском розыске 1705–1707 годов сказано, что стрелец Стенька Москвитянин был «для очных ставок... везен из Новоспасского монастыря под караулом, порезал себе брюхо и вынят у него из саней от ножа обломок. А в распросе он, Стенька, сказал, [что] тем обломком порезал себя, едучи дорогою тайно от караульных солдат, боясь розыску, а взял тот обломок кражею тому недели с две, будучи в Новоспасском монастыре в тюрьме у своей братии, а умыслил себя зарезать до смерти, чтоб ему в розысках не быть». Во время Тарского розыска 1720-х годов старообрядцу Петру Байгичеву удалось подкупить судью Л. Верещагина, и он дал возможность узнику зарезаться. В 1739 году брат князя И. А. Долгорукого Александр неудачно пытался бритвой вспороть себе живот, но был спасен охраной, а вызванный врач зашил рану.

Если арестант по дороге умирал, то о его смерти и похоронах конвойные делали запись в специальном документе. Когда нижегородский вице-губернатор князь Юрий Ржевский отправил в декабре 1718 года в Петербург партию из 22 раскольников, то он дал начальнику конвоя капралу Кондратию Дьякову инструкцию, в которой сказано, что если арестанты «станут... мереть и тебе их записывать именно». В том же деле сохранился и составленный конвойными именной список из 11 фамилий: «1718 года, декабря в 10 день, Кондратий Нефедьев умер в Нижегородском уезде в Стрелицком стане, разных помещиков в деревне Карповке, и в той деревне свидетельствовали: староста Федоров, староста Филип Иванов и вышеписанным старостам оный умерший отдан схоронить в той же деревне».

Охране запрещалось разговаривать с колодником в дороге. В инструкции конвою, везшему митрополита Сильвестра и его бывшего охранника, на которого Сильвестр донес в 1732 году, было сказано, чтобы колодники между собой никаких разговоров не имели, «а ежели, паче чаяния в дороге из оных колодников учнет кто говорить непотребное... клепать им рот». О насильственном затыкании рта арестанту говорится во многих сопроводительных инструкциях. При доставке раскольников из Петербурга в разные тверские монастыри в 1750 году конвойные должны были также «класть в рот кляпья» особо разговорчивым колодникам и «вынимать тогда, когда имеет быть давана им пища».

Если не было указаний затыкать рот арестанту, то охрана должна была тщательно записывать все, что он говорил «причинного», то есть важного. В инструкции конвою Мациевича генерал-прокурор А. А. Вяземский писал: «Что же услышано вами или командою вашею будет

(от арестанта. – Е. А.), то оное содержать до окончины живота секретно, а по приезде в Москву о том его вранье имеете вы объявить мне».

Привезя арестанта в Петербург, начальник конвоя сразу же сдавал его либо коменданту Петропавловской крепости, либо чиновникам Тайной канцелярии и получал расписку о приеме арестанта. После этого, как гласит инструкция прапорщику Тарбееву, привезшему арестованного полковника Давыдова, «как онаго полковника примут, то его письма и достальные деньги (то есть оставшиеся от расходов в пути. – Е. А.) в ту ж канцелярию объявить и требовать себе с солдатами возвратно отпуска».

Теперь о *побегах*. Благополучная доставка арестанта до столицы лежала на совести начальника охраны – при побеге арестанта его нередко ждали разжалование, пытки и каторга. В инструкции 1713 года нарочному, посланному в Тверской уезд для ареста свидетелей, говорилось: «Дорогой везти с опасением, чтоб в дороге и с ночлегу не ушли и над собою и над караульщиками какого дурна не учинили, а будет они караульщики, для какой бездельной корысти или оплошкою, тех колодников упустят, за то им караульщикам быть в смертной казни».

Чтобы Пугачев и его сообщники не смогли совершить побега, А. В. Суворов в своей инструкции предписал начальнику конвоя, чтобы на привал поезд вставал лагерем посредине чистого поля, а не в перелесках. При этом привал арестантов следовало окружать двойной цепью солдат. В деревнях арестантов держали только на улице, а не в избах. Внимание конвоя удваивалось ночью. Конвойные готовили к бою три пушки, движение в темноте разрешалось только с зажженными фонарями, два из которых следовало держать возле клетки Пугачева.

Несмотря на эти предупреждения, арестантам удавалось «утечь» именно с дороги, воспользовавшись малочисленностью конвоя, усталостью, беззаботностью и корыстолюбием конвойных солдат. На ночлегах по дороге обычно царила суeta, и колодники этим умело пользовались. Солдат-охранник Анофрий Карпов, сопровождавший партию арестантов из Нижнего в Петербург, так описывает побег двух колодников во время стоянки партии в Химках под Москвой: «В ночи перед светом... стали убираться чтобы ехать, тогда все солдаты, также и колодники, вышли все на двор для впрягания лошадей, а помянутые два человека в то время и ушли, и усмотреть за теснотою в том дворе было невозможно и для сыску оных послал он, Онуфрий, двух человек солдат – Тимофея и Петра (а чьи дети и как прозванием того он, Ануфрий, не знает), которые також ушли и с ружьем, а он, Ануфрий, собрав в той деревне крестьян, искал тех колодников, которые сбежали, также и салдат, в гумнах и близко в той деревне по лесам, а на дорогу за ними в погоню не ездил и никого не посылал для того, что по той дороге [людей], которые попадались во время того иску навстречу спрашивал, которые сказывали, что не видали, а след был со двора на дорогу». На следующий день на мосту у села Медное исчез еще один колодник, Федор Харитонов. Его товарищ по партии арестантов потом показал начальнику охраны, что накануне Харитонов ему говорил: «„Либо-де удавлюсь, либо утоплюсь, а уж-де у меня мочи нет от трудного пути“, – и [он] человек уже старый и потому может быть, что в воду разве не бросился ли». Арестанты бежали по дороге в нужник или во время этапирования, притворялись мертвыми, подкупали охрану. В 1720 году двое конвойных солдат, бежавшие вместе с колодниками по дороге из Нижнего в Москву, а потом пойманные полицией, признались, что отпустили пятерых колодников за 30 руб., один же из «пойманных каторжных утеклевцов» – поп Авраам – на допросе показал, что солдаты отпустили колодников за 37 руб.

Побеги старообрядцев иногда организовывали единоверцы. Зимой 1733 года по дороге в Калязинский монастырь на конвой, который сопровождал старообрядческого старца Антония, было совершено внезапное нападение. Как показали свидетели, недалеко от подмонастырской Никольской слободы «часу в другом ночи нагнали их со стороны незнаемо какие люди, три человека, в двойке, в одних саях, захватили у них вперед дорогу и, скача, с саней один с дубиною и ударил крестьянина, с которым ехал Антоний, от чего крестьянин упал, а другого,

рагатину держа над ним, говорил: „Ужели-де станешь кричать, то-де заколю!“; а старца Антония, выняв из саней, посадили они в сани к себе скованного и повезли в сторону, а куда – неизвестно». Добравшись до ближайшего жилья, охранники подняли тревогу, монастырские слуги и крестьяне гнались по всем дорогам от слободы «верст по сороку, только ничего не нашли», старец Антоний навсегда ускользнул от инквизиции.

Поиски беглого государственного преступника были довольно хорошо отлажены. Как только становилось известно о побеге, во все местные учреждения из центра рассылали так называемые «заказные грамоты» с описанием примет преступника и требованием его задержать. Преступников ловили особые агенты – сыщики. Для поисков проповедника Григория Талицкого, бежавшего перед арестом, летом 1700 года из Преображенского приказа, сыщиков разослали по всей стране. Отличившегося сыщика ждала колоссальная по тем временам награда – 500 руб. Надо думать, что в поисках преступника сыщики опирались на обширный опыт поимки беглых крепостных крестьян, холопов, посадских. Он накопился со времен утверждения крепостничества и был весьма действен. На вооружении сыщиков были известные, опробованные методы и приемы ловли беглых. Главное внимание уделялось коммуникациям, возможному направлению побега. Сразу же после побега предписывалось «заказ учинить крепкой и по большим, и по проселочным дорогам, и по малым стешкам, и на реках, и на мостах, и на перевозех, и в ыных приличных местех поставить заставы накрепко с великим под[т]верждением, чтоб они тех людей» ловили.

О бежавшем в 1754 году за границу секретаре Дмитриии Волкове сообщалось всем представителям России: «Оной секретарь Волков приметами: роста среднего, тонок, немного сутоловат, около двадцати шести лет, лицом весьма моложав и продолговат, борода самая редкая и малая, волосы темнорусые и носил их обыкновенно в косе, брови того же цвета; глаза серые, в речах гнусит, иногда гораздо заикается, голос толстоватый, говорит по-французски и по-немецки, а на обоих сих языках пишет весьма изрядною рукою». А вот другой пример: «Таскающийся по миру бродяга Кондратей, сказывающейся Киевским затворником росту среднего, лицом бел, нос острой, волосы светлорусые, пустобород, отроду ему около тридцати пяти лет, острижен по-крестьянски и ходит в обыкновенном крестьянском одеянии, а притом он и скопец». Таким был в 1775 году словесный портрет знаменитого основателя скопческого движения Кондратия Селиванова. По подобным приметам поймать беглого преступника было возможно.

Талицкого поймали уже через два месяца. Больше пришлось повозиться с поисками другого беглого преступника – стрельца Тимофея Волоха. Из дела видно, что всесильный судья Преображенского приказа Ф. Ю. Ромодановский был уязвлен побегом Волоха и сам многократно допрашивал его родственников, давал указы о его поимке в те места, где бывал до ареста Волох и куда он мог, по расчетам сыска, вернуться, рассылал заказные грамоты с описанием примет преступника по многим городам страны, сам осматривал всех задержанных подозрительных людей. И в конце концов через два года Ромодановский все-таки достал Волоха. Его удалось захватить на Волге, в Саратове.

Скрыться в городе (кроме Москвы, изобиловавшей притонами) или деревне беглецу было довольно сложно. В воротах городов и острогов стояла стража, проверявшая пеших и конных. Каждый домохозяин обязывался сообщать в полицию о своих постояльцах. В сельской местности царила довольно закрытая от посторонних общинная система. Появление нового человека в общине становилось заметным событием, о котором быстро узнавал приходской священник, считавшийся почти штатным доносчиком. Помещик также отказывался принимать беглецов, чтобы его не обвинили в Тайной канцелярии как укрывателя и сообщника преступника.

В петровское время внутри страны установился довольно жесткий полицейский режим. С 1724 года запрещалось выезжать без паспорта из своей деревни дальше чем на 30 верст.

Паспорт подписывал местный воевода или помещик. Все заставы и стоявшие по деревням солдаты тотчас хватали «беспашпортного» человека. Действовать так им предписывали инструкции. В каждом беглом подозревали преступника. А если у задержанного находили «знаки» – последствия казни кнутом, клеймами или щипцами, – разговор с ним был короток, что бы арестованный ни говорил в свое оправдание.

Бежать на Урал и в Сибирь в одиночку было очень трудно. Как показывают исследования о старообрядцах, переселение в Сибирь и другие места требовало долгой подготовки: нужен был опытный проводник, предварительная разведка и подготовленные перевалочные базы. Так же непросто было достичь западных (польской или шведской) границ и перейти их, опередив разосланные во все концы заказные грамоты с описанием примет беглеца. Без подорожной для передвижения внутри страны и без заграничного паспорта сделать это было почти невозможно. Из дела 1755 года старообрядческого монаха Исаакия видно, что надумавшие бежать за границу старообрядцы предварительно запаслись у знакомого московского «гридоровального» мастера Василия Кудрявцева фальшивыми паспортами с фальшивыми же печатями Яицкого войска – иначе до границы добраться им было невозможно. У того же московского умельца старообрядцы купили еще сто бланков паспортов, чтобы отвести их на Ветку – известное поселение старообрядцев в Белоруссии, на границе с Россией, «дабы, – как показали пойманные вскоре беглецы, – снабжать ими тамошних раскольников, у которых будут здесь (то есть в России. – Е. А.) какие-нибудь нужды». Добыть же паспорт беглецу без связей было нереально.

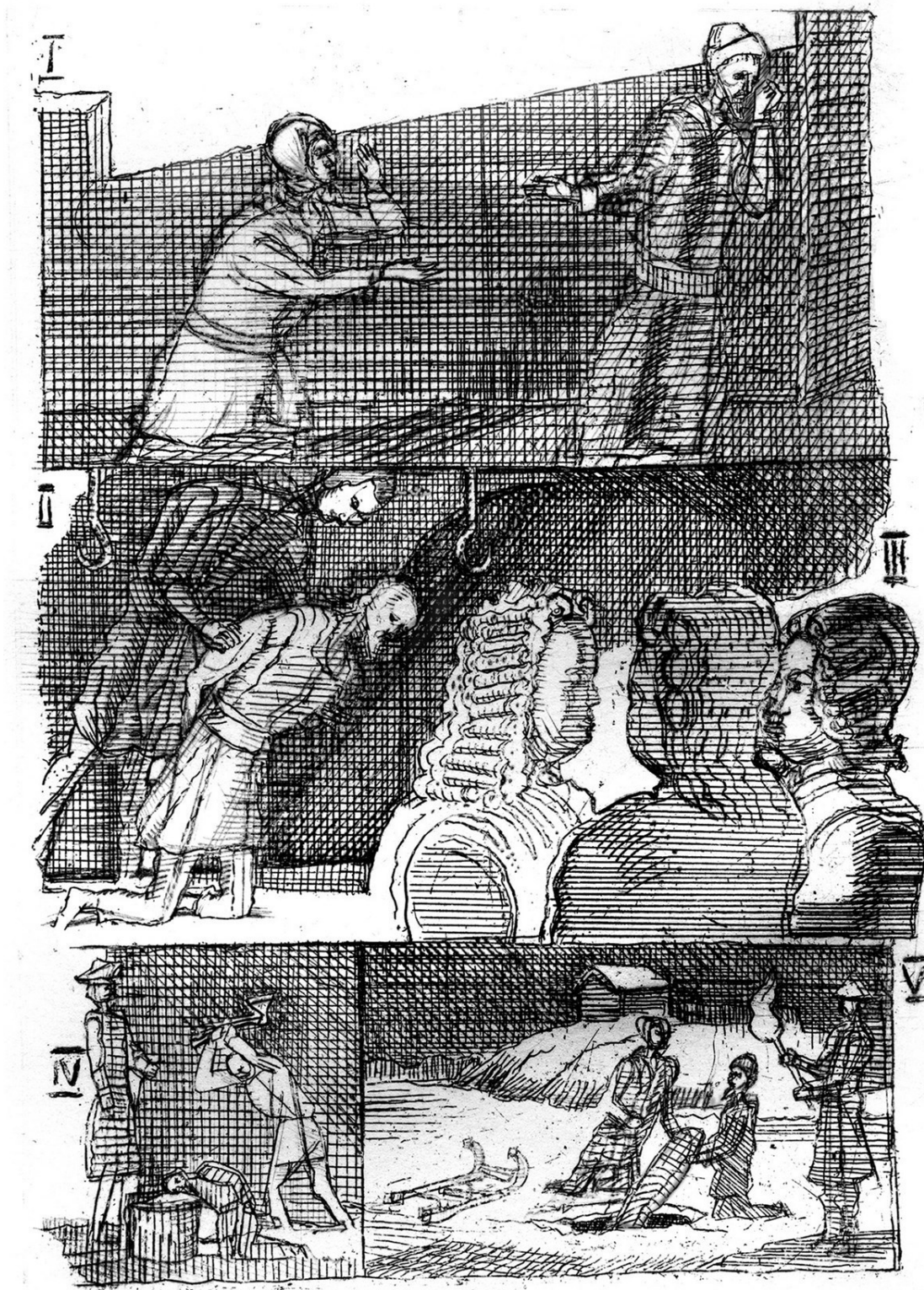
Чтобы нелегально перейти границу (обычно – в ночное время), нужно было хорошо знать местность или брать с собой проводников из приграничных жителей, которые за свои услуги требовали денег, и немалых, а иногда и выдавали беглеца страже – ведь они подчас сотрудничали с пограничными властями, получая от них разные льготы и послабления. Поэтому неудивительно, что в 1710 году за Смоленском бежавших из Москвы пятерых шведских пленных «признали (местные. – Е. А.) мужики, что они иноземцы» и пытались их повязать. В завязавшейся стычке шведы применили оружие, погибло трое крестьян. Беглецов задержали, и по приговору царя трое из них были казнены, а двое сосланы в Сибирь.

Чтобы бежать на юг или юго-восток, к донским, яицким казакам, нужно было переправляться через броды и перевозы, кишевшие шпионами, миновать в степи разъезды пограничной стражи и избежать встреч с кочевниками, которые могли оставить пленного у себя как раба, продать воеводе пограничной крепости или отправить его в цепях на продажу в Кафу или Стамбул.

Даже оказавшись за границей, беглец, особенно знатный, не мог быть спокоен. Русские агенты всюду его разыскивали, а Коллегия иностранных дел рассылала официальные ноты о выдаче беглого подданного.

Словом, в рассматриваемое время власть обладала многими приемами обнаружения, слежки, контроля за действиями подозреваемого в государственном преступлении. С давних пор практиковалась перлюстрация и использовались приемы провокации, методы внезапных, ошеломлявших арестованного действий, в том числе допросов по свежим следам. В руках политического сыска были также разнообразные проверенные практикой способы и средства задержания преступников, предупреждения их побегов и возможного сопротивления. Умели довольно надежно изолировать и этапировать арестованных в столицу. Побег же их с пути были весьма затруднены. Благодаря традиционной и очень развитой системе выслеживания и поимки беглых крепостных и холопов задержание беглого государственного преступника не было неразрешимой проблемой для властей. Этому способствовали также традиции общинной жизни, распространенное доноительство и боязнь его, повсеместная поголовная перепись населения, размещение войск в сельской местности с правом контроля за местными жителями, паспортная система, вся обстановка усилившегося при Петре I этатизма и полицейского

режима. В XVIII веке почти всюду до беглого дотягивались длинные руки власти. Одним словом, велика Россия, а бежать некуда.



В 1737 году в Москве произошла необыкновенно драматичная история с двумя братьями, Иваном и Кондратием Павловыми, принявшими старообрядчество. Иван решил пострадать за старую веру и сам пошел в Тайную канцелярию, до Преображенского приказа его провожала жена Ульяна. Иван уговаривал ее пойти с ним до конца, но когда жена отка-

залась, то ругал ее и «что с ним не пошла плакал». На допросе же Иван утверждал, что жена его давно умерла. Когда сыск отыскал женичину и заставил ее признаться в том, что муж звал ее с собой в Преображенское, Иван стал выгораживать Ульяну. Он сказал, что не звал ее, что она «старую веру содержала некрепко, потому, что пивала хмельное, чего ради делами своими умерла». Но следом признался в главном: «более-де думал он, ежели о жене своей покажет, что она жива, то-де возмут ее за караул».

Его утешал священник, который ставил в пример Ульяну, быстро раскаявшуюся в своих заблуждениях. Конец Ивана трагичен: в январе 1739 года караульный донес, что тот «сделался болен». Но умереть спокойно ему не дали. Судьбу Павлова, именем императрицы, решили кабинет-министры А. И. Остерман, А. М. Черкасский и А. П. Вольнский: «Отсечь ему голову, а потом мертвое его тело, обшив в рогожу, бросить в пристойном месте в реку». 20 февраля Павлова убили, а тело тайно спустили под лед. Тайные казни старообрядцев были фактическим признанием бессилия перед убеждениями страдающих за старую веру, которые с радостью шли на свою Голгофу. Через месяц после убийства Ивана от пыток умер его брат Кондратий.

Глава 5. «Роспрос»

Судопроизводство до XVIII века осуществлялось в двух основных видах: через *суд* и через *сыск*. Суд предполагал состязательность сторон, более или менее равных перед лицом арбитра-судьи. Стороны могли представлять судье доказательства в свою пользу, оспаривать показания противной стороны, делать заявления, иметь поверенного, который, не обладая, в отличие от современного адвоката, самостоятельным статусом, выступал как представитель, дублер стороны в процессе.

Со времени Уложения процессуальное право в России развивалось не по пути усиления принципа состязательности, а иначе – через усиление роли сыска – следственного (инквизиционного) процесса, который применялся и в отношении интересующих нас политических преступлений. По мере усиления сыскного начала судья принимает «на себя многообразные функции следователя, прокурора и вершителя самого процесса», а «интересы частных лиц в нем уступают интересам государства, суд здесь переходит в дознание, прения сторон – в роспрос». Целью же «роспроса» становится получение (часто под пыткой) признания, в котором видели «царицу доказательств». Как писал Н. Н. Ланге, при сыске никто не занимается решением главной проблемы состязательного суда: виновен или невиновен? Рассматривается только вопрос о том, подвергать заведомо признанного виновным пытке или нет.

Рассмотрим весь процесс политического сыска, начиная со стадии «*роспроса*». Уже на этой стадии сыскного процесса начинаются различия с нормами права состязательного суда. Извetchика по политическому делу, в отличие от челобитчика в общеуголовном или гражданском процессе, сразу же арестовывали и сажали в тюрьму. Так же поступали с ответчиком и указанными извetchиком свидетелями. Поэтому в сыскном процессе попросту отсутствовали процедурные проблемы с передачей в суд челобитной, извещением ответчика, вызовом свидетелей. Все участники дела сидели в колодничьих палатах сыскного ведомства; чтобы они предстали перед следствием, нужно было только кликнуть дежурного офицера охраны, и тот приводил колодников из темницы.

При этом, естественно, существовали свои бюрократические правила, которыми руководствовался политический сыск и которые заменяли нормы процессуального кодекса обычного суда. Доношение, поступившее в сыскное ведомство из другого учреждения, приобщалось к делу, его краткое содержание записывалось в книгу входящих дел старшим из присутствующих секретарей или канцеляристов. На доношении делалась помета: «Подано ... (дата. – Е. А.), написано в книгу, принять и роспросить». Последнее слово относилось к тем людям, которые уже сидели в тюрьме. Так начинался *розыск*. Этот важный в данной книге термин имеет два основных значения. В одном случае «розыском» назывался весь следственный процесс в сыскном ведомстве: с первого допроса и до вынесения приговора по делу. Во втором случае (и этим понятием пользовались чаще) под «розыском» подразумевали ту часть расследования дела, которая проводилась до начала пытки. В этом случае розыск назывался «*роспросом*» – допросом без пытки.

Первым на «роспрос» приводили *извetchика*. Вначале он (как потом и ответчик, и свидетели) давал присягу и «по заповеди святого Евангелия и под страхом смертной казни» клялся на священной книге и целовал крест, обещая, что намерен говорить только правду, а за ложные показания готов нести ответственность вплоть до смертной казни. Затем извetchик отвечал на пункты своеобразной анкеты: называл свое имя, фамилию или прозвище, отчество (имя отца), социальное происхождение («из каких чинов») и состояние, возраст, место жительства, вероисповедание (раскольник или нет). Вот начало типичного протокола Тайной канцелярии: «1722 года октября в... день, Ярославского уезда Городского стану крестьянин Семен Емельянов сын Кастерин распрашиван. А в роспросе сказал: зовут-де его Семеном, вотчины Семена

Андреева сына Лодыгина Ярославского уезду, Яковлевской слободы крестьянской Емельянов сын Козмина сына Кастерина, и ныне живет в крестьянех; от рождения ему, Семену, пятьдесят лет и измлада прежде сего крестился он троеперстным сложением...».

Далее в протокол вписывалась суть извета, начинавшаяся словами «Государево дело за ним такое...». В конце протокола изветчик расписывался. Если вначале писали черновик «ропроса», то подпись ставилась позже, уже на беловике. За неграмотного участника сыскного процесса расписывался по его просьбе кто-нибудь другой, естественно, не из числа оставшихся на свободе. Чаще всего им был один из колодников или из подъячих сыскного ведомства: «К подлинным роспросным речам, вместо Гаврила Ферапонтова, по его велению, Степан Пагин руку приложил».

Рассмотрим начало сыскного дела по обычному политическому доносу. Итак, перед следователями стоял изветчик. Было бы ошибкой думать, что его принимали в сыском ведомстве с распростертыми объятиями, а если и принимали так, то все равно сажали в тюрьму, допрашивали и пытали. За ним устанавливался тщательный присмотр, рекомендовалось обходиться с ним внимательно, но без особого доверия. В главе о доносе сказано об «изменном деле» 1733 года смоленского губернатора А. А. Черкасского. Отправленный в Смоленск генерал А. И. Ушаков повез с собой изветчика Федора Миклашевича, которому предстояло уличать Черкасского в преступлениях. В инструкции, данной Ушакову, об изветчике сказано особо: «С доносителем Миклашевичем подтверждается вам поступать со всякою ласкою, дабы он в торопкость не пришел, и держать его всегда при себе, однакож пристойным и тайным, и искусным образом надзирать, чтоб он не ушел, обнадеживая его часто нашим все милостивейшим награждением».

Инструкция Ушакова отражает своеобразное и крайне неустойчивое положение изветчика в политическом деле: с одной стороны, он был необходимейшим элементом сыска (без него дело могло полностью развалиться, что и бывало не раз) и находился под защитой закона и власти, а с другой – при неблагоприятном для изветчика ходе розыска он сам подвергался преследованию. Доказать извет – вот что являлось, согласно законодательству, главной обязанностью изветчика. Поэтому он еще назывался «*доводчиком*», так как должен был «*довести*», доказать свой извет с помощью фактов и свидетелей. От изветчика требовалась особая точность в изложении фактов доноса, то есть в описании преступной ситуации или при передаче сказанных ответчиком «непристойных слов». Неточное, приблизительное изложение изветчиком «непристойных слов» (а также неточное указание места и обстоятельств, при которых их произносили) рассматривалось не просто как ложный извет, а как новое преступление – произнесение «непристойных слов» уже самим изветчиком. Считалась «подозрительной» также попытка уточнить свой донос (новые показания назывались «переменными речами»), что вело изветчика к пытке.

В приговоре Тайной канцелярии 1732 года о доносчике Никифоре Плотникове сказано: верить его извету нельзя, потому что он на ответчика после доноса показал «прибавочные слова». В итоге извет был объявлен ложным, Плотников бит кнутом и сослан в Охотск. Примечательно, что его наказали несмотря на то, что часть сказанных им «непристойных слов» ответчик все-таки признал.

Нелегко было изветчику, если он слышал «непристойные слова» без свидетелей, не мог представить верных доказательств в свою пользу, а ответчик при этом «не винулся», то есть не признавал правильность доноса. В этом случае истинность доноса изветчику приходилось доказывать под пыткой. В гораздо лучшем положении был изветчик, который мог указать на свидетелей, которые слышали «непристойные слова». Но и здесь позиция изветчика могла стать уязвимой из-за неблагоприятных для него показаний названных им же свидетелей. Соборное уложение 1649 года, как и другие законодательные акты, требовало идентичности

показаний изветчика и его свидетелей. Даже тень сомнения лишь одного из свидетелей в точности извета сводила подчас на нет все показания других свидетелей и самого изветчика.

Так, в частности, в 1732 году постановил Ушаков о целовальнике Суханове, извет которого не подтвердили свидетели, да и к тому же, как было сказано в постановлении Ушакова, «в очной ставке с оным Шевыревым (свидетелем. – Е. А.) показал переменные речи». А наказанием за ставший, таким образом, ложным извет, в зависимости от степени «непристойности» возведенных на ответчика слов, могли быть плети, кнут и даже смертная казнь. Следует вновь напомнить читателю, что «недоведенный» извет означал только одно: изветчик в процессе извещения властей о преступлении не просто солгал, а сам *затеял* (или «*вымыслил собой*») те самые «воровские затейные слова», которые он приписал в своем извете ответчику.

Что же ждало счастливого изветчика, то есть того, чей донос оказывался «доведенным», подтвержденным свидетелями и признанием ответчика? Когда по ходу следствия становилось ясно, что извет «небездельный», основательный изветчик получал послабления: его освобождали от цепи, на которой он мог как участник дела сидеть, сбивали ручные или ножные кандалы или заклепывали в кандалы полегче. Потом его начинали выпускать на волю под «знатную расписку» или на поруки. Он должен был «до решения о нем дела... без указу его и. в. ... никуда не отлучаться», обещался «не съехать» из города. Регулярно или ежедневно («по вся дни») он отмечался в Тайной канцелярии. Перед выходом на свободу изветчик давал расписку, даже иногда присягал на Евангелии о своем гробовом молчании «под страхом отнятия ево живота» о том, что он видел, слышал и говорил в стенах сыска.

Перед освобождением изветчика о нем на всякий случай наводили справки, «не коснулось ли чего до него»: не числится ли за ним каких старых преступлений, не был ли он ложным изветчиком, не подозрительный ли он вообще человек? И после этого следовала резолюция, подобная той, что мы встречаем в деле 1767 года доносчика монаха Филарета Батогова: «Нашелся правым и по делу ничего до него, Батогова, к вине его не коснулось».

При выполнении всех этих весьма непростых условий удачливый изветчик выходил из процесса, поэтому с таким счастливецом простимся до окончания всего сыска дела. По закону и решению начальника сыска он получал свободу и награду «за правой донос».

После изветчика в «ропрос» попадал *ответчик*. Ответчиком считался и тот, на кого донес изветчик, и тот, кого обвиняли в государственном преступлении даже при отсутствии формального извета. Число ответчиков не регламентировалось. Известен случай, когда возникла проблема с доставкой из Москвы в Петербург тридцати (!) ответчиков по одному делу.

Приведенного на допрос ответчика, как и ранее изветчика, сурово предупреждали об особой ответственности за ложные показания и тут же брали с него расписку – клятву. В 1742 году Б. Х. Миниха перед ответом на «вопросные пункты» заставили расписаться в том, что «ему, Миниху, от Комиссии объявлено, что о всем том, о чем он будет спрашиван, чисто, ясно и по самой сущей правде отвечать имеет, буде же хотя малое что утаит и по истине не объявит, а в том обличен будет, то без всякаго милосердия подвергает себя смертной казни...».

Ответчика так же, как и изветчика, допрашивали по принятому в сыском делопроизводстве формуляру, пытаясь уже с помощью первых вопросов выяснить, что представляет собой этот человек. Его спрашивали о происхождении, о вере, о возможной причастности к расколу, о прежней жизни. В 1733 году в Тайной канцелярии допрашивали иеромонаха Иосифа Решилова, обвиненного в составлении подметного письма. Допрос Решилова начался с обещания «за ложь жестокого телесного наказания, то есть в надлежащем месте пытки, а потом и смертной казни». После этого ответчика спросили: «Рождение твое где и отец твой не стрелец ли был, и буде стрелец, котораго полку и жив ли, и где начальство имеет и в каком чина ныне звании, или из родственников и свойственников твоих кто в стрельцах не был ль, и буде были, кто именно и как близко в родстве или свойстве тебе считались?» Так уже в начале «ропроса» следователи пытались найти социальные и родственные связи Решилова со старой оппозицией

Петру и выявить его «вредное нутро». Если же в ходе допроса следователи оказывались недовольны показаниями ответчика, то именем верховного правителя они предупреждали ответчика о печальных последствиях его неискренних показаний, точнее, о неизбежной при таком повороте событий пытке: «Буде же и ныне по объявлении тебе, Прасковье, е. и. в. высокого милосердия о вышепоказанном истинны не покажешь, то впредь от е. и. в. милосердия к тебе, Прасковья, показано не будет, а поступлено будет с тобою, как по таким важным делам с другими поступается». Так была передана княжне Юсуповой в 1735 году воля императрицы Анны.

В сыском процессе ответчик оказывался в неравном с изветчиком положении, поскольку не мог ознакомиться с содержанием извета и выстроить линию своей защиты. О сути обвинений он узнавал непосредственно на допросе. В этом состояло существенное расхождение сыского процесса с нормами процессуального права, принятыми в состязательном суде.

После первоначального допроса ответчика сыской процесс шел в основном по одному из двух путей. При первом варианте ответчик сразу признавался и подтверждал произведенный на него извет. Так часто бывало, когда люди кричали «слово и дело» «с пьяну», «с дуру», «с недомыслия». Потом протрезвевший («истрезвьясь») или одумавшийся ответчик сразу же начинал каяться в содеянном, хотя, конечно, признания ответчика не освобождали его от пыток (см. следующую главу).

Чаще процесс шел по второму, более сложному пути, когда показания изветчика и ответчика, а нередко и свидетелей не совпадали. Ответчик мог «запираться» («в говорении означенного не винулся») или признавал обвинения лишь отчасти. Часто бывало, что ответчик признавался в говорении «непристойных слов», но при этом уточнял, что, произнося эти слова, он имел в виду что-то другое, во всяком случае не то, о чем донес изветчик, неверно интерпретируя его слова как оскорбление чести государя. В другом случае ответчик, соглашаясь в целом со смыслом переданных изветчиком «непристойных слов», настаивал на том, что сказанное не было в столь грубой и оскорбительной форме, как это подает в своем доносе изветчик.

Все эти уточнения следователи называли «*выкрутками*». В 1718 году киевлянин Антон Наковалкин сказал своему спутнику подьячему Алексею Березину: «По которых мест государь жив, а ежели умрет, то-де быть другим». Березин донес на Наковалкина в Тайную канцелярию. На допросе Навалкин объяснил свою фразу так: «Ныне при ц. в. все под страхом и мо[гут] быть твердо, покамест е. ц. в. здравствует, а ежели каков грех учинится и е. ц. в. не станет, то может быть, что все не под таким будут страхом, как ныне при его величестве для того, что может быть, что он, государь царевич Петр Петрович будет не таким что отец его, его величество». Так Наковалкин формально признал извет, но трактовал сказанное им как нечто весьма похвальное Петру I. Но «выкрутка» мало помогла Наковалкину: его пороли за саму тему разговора – как известно, рассуждать о сроке жизни государя было запрещено.

«Выкрутки» усложняли и затягивали расследование: формальная сторона дела (в данном случае – установление буквальной точности сказанного «непристойного слова») требовала дополнительных допросов и справок. Поскольку в те времена не существовало презумпции невиновности, то ответчику предстояло самому доказывать свою невиновность даже в том случае, когда изветчик оказывался бессилён в «доведении» извета. Конечно, у ответчика была возможность представить свидетелей своей невиновности, но анализ политических дел за длительный период убеждает, что в политическом процессе свидетелями выступали преимущественно люди, представленные изветчиком, шире – обвинением, и только в том случае, когда они отказывались признать извет, их можно условно причислить к свидетелям ответчика.

Следователи стремились по возможности быстрее достичь результата, а именно признания ответчиком своего преступления и вины, для чего оказывали сильное психологическое давление на обвиняемого, стремились сбить его с толку, разрушить обдуманную им систему защиты, привести в замешательство, запутать.

Во-первых, действуя от имени верховной власти, следователи запугивали допрашиваемого, обещая за малейшую ложь «жестокое и примерное наказание как за величайшее злодеяние». Во-вторых, они грубо обращались с ответчиком, например называя дворянина на «ты», что считалось унижительным. В серии вопросов, которые задавал Шешковский в 1792 году Н. И. Новикову в Тайной канцелярии, вежливость в обращении (на «вы») выдержана только до тех вопросов, которые касаются «оскорбления чести е. и. в.». Эти вопросы уже задаются с подчеркнутой грубостью, на «ты»: «Взятая в письмах *твоих* бумага, которая *тебе* показывана, чьею рукою писана и какой конец она сохранилась у *тебя*?» Следователи утверждали, что им и так, без допроса, все хорошо известно и что от ответчика требуется только признание вины. Так допрашивали в 1774 году Кильтфингера и других приближенных принцессы Владимирской – княжны Таракановой. Им было сказано, что «обстоятельства их жизни уже известны следствию, следовательно, всякая ложь с их стороны будет бесполезна, и [что] все средства будут употреблены для узнания самых сокровеннейших тайн и поэтому лучше всего рассказать с полным откровением все, что им известно, это одно может доставить снисхождение и даже помилование».

При допросе не фиксировались невыгодные для следствия ответы, поэтому записи допросов в большинстве своем отличаются необыкновенной гладкостью и не содержат ничего, что противоречило бы замыслу следствия. Они никогда не содержат сколько-нибудь убедительных аргументов подследственных в их пользу, зато часто ограничиваются дежурной фразой отказа от признания вины: «Во всем том запырался». Из рассказа А. П. Бестужева, сообщенного им уже после возвращения из ссылки, видно, как достигалась «гладкость» и подозрительная простота записей допросов государственного преступника. Как писал Бестужев, следователь по его делу 1758 года Волков «многие ответы мои, служившие к моему оправданию, записать отрекался и их не принимал, а которые ответы бывало заблагорассудит записать и по многим спорам перечерчивать, но те черновые ответы не давал мне читать, прочитывал только сам и давал мне подписывать, но не под всяким пунктом, но только внизу».

В промежутке между допросами ответчика следователи работали над документами, сопоставляли показания, внимательно читали взятые из дома преступника письма, рассматривали пометы на полях, изучали конспекты в поисках криминала. Все это делалось, чтобы в одних случаях действительно выявить истину, уточнить конкретные обстоятельства дела, а в других – найти какую-то зацепку в показаниях ответчика, использовать для этого малейшую обмолвку подследственного. В 1732 году у арестованного Казанского митрополита Сильвестра изъяли все его бумаги. Особое внимание следователей привлекли пометы в тетради, где была записана история о белом клобуке во времена Древнего Рима – этой святыне православия. Из помет следовало, что Сильвестр недоволен запрещением Петра I носить клобук церковным иерархам. Однако Сильвестр отвечал, что помета эта «не к поношению чести государыни (имелась в виду Анна Ивановна. – Е. А.), ниже злобствуя, но токмо укоряя римлян». Если эту трактовку пометы следователи признали, то уж против «укорительных» пометок на тексте указа Петра о монастырях Сильвестру сказать в свое оправдание было нечего, и в «роспросе» он покаялся: «Сделал то от неразумения своего, а не по злобе и не к поношению е. и. в.», но этому оправданию уже не поверили.

В наиболее важных делах следствие допрашивало ответчика (а иногда и свидетелей) по определенной схеме, по заранее составленным «вопросным пунктам». Возникали такие «вопросные пункты» на основе данных извета, изъятых у преступника документов, затем их пополняли вопросами, навеянными показаниями ответчика и других участников процесса. Все крупные политические дела не обходились без этих подчас пространств списков вопросов. При ведении крупных политических дел «вопросные пункты» (или «пункты к допросу», «апробованные пункты», «генеральные пункты») составляли сами монархи или наиболее влиятельные при дворе люди. И по форме, и по существу вопросы имели заметный обличительный

уклон, их авторы сразу же требовали от ответчика признания, раскаяния и изложения подробностей преступления с перечислением всех сообщников. В делах же ординарных, «неважных» вопросные пункты составляли в Тайной канцелярии, и они во многом были трафаретны. С годами сложилась определенная техника писания «вопросных пунктов». Каждый пункт, как записано в одной из рекомендаций следователям, «больше одного обстоятельства [дела] в себе не содержал», с тем чтобы допрашиваемый не путался и не вносил неясности в расследование, или, как тогда писали, «дело с делом смешал». «Роспрос» шел последовательно «от пункта к пункту», при необходимости прерывался, чтобы провести обновление, дополнение списка вопросов.

В ответе обычно воспроизводился сам вопрос (составленный нередко на основе буквального повторения извета), интерпретированный либо как согласие, либо как отрицание ответчика. Письменные ответы на «вопросные пункты» не отличались большим разнообразием и мало что давали для уточнения позиции ответчика, который на допросе, в сущности, говорил «да» или «нет».

Массовые следственные действия во время восстаний приводили к составлению единых, типовых вопросов, на которые отвечали десятки и сотни политических преступников. Так допрашивали стрельцов во время Стрелецкого розыска 1698 года. Вопросы к следствию по их делу были написаны самим Петром I, который их позже уточнял. Опыт работы Секретной комиссии с тысячами пугачевцев, взятых в плен в середине июля 1774 года, побудил начальника секретной комиссии генерала П. С. Потемкина пересмотреть утвержденную ранее систему допросов и выработать обобщенную инструкцию – вопросник, который он составил и послал следователям. Каждому из взятых в плен пугачевцев задавали семь вопросов, целью которых было установить степень причастности человека к бунту, а также выявить истинные причины возвышения Пугачева.

Письменные (собственноручные) ответы ответчик писал либо в своей камере – для этого ему выдавали обычно категорически запрещенные в заключении бумагу, перо и чернила, либо (чаще) сидя перед следователями, которые, несомненно, участвовали в составлении ответов, «выправляли» их. Часто ответы со слов ответчика писали и канцеляристы. Они располагали вопросы в левой части страницы, а ответы, как бы длинны они ни были, напротив вопросов – в правой части. Вначале составлялся черновой вариант ответов, который потом перебелили. Именно белой вариант ответчик закреплял своей подписью. Юлиана Менгден в 1742 году подписала: «В сем допросе сказала я самую сущую правду, ничего не утая, а ежели кем изобличена буду в противном случае, то подлежу е. и. в. высочайшему и правосудному гневу».

В 1767 году Арсений Мациевич не ограничился подписью, а сделал дополнение, подчеркивая то, что следователи нечто умышленно не учли при записи его показаний: «И в сем своем допросе он, Арсений, показал самую истинную правду, ничего не утаил, а естли мало что утаил или кем в чем изобличен будет, то подвергает себя смертной казни, а притом объявляет, что архимандрит Антоний и вся братия Николаевского Корельского монастыря пьяницы и донос на него, Арсения, для того делают, чтоб его выжить из монастыря, а им свободнее пить».

В документах «роспроса» встречаются такие выражения: «*порядочно допрашивать*», «*уведещать*», «*устрашать*». Это не эвфемизмы пытки, а лишь синоним психологического давления следователей на допрашиваемого, которого старались уговорить покаяться, припугнуть пыткой («распросить и пыткой постращать»), пригрозить страшным приговором в случае его молчания или «упрямства». Под понятием «*уведещать*» можно понимать и ласковые уговоры, обращения к совести, чести преступника, и пространные беседы с позиции следования логике, здравому смыслу, и попытки переубедить с точки зрения веры. Были попытки вступить с подследственным в дискуссию (что особенно часто делали в процессах раскольников). Уве-

щевания делались как в начале «роспроса», так и в ходе его, и особенно часто – в конце, когда все непыточные способы добиться признания или показаний оказывались уже исчерпанными.

Наиболее частыми увещателями выступали священники. Они «увещевали с прещением (угрозой. – Е. А.) Страшного суда Божия немалою клятвою», чтобы подследственный говорил правду и не стал виновником пытки невинных людей, как это и бывало в некоторых делах. Для верующего, совестливого человека, знающего за собой преступление, это увещевание становилось тяжким испытанием, но многие, страшась мучений, были готовы пренебречь увещеванием и отправить другого на пытку. В истории 1755 года с помещицей Марией Зотовой, обвиненной в подлоге, так и произошло. Во время увещевания она отрицала свою вину, несмотря на пытки ее дворовых, но после угрозы ее пыток признала вину, и «тяжкие истязания пытками, к которым помянутая вдова Зотова чрез тот свой подлог привлекла неповинных», привели ее к более суровому наказанию, чем предполагалось поначалу.

При увещевании священнику категорически запрещалось узнавать, в чем же суть самого дела, из-за которого упорствует в непризнании своей вины его духовный сын. Все сказанное во время увещевания и исповеди священник должен был сообщать следователям. Когда арестованный в 1740 году по делу Бирона А. П. Бестужев-Рюмин и его жена попросили прислать к ним священников (православного – мужу и пастора – жене), то охране предписали святым отцам «накрепко подтверждать, что ежели при том он, Бестужев или же она, жена его, о каких до государства каким-либо образом касающихся делах, что говорили, то б они то по должности тотчас объявили, как то по указам всегда надлежит».

Увещевания старообрядцев в политическом сыске были очень частым явлением. Власти хотели морально сломить старообрядцев, убедить в бесполезности их сопротивления великой силе государства и официальной церкви. Церковь и сыск считали своей победой не просто сожжение раскольника, но его раскаяние в заблуждении и самое главное – обращение к официальной вере. Подчас против воли следователей такие увещевания превращались в жаркую дискуссию о вере.

Не брезговали в политическом сыске и *шантажом*, особенно если речь шла о родственниках упорствующего преступника. В 1741 году в указе Э. И. Бирону сказано: «А ежели хотя малое что утаите и в том обличены будете, тогда как с вами, *так и с вашею фамилиею* поступлено будет без всякого милосердия». Императрица Елизавета в 1748 году пыталась запугать Лестока тем, что обещала «в город посадить с женою и разыскивать вас всех повелела». Позже следователи допустили к Лестоку жену, но только для того, «чтобы она тово своего мужа увещала, дабы он о чем был в Тайной канцелярии спрашиван, показал сущую правду».

Люди, видя, как допрашивают их близких, находились в сложнейшем положении. По многим сыскным делам видно стремление допрашиваемых выгородить, «очистить от подозрений» своих детей, жен, родственников, просто более юных и слабых, тех, «кого жалче». Во время дела 1704 года товарищи по тюрьме извetchика крестьянина Клина Ефтифеева рассказывали следователям: как только он увидел, что в приказ привезли его жену и молоденькую сноху, то сказал, что готов отказаться от извета: «Теперь-де мне пришло, что приносить повинную. Пропаду-де я один, а жену и сына не погублю напрасно». Обвиненная в 1743 году в заговоре с австрийским посланником де Боттой Н. Ф. Лопухина на очной ставке с собственным мужем С. В. Лопухиным выгораживала его, ссылаясь на тот бесспорный факт, что обо всех делах с посланником она разговаривала по-немецки, а с этим языком ее муж незнаком.

Однако не всегда жалость и любовь могли устоять перед физическими муками. Люди на допросах и в пытках признавались, что не донесли или «не показали» на родственников и друзей, «*жалая их...*». В 1732 году посадский человек Никита Артемьев со второй пытки «винился в сказывании „непристойных слов“». Он показал на... вдову Татьяну, в чем и она вдова винулась, почему означилось явно, что намерен был он, Артемьев, о том скрыть, понеже сам показал, что на оную вдову не показывал он, *созжалея ее*».

Однако не следует представлять сыскных чиновников тупыми, примитивными кнута-бойцами. По делам сыска видно, что порой они умели найти тонкий подход к подследственному, внимательно наблюдая за ним во время допросов и пыток, отмечая, как он реагирует на сказанные слова, предъявленные обвинения, как ведет себя перед лицом свидетелей на очной ставке. При допросе в 1732 году монаху Решилову, заподозренному в сочинении подметного письма, дали прочесть это письмо, а потом Феофан Прокопович, ведущий допрос вместе с кабинет-министрами и Ушаковым, записал как свидетельство несомненной вины Решилова: «Когда ему при министрах велено письмо пасквильное дать посмотреть, тогда он первее головою стал качать и очки с носа, моргая, скинул, а после и одной строчки не прочет, начал бранить того, кто оное письмо сочинил».

Вообще, Феофан Прокопович был настоящим русским Торквемадой. Его биограф И. Чистович справедливо писал, что «инструкции, писанные Феофаном для руководства на допросах, составляют образец полицейского таланта»: «Пришед к [подсудимому], тотчас нимало нием для допрашивать. Всем вопрошающим наблюдать в глаза и на все лице его, не явится ли на нем какое изменение и для того поставить его лицом к окошкам. Не допускать говорить ему лишнего и к допросам ненадлежащего, но говорил бы то, о чем его спрашивают. Сказать ему, что если станет говорить „Не упомяну“, то сказуемое непамятство причтется ему в знание. Как измену, на лице его усмотренную, так и все речи его записывать».

Без сомнения, следователи сыска XVIII века не были лишены наблюдательности, неплохо знали человеческую психологию вообще и психологию «простецов» в частности. В инструкции А. И. Бибикова капитану А. М. Лунину, ведущему допросы пугачевцев в 1774 году, рекомендуется применять «методику контраста», чередуя тактику «доброго» и «злого» следователя: «Для изыскания самой истины при исследовании и допросах нужна вам будет вся ваша способность и искусство, чтоб кстати и у места употребить тихость и умеренность или самую строгость и устрашение, дабы узнать представленного пред вас свойство и чистосердечные показания, так равномерно скрытность и коварных, тож и отчаянных и упорных привести на стезю откровенности, изведывая из них истину, а где нужно будет показать им в полной силе все устрашения и строгость».

Дошедшие до нашего времени протоколы и журналы «роспросов» редко передают все своеобразие «бесед», которые вели следователи и ответчики. Лишь временами мы соприкасаемся с живой речью на допросах. Так, эту речь можно «услышать» через века из записи допроса 1777 года самозванца Ивана Андреева генерал-прокурором Вяземским. Андреев – «сын Голштинского герцога» – утверждал, что о своем знатном происхождении он узнал в детстве от олонцкого крестьянина Зиновьева, сыном которого Андреев в действительности и являлся.

Воспроизвожу близкую к прямой речи запись протокола «роспроса» Андреева с некоторыми сокращениями:

[Вяземский]: *«Для чего он себя ложным именем называть осмелился?»*

[Андреев]: *«Крестьянину Зиновьеву не резон врать».*

[Вяземский]: *«Ну, да как крестьянин увидел, что ты – ленивец, то он на смех тебе сказал, что ты принц, а ты так и поверил!»*

[Андреев]: *«Как же ему не верить, ведь он клялся».*

[Вяземский]: *«Ну, совершеннейший ты безумец или, лучше сказать, плут, что ты словам такого же, подобного тебе, шалуна и невежды, веришь, а здесь тебя уверяет генерал-прокурор и другие, что это самая враки и выдуманная ложь с ясными на все твои слова доводами, и также уверяют тебя по закону Божественному, но ты верить не хочешь».*

[Андреев]: *«Воля ваша, что хотите, то делайте, но как крестьянину меня обманывать?»*

[Вяземский]: *«Ты и на попа солгал, будто бы ему объявлял, что ты принц Голишинский, ибо если б ты только в тогдашнее время такую речь выболтал, то б поп тебя, связав, отвел в Тайную, а там бы тебя до смерти засекли... Скажи ты от слова до слова, как тебя крестьянин уверял, что ты принц Голишинский, а самую вещь дурак олонецкий?»*

[Андреев]: *«А когда-де вы мне не верите, то отпустите в мое отечество в Голишинию».*

[Вяземский]: *«В Голишинии-та лишь бы только такой дурак с таким враньем показался, то б тебя камнями прибили как шалуна».*

В итоге «шалун» был отправлен не в Голишинию, а в Шлиссельбург.

Во время «расспросов» применялись и разные специфические приемы, чтобы вырвать у человека нужные показания. П. В. Долгорукий приводит семейное предание о том, что на допросе Александра Долгорукого в Тобольске в 1739 году следователи напоили его пьяным и «заставили рассказывать вещи, губившие семью», после чего молодой человек пытался покончить с собой.

И все же, несмотря на отсутствие презумпции невиновности, обычную предвзятость сыского следствия, «расспрос» в XVIII веке оставался искаженной, но все-таки формой судебного состязания, унаследовал из прошлого элементы состязательного судопроизводства. Подчас столкновение изветчика и следствия с ответчиком становилось схваткой, полной драматизма. Причем ответчик, казалось бы, полностью бесправный, мог умелыми ответами нейтрализовать наиболее опасные для себя вопросы, уйти от особо тяжелых обвинений. Кажется, что так сделал Н. И. Новиков, сумевший при допросах переиграть Шешковского и его помощников, которые чувствовали свою беспомощность перед умным подследственным. После «расспроса» Новикова Екатерина II не решилась передать дело в публичный суд и сама приговорила издателя к 15 годам тюрьмы.

Следование раз и навсегда избранной линии, неизменность в показаниях ответчика не всегда оказывались правильными. Так, если ответчик, несмотря на явные и многочисленные свидетельства против него, упорствовал, «запирался», то вскоре его положение ухудшалось. Для следствия непризнание ответчиком явной, доказанной многочисленными фактами вины означало, что речь идет о «замерзлом злодее», матером преступнике, который не желает склонить головы перед государем, не просит у него пощады за всем очевидные преступления. Это усугубляло тяжесть последующих пыток и наказания.

К суровому наказанию вели противоречивые ответы ответчика на вопросы следствия. Дьячок Семен Копейкин был арестован в 1730-х годах по доносу крестьянина Шкворова в говорении под хмельком «некоторых непристойных слов». На первом допросе Копейкин «заупрямился», утверждая, что никаких «непристойных слов» не говорил и что даже, против обыкновения, был трезв. В очной же ставке с изветчиком он дал другие показания, признав, что был пьян и что не помнит, говорил ли «непристойные слова». Следователи сразу ухватились за противоречия в показаниях и потребовали от Копейкина пояснений. Ответчик сказал, что «сперва в (первом. – Е. А.) расспросе о том не показал он, Копейкин, боясь себе за то истязания». Расхождения в показаниях ответчика и неубедительный, по мнению следствия, ответ на заданный вопрос привели Копейкина на дыбу.

На пытке Копейкин показал, что непристойные слова он действительно говорил Шкворову «в пьянстве своем», но «не таким образом, как означенной Шкворов показал». Следователи, заподозрив в этом «увертку», на очной ставке в застенке допросили Копейкина и Шкворова. Копейкин и этот раунд борьбы проиграл. Он вновь изменил показания: «Означенные непристойные слова говорил он, Копейкин, таким ли образом, как оной Шкворов показал, того он, Копейкин, за пьянством своим, не упомнит, а что-де он, Копейкин, с розыска показал, якобы те непристойные слова говорил он, Копейкин, другим образом, и то-де показал

он, Копейкин, на себя напрасно, не терпя того розыску». Противоречия показаний ответчика привели следователей к выводу, что Копейкин «непристойные слова» действительно говорил и достоин казни. Но поскольку дело шло по разряду «маловажных» и сказанные дьячком слова не были, по-видимому, особенно страшными (содержание их нам неизвестно), то генерал Ушаков решил не проводить «утвердительную» пытку «из подлинной правды» – обычную для полного и безусловного признания меняющего свои показания преступника, а приказал Копейкина бить кнутом и сослать в Охотск, «в работу вечно».

Еще хуже было тому ответчику, который начинал признаваться в том, о чем его первоначально следователи и не спрашивали. Эта слова назывались «*прибавочными речами*». В этот момент допрашиваемый с роковой неизбежностью выступал в роли закоренелого, затаившегося преступника, скрывавшего свои преступления, или же в роли столь же преступного изветчика по делам, о которых, согласно всем известным законам, надлежало доносить куда следует, и как можно скорее. Если бы упомянутый выше Егор Столетов, допрошенный в 1734 году В. Н. Татищевым в Екатеринбурге о его нехождении в церковь и каких-то опасных высказываниях за столом, отвечал только на заданные следователем вопросы, то сумел бы выпутаться из этого дела. Но Столетов вдруг «собою» стал пересказывать Татищеву придворные слухи и сплетни о том, что якобы царица Екатерина Ивановна сожительствовала с его князем Михаилом Белосельским, что Бирон с императрицей «живет в любви, он-де живет с нею по-немецки, чиновно». Запись допроса, по-видимому, привела государыню в ярость: после жестоких пыток Столетову отрубили голову, а Татищев получил строгий выговор за то, что, вопреки указам о предварительном поверхностном допросе преступника, стал выпрашивать у него вещи, которые его, подданного, ушам и слышать не надлежало. Но Татищев и сам не ожидал, к чему приведут его допросы о пропущенных Столетовым обеднях, и очень испугался, услышав откровения ответчика. Это видно по его рапортам в Петербург.

После первого допроса ответчика наступала очередь допрашивать *свидетеля*. Число свидетелей закон не ограничивал. В политическом процессе свидетель играл значительную роль. Естественно, что показания его были важны для ответчика, но все же более всего в них был заинтересован изветчик. Можно без преувеличения утверждать, что отрицательный ответ свидетеля «писали» на спине изветчика. Если ответчик отказывался от извета, а свидетель не подтверждал показаний изветчика, то первым на дыбу, согласно старинному принципу «*доносчику – первый кнут*», попадал сам изветчик. Особая важность показаний свидетелей в политическом процессе приводила к тому, что их арестовывали и содержали в тюрьме наряду с изветчиком и ответчиком (хотя и не вместе). Правда, для высокопоставленных или больных свидетелей делали исключение – их могли допрашивать и на дому.

Идя с доносом, опытный изветчик должен был не просто представить сыску свидетелей преступления ответчика. Он должен был быть уверен в том, что названные им свидетели надежны, что в последний момент они не проявят неосведомленность по существу дела («скажут, что про то дело ничего не ведают»), но, как тогда говорили, «*покажут именно*», то есть единодушно подтвердят его извет в той редакции «непристойных слов», которую он изложил в своем доносе. В 1732 году полной катастрофой для Иконникова закончился его донос на Назинцова: свидетели, на которых «сслася из воли своей» (добровольно) изветчик, показали не то, что он сообщил в доносе, и его обвинили в ложном извете.

Допрашивали свидетелей «каждого порознь обстоятельно», предварительно приводя к присяге на Евангелии и Кресте – «по заповеди Святого Евангелия и по государеву крестному целованию». Свидетель давал клятву, что он обязуется рассказать «*обстоятельно о том непристойном слове... слышал ль и каким случаем*».

Сыск не предъявлял каких-либо критериев к свидетелю. В состязательном процессе, согласно Уложению 1649 года, свидетелем мог быть только человек «*благонамеренный*», честный, «*достоверный*», то есть видевший все сам, не враждебный ответчику, но и не вступив-

ший с кем-либо из участников процесса «в стачку», наконец, не родственник одной из сторон, а согласно «Краткому изображению процессов», свидетелями не могли быть «негодные и презиаемые» люди (среди них числились убийцы, клятвопреступники, разбойники, воры и т. д.). Для политического процесса «негодных и презиаемых» свидетелей не существовало – нередко именно они часто выступали свидетелями, вопреки отводу их ответчиком. Извет насильника и убийцы, кричавшего «слово и дело» в тюрьме, могли подтверждать такие же, как он, личности с рваными ноздрями. И их показания принимали к сведению. Незаметно также, чтобы в политическом процессе отдавали предпочтение одним свидетелям перед другими (как это было в судебном процессе), а именно мужчинам перед женщинами, знатым перед незнатыми, ученым перед неучеными и священнослужителям перед светскими лицами.

Не все ясно со свидетелями-крепостными (в делах их помещиков), свидетелями-подчиненными (в делах их начальников), наконец, со свидетелями-родственниками, в том числе женами. Считалось, что жена не может быть свидетельницей по делу мужа. Следование этой норме мы видим и в некоторых политических делах. В 1732 году изветчик Рябинин указал на пятерых свидетелей и среди них упомянул свою жену, «которую, – как отмечено в решении Тайной канцелярии, – во свидетельство представлять ему не подлежало». Однако политический процесс не имел четкой правовой регламентации, его природа была иной. Фактическим истцом (часто за спиной изветчика) выступало само государство, и когда следствию нужны были конкретные показания на политического преступника, проблема родства, социальных, должностных отношений изветчика с ответчиком, изветчика и ответчика со свидетелем власть мало интересовала. Многочисленные дела показывают, что очень часто близкие родственники являются свидетелями доносчика. В 1724 году в Тайной канцелярии допрашивали как свидетеля жену изветчика Кузьмы Бунина, которая, конечно, подтвердила донос своего мужа. В 1736 году главной свидетельницей по делу чародея Якова Ярова стала его жена Варвара.

В ходе «роспроса» свидетель мог оказаться в очень сложном положении. Будучи свидетелем изветчика, он одновременно выступал в роли «недонесшего изветчика». Формально, если человек узнавал о государственном преступлении вместе с другими людьми, то по закону он был обязан немедленно донести о преступлении куда надлежит. Однако если по делу он проходил как свидетель, то это означало, что донос сделал не он, а кто-то другой. Стало быть, это произошло по одной из двух причин: либо человек не захотел доносить, либо он заранее распределил роли изветчика и свидетеля с теми, кто оказался вместе с ним при совершении преступления, и в итоге взял на себя роль свидетеля. В первом случае он становился наказуемым «неизветчиком», во втором – свидетелем изветчика, который мог рассчитывать на награду.

Слышавшие «непристойные слова» солдата Седова сказали капралу Якову Пасынкову, «чтоб на онного Седова донес, о чем и оной капрал показал, к тому ж оные свидетели в очных ставках уличали того Седова о непристойных словах». В итоге награжден был как изветчик, так и свидетели «за правой их извет». Правда, изветчик получил 10 руб., а свидетели – только по 5 руб. Иначе говоря, свидетели изветчика явились здесь соучастниками доноса, за что и удостоились награды.

Свидетеля поджидали трудности даже более серьезные, чем кара за недостаточно быстрый бег в сыскное ведомство. Хуже всего приходилось свидетелю того изветчика, который на следствии отказывался от своего извета. Таким образом, донос признавался ложным, как соответственно и свидетельство по нему. Отрекшийся от доноса изветчик губил и своего свидетеля. В 1713 году вор и убийца Никита Кирилов перед началом пытки в Преображенском приказе кричал «государево дело» и на допросе у Ф. Ю. Ромодановского обвинил пятерых посадских и крестьян в приверженности расколу и произнесении «непристойных речей» о царе Петре I. В подтверждение Кирилов ссылался на сидевшего в тюрьме Денежного двора фальшивомонетчика Ивана Бахметева, который всех названных раскольников знал лично. Бахметев – сам приговоренный к смертной казни преступник – полностью подтвердил извет Кирилова.

Однако на седьмой (!) пытке Кирилов, до этого упорно стоявший на своем извете, изменил показания и признался, что оклеветал названных им в извете людей («поклепал напрасно»), так как «чаял себе тем изветом от смертной казни свободы». В том же показании он сообщил, что «свидетеля денежного воровского дела мастера Ивашку Бахметева в тех словах лжесвидетельствовать научил он же, Никитка, как (то есть когда. – Е. А.) он, Никитка, с ним, Ивашкою, сидел в Преображенском приказе в одной бедности за караулом преж того извету...». Поднятый на дыбу свидетель Бахметев признался в лжесвидетельстве и показал, что «тот Никитка говорил ему, Ивашке, чтоб он, Ивашка, сказал ложно по его, Никиткиным, словам для того ты-де в тех словах избавишься от смерти». По приговору 25 августа 1714 года обоих преступников казнили. Словом, в политическом процессе человек мог, по воле следователей и сопутствующих расследованию обстоятельств, выступать одновременно и свидетелем, и ответчиком, причем граница этих столь разных в принципе статусов становилась юридически и фактически неуловимой.

Из сказанного становится ясно, почему свидетелю было так сложно: в ходе следствия ему предстояло проскочить между Сциллой соучастия в ложном доносителстве (в случае, если изветчик в ходе расследования отказывался от доноса) и Харибдой недоносительства (если ответчик признавал извет, вследствие чего свидетеля могли обвинить в недонесении). Редко кто без потерь проходил это испытание. Пожалуй, лучше других выпутались из такого положения два свидетеля по делу Развозова и Большакова, в чем им способствовала... собака. Василий Развозов донес на Григория Большакова в том, что последний назвал его «изменником, при свидетелях», а Большаков показал, что слово «изменник» он действительно произносил, но не в адрес Развозова, а так назвал сидевшую с ними на крыльце собаку, о которой он якобы «издеваюсь говорил: „Вот, у собаки хозяев много, как ее хлебом кто покормит, тот ей и хозяин, а кто ей хлеба не дает, то она солжет и изменить может, и побежит к другим“, и вышеозначенный Развозов говорил ему Большакову: „Для чего ты, Большаков, это говоришь, не меня ль ты изменником так называешь?“ и он, Большаков, сказал, что он собаку так называет, а не его, Развозова... и слался на (двоих. – Е. А.) свидетелей».

Выдумка с третьим бессловесным свидетелем – собакой оказалась необыкновенно удачной как для Большакова, так и для свидетелей. Вот запись показаний свидетелей: «Таких слов как оной Большаков показал, они, свидетели, не слышали, только-де как оной Большаков к ним вышел на крыльцо и в то время возле их была сабака и оной-де Большаков говорил незнаемо что, а о той ли собаке – того имянно они не прислышали, токмо в тех разговорах прислышали, что оной Большаков молвил тако: „изменник“, а к чему оное слово оной Большаков молвил и из них кому, или к показанной собаке – того они, свидетели, не знают».

Линия поведения свидетелей в этом деле оказалась для них самой безопасной, она, с одной стороны, демонстрировала их осведомленность по существу «непристойного слова», а с другой – свидетельствовала об их непричастности к возможному «изменному делу». Показания свидетелей полны спасительной для них неопределенности и одновременно убедительной ясности в признании неопровержимых фактов. Полное отрицание свидетелями сказанного Большаковым неизбежно навлекло бы на них подозрение в неискренности – ведь в произнесении страшного слова «изменник» сам ответчик Большаков признался.

Свидетель в политическом процессе выступал только на стороне изветчика, который «слался» на него в доказательство своего доноса. Тем не менее в позиции свидетеля политического процесса был один нюанс, который позволяет считать, что в сыске отчасти сохранились нормы старого состязательного процесса. Это видно из многих дел, в которых ответчик ссылался на свидетелей обвинения или, наоборот, отказывался от обращения к ним. Крестьянин Федор Решетов, обвинявшийся в «непристойных словах», не стал отрицать этого факта, но объяснял, что говорил те слова в «безмерном пьянстве». При этом он показал: «Ежели свидетели о тех словах на него, Решетова, покажут и он против показания их спорить не будет».

В 1732 году ассессор Коммерц-коллегии Игнатий Рудаковский донес на адмиралтейского стольяра Никифора Муравьева «о некоторых его продерзостных словах... и в том показал оной Рудаковский свидетелей по имяном трех человек». Ответчик же Муравьев «заперся». Он показал, что говорил совсем другие «неприличные слова», и при этом «на означенных свидетелей слался». Однако Муравьев немного просчитался: двое из трех свидетелей все-таки подтвердили извет Рудаковского, третий же утверждал, что хотя и слышал слова Муравьева, но не те, что указал Рудаковский, так как сидел от них «не блиско», да и по-русски плохо понимал. Следователи решили, что все-таки Муравьев говорил «непристойные слова» в «редакции» Рудаковского – на него показали двое свидетелей и он, ответчик Муравьев, на них «слался из воли своей». Судья сослался на 167-ю статью 10-й главы Уложения, хотя если бы он руководствовался 160-й статьей той же главы, то донос признали бы ложным.

Я думаю, что сохранение этого, в сущности, рудимента состязательного процесса объясняется своеобразием позиции свидетеля обвинения по политическому делу, интересы которого не всегда совпадали с интересом изветчика, особенно если тот, к примеру, вдруг отказывался от извета. Угроза понести кару за клятвопреступление или ложный извет оказывалась для свидетеля серьезнее дружбы, договоренности с изветчиком, сиюминутной выгоды, а также достижения истины. В этих обстоятельствах позиция свидетеля становилась отчасти независимой, чем и объясняется возможность «ссылки» ответчика на свидетелей изветчика. Иначе говоря, процедура состязательного суда в сыске не была уничтожена окончательно и давала ответчику возможность опровергнуть обвинения изветчика.

Как и в случае с изветчиком, если по ходу дела выяснялось, что следствие в свидетеле не нуждается, его выпускали из тюрьмы «на росписку», то есть с подпиской о неразглашении. Допрошенный в 1740 году по делу Волынского И. Ю. Трубецкой дал подписку, что о вопросах, заданных ему в «роспросе», он не скажет никому, даже жене. Свидетеля выпускали из сыска на тех же условиях, что и изветчика: с паспортом, с обязательством явиться в канцелярию по первому ее требованию и т. д.

«Ставить с очей на очи» – так с древности называлась очная ставка, важное следственное действие. Перед очной ставкой все привлеченные к ней люди клялись на кресте и Евангелии говорить только правду. Во время очной ставки подьячие вели запись – протокол, и участники очной ставки этот протокол потом, уже по беловому варианту, подписывали. В этот момент человек мог сделать дополнения к показанному ранее на очной ставке.

По форме очная ставка имела вид одновременного допроса по-преимуществу изветчика и ответчика, ответчика и свидетелей, причем с отчетливо обвинительным для ответчика уклоном. Вот протокол 1732 года об очной ставке изветчика Погуляева и ответчика Ильи Вершинина: «И того ж числа вышеписанному изветчику Погуляеву с показанным Вершининым в спорных словах дана очная ставка. А на очной ставке изветчик Погуляев говорил прежние свои речи, что в роспросе своем выше сего сказал... (далее текст, повторяющий ответ на допросе. – Е. А.), а Вершинин в очной со оным Погуляевым ставке говорил прежние ж свои речи...».

Без очной ставки представить политический процесс трудно – она была неременной частью расследования. Очная ставка была нужна для того, чтобы снять противоречия в показаниях сторон. Ответчику, изветчику или свидетелю задавали одинаковые вопросы, а они, стоя друг против друга, давали на них ответы. Чаше же очная ставка состояла из трех основных действий:

1. Изветчика заставляли повторять конкретные показания по его извету и уличать стоящего (или висящего) перед ним ответчика.
2. Ответчика вынуждали подтверждать извет или приводить аргументацию в свою защиту.
3. От свидетеля требовали подтвердить перед лицом ответчика (а иногда и изветчика, а также других свидетелей) данные им ранее, в предварительном допросе, показания.

Таким образом, у каждой из сторон появлялся свой шанс: доносчик на очной ставке мог «довести» извет, свидетель – подтвердить донос, а ответчик – оправдаться.

Как и допросы отдельных участников дела, очные ставки по наиболее важным делам готовили заранее. Основой их служили сводки противоречащих друг другу показаний сторон. В «Пунктах в обличение Бирона по которым следует очная ставка с Бестужевым» (февраль 1741 года) прослеживается метод подготовки следствия к очной ставке ответчика Бирона со свидетелем А. П. Бестужевым-Рюминым.

Из протокола допроса Бирона брался отрывок: «Бывший герцог Курляндский сказал, что он от их и. в. никаких своих дел и намерения не таил и другим таить не велел, как и прежде о том показал». Далее его дополняли отрывком из показаний свидетеля: «А по следствию явилось, и Бестужев показал, что ты регентства касающихся советах от их величеств таить ему заказывал и велел секретно держать, дабы их и. в. не ведали и чрез то в принятии тебе регентства препятствия не было». Так составлялся вопрос ответчику для его очной ставки со свидетелем.

Целью этой очной ставки, как и других ей подобных, было «уличение» преступника во лжи с помощью свидетеля. В этот момент свидетель должен был подтвердить сказанное им ранее и, спасая себя, обличить ответчика. Так обычно и случалось в очных ставках. Но в данном случае произошел сбой следственной машины – оказавшись на очной ставке, Бестужев вдруг отказался подтверждать свои прежние показания против Бирона. Сам Бирон писал в мемуарах, что Бестужев в момент очной ставки сказал: «Я согрешил, обвиняя герцога. Все, что мною говорено, – ложь. Жестокость обращения и страх угрозы вынудили меня к ложному обвинению герцога». По-видимому, так это и было – следователи записали в протоколе, что «Алексей Бестужев признался и сказал, что ему он, бывший герцог, о том от их высочеств таить не заказывал и секретно содержать не велел, а прежде показал на него, избавляя от того дела себя и в том е. и. в. приносит свою вину».

Возможно, тогда Бестужев испытал то, что часто случалось с людьми, вынужденными на очной ставке, «с очей на очи», смотреть в глаза человека (нередко прежде близкого ему, невинного, а подчас и с более сильным характером) и уличать его в преступлении. Для некоторых людей это было настоящей моральной мукой, особенно если речь заходила о подтверждении заведомой лжи.

Очная ставка не была сухим допросом. Стороны могли спорить, уличать друг друга. При этом следователи надеялись, что участники процесса проговорятся, прояснят какие-то детали или факты, которые ранее скрыли от сыска. Для следствия важно было каждое сказанное слово и даже жест. Следователи внимательно наблюдали за участниками очной ставки, отмечая малейшие черточки их поведения. В протоколе 1722 года очной ставки монаха Левина с оговоренным им главой Синода Стефаном Яворским записано: «А как он, Левин, перед архиереем приведен, то в словах весьма *смутился*».

Если дело не закрывалось на первом уровне – «роспросе» или на втором – очной ставке, то проводился дальнейший *розыск*. В ходе розыска использовались различные (непытные) формы расследования дел, позаимствованные из практики публичного суда. Следователи могли проводить что-то подобное *следственному эксперименту*. Во время Стрелецкого розыска 1698 года стрельчиха Анютка Никитина призналась, что в Кремлевском дворце от царевны Марфы для стрельцов ей передали секретное письмо. Никитину привезли в Кремль, и она довольно уверенно показала место во дворце, где получила послание, а потом опознала среди выставленных перед ней служительниц царевны Марфы ту женщину, которая вынесла письмо.

Использовало следствие и традиционный *повальный обыск* – поголовный опрос односельчан, соседей, членов общины, сослуживцев, прихожан. В политическом сыске повальный обыск не был особенно в ходу и использовался в основном, чтобы проверить показания под-

следственного, удостовериться в его политической, религиозной и нравственной благонадежности. В 1700 году псковский стрелец Семен Скунила в пьяной ссоре с переводчиком Товиасом Мейснером обещал «уходить государя». В «роспросе» Скунила показал, что в момент стычки с переводчиком он был настолько пьян, что ничего не помнит. Петр I, который лично рассматривал это дело, указал провести повальный обыск среди псковских стрельцов, поставив перед ними единственный вопрос: «Сенька Скунила пьяница или непьяница?» По-видимому, Скунила был действительно замечательный даже для Пскова пьяница. Все, кто его знал, – а таких оказалось 622 человека! – подтвердили: «Ведают подлинно (то есть абсолютно уверены. – Е. А.), что Сенька пьет и в зернь играет». Глас народа и решил судьбу Сеньки – вместо положенной ему за угрозы государю смертной казни его били кнутом и сослали в Сибирь.

К повальному обыску обращались и для уточнения данных о здоровье гарнизонного солдата Никиты Романова, который, как он сам показал, увидел у спальни императрицы Екатерины I Богородицу, обличавшую Меншикова. После этого по запросу сыска «того полку штап, обор и ундер-афицеры пятьдесят человек, под опасением военного суда, сказали, что тот солдат Романов состояния признают доброго и во иступлении ума и ни в каких непотребствах не бывал».

Политический сыск мог делать *запросы* в самые разные государственные учреждения как для уточнения обстоятельств дела, так и для проверки показаний подследственных, оценки их политической благонадежности и т. д. По-современному говоря, от начальства по месту службы подследственного требовали полноценной письменной характеристики. В запросе о военных интересовались прежде всего наложенными на них штрафами и проступками по службе. В материалах Тайной канцелярии за 1762 год о гренадерах Владимирского пехотного полка, замешанных в «говорении непристойных слов», сохранилась характеристика: «Об них... Боровкове и Самсонове, в присланном из Выборга от полковника Барбот де Марни известии показано, что они в штрафах ни в каких ни за что не бывали и находились состояния доброго». Запрос мог содержать специфические вопросы, связанные с особенностями дела. Капитан Александр Салов, который был в 1721 году в церкви села Конопати вместе с кричавшим «злые слова» Варлаамом Левиным, но не донес, оправдывался тем, что «издества на ухо подлинно крепок» и поэтому не расслышал «злых слов» Левина. Тайная канцелярия отправила запрос в Пермский драгунский полк, где ранее служил Салов, и выяснила, что в полку он слышал хорошо. Для Салова эта справка оказалось роковой: в октябре того же года его лишили чина, били кнутом и сослали в крепость Святой Крест.

В вопросах сложных, связанных с верой и литературной деятельностью, сыск обращался к специалистам за *экспертизой*. Обычно для экспертизы почерка привлекали старых канцеляристов, которые умели сравнивать почерки. Благодаря высокому уровню почерковедов были изобличены многие авторы анонимок. И. И. Шувалов в 1775 году, когда велось дело княжны Таракановой, возможно, даже и не знал, что почерк автора найденной в бумагах самозванки безымянной записки сравнивался с его почерком – ведь его заподозрили в связях со скандально известной «дочерью» Елизаветы Петровны. На экспертизу в Коллегию иностранных дел отдавали и письма, написанные самозванкой, как она утверждала, «по-персидски».

Одним из постоянных консультантов Тайной канцелярии по вопросам литературы и веры был архиепископ Феофан Прокопович. В 1732 году он сделал заключения по делу монаха грека Серафима, а именно по материалам допросов монаха в Тайной канцелярии составил целый трактат, в котором так резюмировал наблюдения над личностью Серафима: «Серафим – человек подозрительный к шпионству и к немалому плутовству». Этого было достаточно, чтобы в приговоре Серафиму это заключение стало главным обвинением, и он был сослан на вечное житье в Охотск.

В ходе розыска использовались *улики*, которыми считались книги, тетради, письма, волшебные (заговорные) письма, магические записки, таинственные знаки и символы на бумаге

и предметах, кости различных животных (чаще всего лягушек, мышей, птиц), волосы, травы, корни, скрепленные смолой или воском. В 1735 году в Тайную канцелярию доставили Андрея Урядова, у которого обнаружили «небольшой корень, облеплен воском, да от корня маленькой обломок, да два маленьких куска травы, из которых один облеплен воском». Урядов долго «запирался» и лишь в застенке показал, что коренья и травы как средство от лихорадки дал ему знакомый тверской ямщик и «от того-де была ему, Урядову, польза». Для экспертизы Тайная канцелярия обратилась к специалистам-аптекарям, задав им по поводу корешка и травы два вопроса: «Что это такое? И может ли оно принести вред человеку?» Ответ аптекарей внесли в дело: «По свидетельству аптекарем показано, что оных трав и кореньев что не целыми плантами, познать невозможно, а чтоб вред оными учинить, того-де чаять не можно». Здесь мы видим, что сыск искал не магическую подоплеку кореньев, а попросту отраву.

Чиновники сысского ведомства, вероятно, как и все люди XVIII века, верили в Бога, но когда сталкивались с различными *пророками, блаженными и святыми*, то обычно проявляли скепсис и даже цинизм. Всякого попавшего в Тайную канцелярию носителя чудесного там встречали неласково и поступали с ним как с ложным извечником. Законодательной основой для таких действий сыска служила знаменитая резолюция Петра I на запрос Синода о том, как поступать с людьми, объявившими «чудо или пророчество притворно и хитро». Петр отвечал: «Наказанье и вечную ссылку на галеры с вырезанием ноздрей».

После допроса объявителя чуда обычно отправляли в пыточную камеру, и там человек признавался, что «явилось будто ему был некоторый глас и чуда вымысла, солгал на Бога». Это цитата из дела Козьмы Любимова 1721 года. Дела о чудесах расследовались как обычные политические дела, а снятые в «ропросах», на очных ставках и с пытки показания тщательно сопоставляли и анализировали, чтобы выявить противоречия. Но так было не везде. В провинции свято верили в нечистую силу и ее могущество. В 1737 году в Томской воеводской канцелярии воевода Угрюмов лично «допрашивал» сидевшее в утробе 12-летней калмычки Ирины «дьявольское навождение». На уловку этой легкомысленной девицы-чревоушательницы попало еще несколько солидных людей. Дело получило огласку и вызвало тревогу в столице. Специальная комиссия быстро распутала историю с чревоушанием: Ирину подвесили на дыбу, били розгами, и она призналась, что после какой-то болезни появилось «в утробе у нее... ворчанье, подобно как грыжная болезнь». Все участники этого дела получили по серьгам и были «в назидание от легковерия» наказаны. Сама же Ирина за «ложный вымысел дьявола» была бита кнутом и с вырезанием ноздрей сослана в Охотск. Словом, в сыске с этим делом разобрались как заправские атеисты.

Любопытно, что те дела, которые по всем понятиям тех времен бесспорно свидетельствовали о вмешательстве неких сверхъестественных сил, сыск старался замолчать. В 1724 году началось дело великолуцких помещиков братьев Тулубьевых. Одни из них, Федор, в 1721 году серьезно заболел, после чего онемел. Сам лейб-медик Блюментрост, освидетельствовав больного, обнаружил у него «паралич глотки». Тулубьева отставили от службы и разрешили уехать в свое поместье. Однако через три года он во сне неожиданно упал с лавки и тут вновь обрел голос. При этом он рассказал, что во сне к нему якобы приходил некий старичок, который отвел его сначала в церковь, потом на гору, а там столкнул Тулубьева вниз, после чего тот очнулся на полу и закричал от страха. Слух о чудесном исцелении Тулубьева пронесся по уезду, Федора и его брата – свидетеля происшедшего – взяли в Синод, где их допросили, как и еще нескольких свидетелей. Ни магии, ни колдовства в деле не обнаружилось, диагноз Блюментроста был авторитетен, Тулубьевы характеризовались как люди верующие, непьющие и честные, одним словом – произошло явное чудо. Об этом глава Синода Феодосий донес Петру I. Вскоре, вернувшись в Синод, он приказал записать волю самодержца: «Дело о разглашении про разрешение немоты уничтожить», то есть закрыть.

Определенную сложность следствию доставляли *психически больные люди*, которые встречаются среди ответчиков и изветчиков. Умалишенные ответчики попадали в сыск не из-за своего психического расстройства, а потому что имели несчастье находиться «в непристойном уме», бредить на политические темы или богохульствовать. Перед следователями проходила вереница людей, объятых манией величия, бред которых тем не менее подходил под обвинения в самозванстве.

Умалишенные считались правоспособными и, соответственно, должны были отвечать за свои слова и действия по законам: их хватали, заковывали, а чтобы они не произносили «непристойные слова», вставляли в рот кляп. Как и здоровых участников следствия, их допрашивали в «роспросах» и в очных ставках. Их показания пунктуально записывали, чтобы не пропустить факт государственного преступления: «А в Тайной конторе оной Василей говорил: „Жена-де ево, будучи в Москве, изожгла у него, Василия, брюхо и он-де, Василий, от той жены своей ушел и пришел дорогою в кошацье царство и в том царстве хотели его убить“, причем явился он совершенно безумен».

В отношении сумасшедших редко применялась и медицинская экспертиза, факт сумасшествия обычно устанавливался розыскным путем: «А по роспросу явилась она в безумстве»; «По усмотрению ж Тайной канцелярии оказался он в повреждении ума»; «По свидетельству разговоры [его] оказались без связи и умысла, что причтено к роду безумства». Из них неправомочными признавались лишь те, кто буйствовал и чьи бессвязные показания нельзя было занести на бумагу.

Больных некоторое время держали под арестом, ожидая, когда они немного «придут в ум» и смогут давать показания. Если же буйство подследственного продолжалось и не было симуляцией (а за этим следили), то больного «до сроку» отправляли в монастырь «для содержания ко исправлению ума». Сумасшедший содержался в монастыре «до сроку» – до выздоровления, точнее до прихода в то состояние, которое называлось «пришел в ум», «стал быть в настоящем уме». Монастырские власти обязывались тотчас сообщать куда надлежит об улучшении состояния больного, что они и делали, спеша избавиться от сумасшедших. Позже, при Екатерине II и Павле I, в монастыри «для осмотра безумных» посылали чиновника Тайной экспедиции.

Петр Образцов в допросе 1754 года говорил, что дьявол ему шепчет из-за плеча о Петре Федоровиче – антихристе. Он был признан «совершенно за сумасшедшего и для содержания до исправления в разуме под караулом послан был в Иосифо-Волоколамский монастырь». Через шесть лет оттуда написали, что Образцов «находится в настоящем уме». Колодника привезли в Тайную контору, но, как записано в экстракте его дела, «во оной как из ответов ево, так и по усмотрению явился в прежнем же ума своего несостоянии». После этого Образцова вновь отослали в монастырь. Если же человек действительно выздоравливал, то его допрашивали и пытали по сказанным им ранее «непристойным словам», игнорируя то обстоятельство, что слова эти были произнесены им как раз «в безумстве».

По делам некоторых умалишенных политический сыск выносил решение без отправки их в монастырь. Работный человек Иван Орешников, обвиненный в 1722 году «в богохулении и в непристойных словах против высокой чести е. ц. в.», был признан сумасшедшим. В приговоре Тайной канцелярии о нем сказано: за богохульство «надлежало было тебя сжечь, но оной казни е. и. в. тебе чинить не указал для того, что ты временно не в твердом уме бываешь и многжды показывал за собою е. и. в. „слово и дело“, а как придешь в память, то тех слов ничего не показывал, объявляя, что все говорил вне памяти. А вместо жжения тебя живого, государь всемилостивейше повелеть соизволил учинить тебе, Орешникову, смертную казнь – отсечь голову». В 1775 году надворный советник Григорий Рогов вошел с улицы в здание Синода, сел за стол и начал писать манифест от имени «императора Павла Петровича». Хотя Рогова и признали «в уме помешанным», Екатерина II отправила его в Шлиссельбургскую крепость

как государственного преступника, а психически здоровую жену и невинных детей Рогова на всякий случай сослала в Сибирь.

Итак, уже к началу XVIII века в политическом сыске существовала довольно разработанная «технология» допросов – так называемый «ропрос», который предполагал допросы изветчика, ответчика и свидетелей, а также очные ставки их. Несмотря на сохранение в следственном розыском процессе некоторых рудиментов состязательного судебного процесса, позволявших подследственным в отдельных случаях доказать свою невиновность, «ропрос» все-таки имел отчетливо обличительно-обвинительный уклон и не предполагал объективного выяснения истины. «Ропрос» был жестко подчинен, как правило, обвинительно-репрессивным целям, которые верховная власть ставила перед политическим сыском. С помощью довольно четкой схемы ведения допросов и очных ставок, целенаправленной фальсификации показаний, а также широкого использования разнообразных приемов и методов расследования (включая «увещевания», шантаж, запугивание и др.) следователи уже на стадии «ропроса» стремились добиться от изветчика точного, «доведенного» с помощью свидетелей извета. От ответчика требовалось быстрое признание вины, раскаяние, подробный рассказ о целях, средствах задуманного им или совершенного государственного преступления, а также выдача сообщников. Даже если на стадии «ропроса» этого удавалось достичь, подследственный не был уверен, что его вскоре не начнут пытать.



Полусумасшедшего монаха и бывшего капитана Варлама Левина обвиняли в том, что, взобравшись на крышу мясной лавки пензенского базара, он кричал: «Много лет я служил в армии, жил в Петербурге, там монахи и всякие люди в посты едят мясо и меня есть заставляли. А в Москву приехал царь Петр Алексеевич, он не царь, антихрист, и весь народ будет он печатать, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут. Бегите, скройтесь

куда-нибудь. Последнее время, антихрист пришел!» После этих слов с площади убежали все, кроме доносчика.

Левин был одержим идеей очищения через страдание перед лицом ждущей всех неминуемой гибели в «царстве антихриста Петра». Поэтому он с радостью шел на пытки и по той же причине оговорил многих невинных и не причастных к делу людей – всем им он желал блаженства в будущем. Всего таких оговоренных набралось не менее двух десятков, в том числе глава Синода Стефан Яворский, с которым Левину устроили очную ставку. После допроса Левина пытали разными пытками шесть раз, в том числе один раз водили по спицам.

Весной 1722 года Петр I уезжал в Персидский поход и поспешно заканчивал важные государственные дела. 13 мая А. И. Ушаков в докладе царю вопрошал: «Старцу Левину по окончании розысков какую казнь учинить и где, в Москве или Пензе?» Император начертил всего два слова: «На Пензе». В сущности, это и есть смертный приговор Левину, хотя его дело только что стали рассматривать. Обезглавленное тело Варлаама Левина после казни в Москве было сожжено, но голову его, заспиртовав в сосуде, отправили в Пензу, где она была водружена у мясной лавки на каменном столбе.

Глава 6. Розыск в застенке

После «роспроса» дело обычно переходило на следующую стадию сыскного процесса – к розыску, пытке. Решение об этом принималось руководителем сыскного ведомства, а иногда и государем на основе знакомства с результатами «роспроса». Необходимость розыска могла быть вызвана разными обстоятельствами: упорством изветчика и ответчика в своих показаниях; неясностью обстоятельств дела после очных ставок; особым мнением следователей о поведении сторон; суждением начальников и верховной власти, признававшей пытку в этом деле обязательной.

Обычно розыск начинался с так называемого «роспроса у пытки (у дыбы)», то есть допроса в камере пыток, но пока без их применения. Допрос в камере пыток относится к «роспросу с пристрастием». Допрашивали «у пытки» следующим образом. Человека подвешивали к дыбе. Дыба представляла собой примитивное подъемное устройство. В потолок или в балку вбивали крюк, через него (иногда с помощью блока) перебрасывался ремень или веревка. Один конец ее был закреплен на войлочном хомуте, называемом иногда «петлей». В нее вкладывали руки пытаемого. Другой конец веревки держали в руках ассистенты палача. «Роспрос у пытки» был, несомненно, сильным средством морального давления на подсудимого, особенно для того, кто впервые попал в застенки. Человек стоял под дыбой, видел заплечного мастера и его помощников, мог наблюдать, как они готовились к пытке: осматривали кнуты и другие страшные инструменты, разжигали жаровню. Эту стадию римские юристы называли *territio realis*, то есть демонстрация подсудимому орудий пыток, которые предполагалось применить к нему. Известно, что некоторым узникам показывали, как пытают других. Делалось это, чтобы человек понял, какие муки ему предстоят. В проекте указа Екатерины II об упорствовавшей Салтычихе сказано: «Показать ей розыск к тому приговоренного преступника».

Допрос у дыбы не ограничивался только угрозами применить пытку и демонстрацией пыточного действия на телах других людей. Из документов сыска известно, что следователи прибегали к имитации пытки. Для этого приведенного в застенки подсудимого раздевали и готовили к подъему на дыбу. Вот как допрашивали в 1728 году родственницу А. Д. Меншикова Аксиныю Колычеву, обвиненную в составлении подметного письма. Ее спрашивали «прежде с увещанием, потом с пристрастием, чтобы явила всю истину о подметном письме, понеже из всех ее поступков является подозрительна и потом ставлена в ремень и кладены руки в хомут».

Крайне редко розыск заканчивался допросом у дыбы. Если колодника решили пытать, от пытки его не спасало даже чистосердечное признание или то признание, которое требовалось следствию, – ведь пытка служила высшим мерилем искренности человека. С одного, а чаще с трех раз ему предстояло подтвердить, как писалось в документах, «из подлинной правды». Эта норма была установлена еще в Уставной книге Разбойного приказа, сильно повлиявшей на сыскной процесс при расследовании политических преступлений. Так как допрос у пытки очень часто вел к пытке, то в протоколах встречается обобщенная формулировка: «По приводе в застенки в роспросе и с очных ставок... ис подлинной правды поднят был на дыбу и пытан впервые и с подъема и с пытки говорил...».

Перед подъемом на дыбу зачитывали приговор о пытке. Как правило, в пытках соблюдалась следующая последовательность:

1. Подвешивание на дыбу («виска»).
2. «Встряска» – висение с тяжестью в ногах.
3. Битье кнутом в подвешенном виде.
4. Жжение огнем и другие тяжкие пытки.

Конечно, в повседневной пыточной практике какие-то звенья пропускались: после «ропроса» в канцелярии без пыток могла сразу наступить пытка на дыбе, пропуская «ропрос у дыбы». В 1735 году после «ропроса» и очных ставок Совета Юшкова А. И. Ушаков распорядился: «По тому своему показанию не без подозрения он, Юшков, явился, чего ради ныне, ис подлинной правды, привести его в застенок и, подняв на дыбу, роспросить с пристрастием в том, что оные слова, которые сам на себя показал, в каком намерении, и для чего он говорил, и от кого подлинно о том он слышал...». В 1748 году по делу Лестока также последовал указ: «Лестока в заперательстве его с очных ставок и в протчем привести в застенок и подняв на дыбу, роспросить накрепко». Так, мы видим, что термин «с пристрастием», «накрепко» применяется и к собственно пытке на дыбе, и к «ропросу» без пытки у дыбы.

Пытка как универсальный элемент судебного и сыскного процесса была чрезвычайно распространена в XVII–XVIII веках и просуществовала до реформ Александра II, хотя указ о ее отмене появился в 1801 году. Запечные мастера, орудия пытки, застенки и колодничи палаты были во всех центральных и местных учреждениях как в XVII, так и в XVIII веке. Согласно Соборному уложению 1649 года и «Краткому изображению процессов» 1715 года, решение о применении пытки выносил сам судья, исходя из обстоятельств дела. Закон предписывал, что «пытка употребляется в делах видимых (то есть очевидных. – Е. А.), в которых есть преступление». В России, в отличие от многих европейских стран, не было «степеней» пыток, все более и более ужесточавших муки пытаемого. Мере жестокости пытки определял сам судья, а различия в тяжести пытки были весьма условны: «В вящих и тяжких делах пытка жестока, нежели в малых бывает». Вместе с тем законы рекомендовали судье применять более жестокие пытки к людям, закоренелым в преступлении, а также физически более крепким и худым (опытным путем было установлено, что полные люди тяжелее переносят физические истязания и быстрее умирают без всякой пользы для расследования). Милосерднее предписывалось поступать с людьми слабыми, а также менее порочными: «Также надлежит ему оных особ, которые к пытке приводятся, рассмотреть и, усмотря твердых, безстыдных и худых людей – жестока, тех же, кои деликатного тела и честные суть люди – легче».

По закону от пытки в суде освобождались дворяне, духовенство, «служители высоких рангов», люди старше семидесяти лет, недоросли и беременные женщины. В политических делах эта правовая норма в точности не соблюдалась, как и другие законы, характерные для сословного суда. Чтобы отправить священнослужителя на пытку, Тайная канцелярия требовала от Синода прислать попа для лишения сана и расстрижения преступника. Процедура эта занимала несколько минут, и с этого момента священник или монах, которому срезали волосы, брили лицо, возвращали прежнее мирское имя, становился «распопом», «растригой», и дверь в застенок для него была широко открыта. «О нем объявить в Синоде... и, когда с него то [сан] сымут, указал его величество накрепко пытать» – так распорядился Петр I об архимандрите Гедеоне.

В сыском ведомстве пытали всех без разбору и столько, сколько было нужно. В итоге на дыбе оказывались и простолюдины, и лица самых высоких рангов, дворяне и генералы, старики и юноши, женщины и больные. Женщин пытали наравне с мужчинами, но число ударов им давали поменьше, да и кнут иногда заменяли на плети или батоги. Но гуманизм к женскому полу – достижение уже елизаветинской эпохи. До этого с женским состоянием считались мало, хотя беременных не пытали уже при Петре Великом.

Пытки и казни малолетних случались нечасто. В 1738 году пытали 13-летнюю чревоушательницу Ирину Иванову: поднимали на дыбу и секли розгами. По делам видно, что детей и подростков щадили. В страшном Преображенском приказе Ромодановского малолеток только допрашивали, не поднимая на дыбу. В выписке по делу 13–14-летних учеников Кронштадтской гарнизонной школы, привлеченных в Тайную канцелярию в 1736 году, сказано: «В означенном между ими споре дошли они до розыску, но за малолетством их розыскивать ими

не можно». Поэтому было предложено «учинить наказание – вместо кнута для их малолетства бить обоих кошками нещадно». В отношении малолетних вместо кнута часто назначали батоги, плети или палки.

Проблема возраста пытаемых и казнимых впервые серьезно встала лишь в царствование гуманной Елизаветы Петровны. В 1742 году 14-летняя девочка Прасковья Федорова зверски убила двух своих подружек. Генерал-берг-директориум, которому подчинялся округ, где произошло преступление, настаивал на казни юной преступницы. Когда Сенат отказался одобрить приговор, то горное ведомство потребовало уточнения вопроса о пытке и казни малолетних с точки зрения права. Обсуждение в Сенате в августе 1742 года привело к важному правовому нововведению – отныне в России малолетними признавались люди до 17 лет. Тем самым они освобождались от пытки и казни, по крайней мере теоретически.

Рассмотрим теперь саму *процедуру пытки*. Перед пыткой приведенного в застенок колодника *раздевали и осматривали*. Публичное обнажение тела человека считалось позорным. Такой раздетый палачом, побывавший в «катских руках» человек терял свою честь. В 1742 году это обстоятельство стало поводом для отказа восстановить в должности бывшего адъютанта принца Антона-Ульриха, так как он, отмечалось в постановлении, «до сего был в катских руках». Осмотру тела (прежде всего спины) пытаемого перед пыткой придавалось большое значение. Это делали для определения физических возможностей человека в предстоящей пытке, а также для уточнения биографии пытаемого – не был ли он ранее пытан и бит кнутом. Как рассказывал в сентябре 1774 года в Секретной комиссии Емельян Пугачев, после первого ареста в Малыковке и битья батогами его привезли в Казань. Секретарь губернской канцелярии, «призвав к себе лекаря, велел осмотреть, не был ли я в чем прежде наказан. Когда же лекарь раздел донага и увидел, что был сечен, а не узнал – чем, и спрашивал: „Конечно-де, ты, Пугачов, кнутом был наказан, что спина в знаках?“. На что я говорил: „Нет-де, а сечен только во время Пру[сс]кого похода по приказанию полковника Денисова езжалюю плетью, а потом чрез малыковского управителя терпел пристрастный распрос под батогами“».

Когда на спине пытаемого обнаруживались следы кнута, плетей, батогов или огня, то положение такого человека менялось в худшую сторону – рубцы свидетельствовали, что перед судьями человек «подозрительный», возможно рецидивист. Такого арестанта обязательно допрашивали о рубцах, при необходимости о нем наводили справки в других учреждениях.

После осмотра тела пытаемого начиналась собственно физическая пытка. Первой стадией ее являлась, как сказано выше, так называемая «виска», то есть подвешивание пытаемого на дыбе без нанесения ему ударов кнутом. О солдате Зоте Щербакове, попавшем в Тайную канцелярию в 1723 году за «непристойные слова», записано: «Тот Щербаков в роспросе и с очных ставок, и с виски винился». Петр в письме Меншикову 1718 года предписывал допросить слугу царевича Алексея, а также А. В. Кикина, «распрося в застенке один раз пытай только вискою одною, а бить кнутом не вели». В другом случае царь употребляет специфический термин: «вискою спроси».

Известны два способа «подъема на дыбу»: в одном случае руки человека вкладывались в хомут в положении перед грудью, во втором – руки преступника заводились за спину. Как пишет иностранец – очевидец этого страшного зрелища, палачи «тянут так, что слышно, как хрустят кости, подвешивают его (пытаемого. – Е. А.) так, словно раскачивают на качелях». В таком висячем положении преступника допрашивали, а показания записывали: «А Виска Зорин с подъему сказал...», «Илюшка Константинов с другой пытки на виске говорил...», «А с подъему Серешка Степанов в роспросе сказал...», «Костка Затирахин в застенке подниман и в петли висел, а с виски сказал...».

Пытку «в виске» следователи могли и ужесточить. В составленном в середине XVIII века описании используемых в России пыток («Обряд како обвиненный пытается») об этом методе рассказано следующее: между связанными ногами преступника просовывали бревно, на него

вскакивал палач, чтобы сильнее «на виске потянуть ево (преступника. – Е. А.), дабы более истязания чувствовал. Естли же и потому истины показывать не будет, снимая пытаного с дыбы, правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают для того, что и чрез то боли бывает больше». Эта очень болезненная процедура называлась «встряской» или «подъемом с стряской». Такой способ пытки с использованием бревен, гирь и других тяжестей упоминается в записках аббата Шаппа д'Отроша (1764) и других сочинениях.

Разновидностью виски была и процедура «развязки в кольца». Суть пытки состояла в том, что ноги и руки пытаемого привязывали за веревки, которые протягивали через вбитые в потолок и стены кольца. В итоге пытаемый висел растянутым в воздухе. Из дела Авдотьи Нестеровой (1754) видно, что «она положена и развязана в кольца и притом спрашивана».

Редко, но бывало и так, что пытка на стадии виски и заканчивалась. Это происходило тогда, когда преступник давал с виски ценные показания или признавал свою вину. Украинец Григорий Денисов, взятый в розыск в 1726 году за угрозы стоявшим у него на дворе русским солдатам, что «наш (то есть украинцев. – Е. А.) будет верх», вначале полностью отрицал извет на него, но «потом с подъему винился: те-де слова говорил он в безмерном пьянстве». Следовательно ограничились виской и по приговору Тайной канцелярии сослали Денисова с семьей в Сибирь. Так же поступили и с хирургическим учеником Иваном Черногороцким, сказавшим в 1728 году нечто неодобрительное о портрете Петра II. Протокол о пытке его содержит такие слова: «С подъему сказал: те-де слова говорил он, обмолвись». Это удовлетворило следствие, и Черногороцкий отправился в Сибирь «на вечное житье».

Но для многих попавших в застенки виска была только началом тяжелых физических испытаний. Следует различать показания («речи»), которые получали «с подъему», и речи «с розыска ис подлинной правды». В первом случае имеется в виду лишь допрос с «вытягивания» подследственного на дыбе в виске, а во втором применение кроме виски также кнута и других приемов и средств пытки. Из делопроизводственных документов сыска следует, что виска «с подъему» даже не считалась полноценной пыткой. Донщик Михаил Петров был определен, по обстоятельствам его дела, к розыску «ис подлинной правды», «понеже без розыску показания ево за истину признать невозможно», хотя он «в роспросе и в очной с ним (ответчиком. – Е. А.) ставке и с подъему и утверждался, но тому поверить невозможно потому, что и оной (ответчик. – Е. А.) Федоров в роспросе и в очной ставке и с подъему в том не винился». Рассмотрим теперь, как собственно происходила *пытка кнутом*.

После того как человека поднимали на дыбу уже для битья кнутом, палач, согласно «Обряду как обвиненный пытается», связав ремнем ноги пытаемого, «привязывает [их] к зделанному нарочно впереди дыбы столбу и, растянувши сим образом, бьет кнутом». Иначе говоря, тело пытаемого зависало почти параллельно земле. Когда наступал момент бить кнутом, то палачу требовался умелый ассистент: он следил за натягиванием тела пытаемого так, чтобы мастеру было ловчее наносить удары по спине (а били только по спине, преимущественно от лопаток до крестца, не касаясь боков и головы). Из описания пытки 1737 года видно, что при повреждении кистей рук пытаемый подвешивался на дыбу «по пазухи», то есть за подмышки.

Кнут применялся как для пытки, так и для наказания преступника. Неизвестный издатель записок пастора Зейдера 1802 года, наказанного кнутом, так описывает это орудие: «Кнут состоит из заостренных ремней, нарезанных из недубленой коровьей или бычачьей шкуры и прикрепленных к короткой рукоятке. Чтобы придать концам их большую упругость, их мочат в молоке и затем сушат на солнце, таким образом они становятся весьма эластичны и в то же время тверды как пергамент или кость». Кнут специально готовился к экзекуции, его согнутые края оттачивались, но служил он недолго. Недаром в «набор палача» 1846 года (так официально назывался минимум инструментов, с которыми палач являлся на экзекуцию) входило 40 запасных «сыромятных обделанных сухих концов». Такое большое количество запасных

концов необходимо потому, что их требовалось часто менять. Дело в том, что с размягчением кожи кнута от крови сила удара резко снижалась. И только сухой и острый конец считался «правильным». Как писал Юль о кнуте, «он до того тверд и востр, что им можно рубить как мечом... Палач подбегает к осужденному двумя-тремя скачками и бьет его по спине, каждым ударом рассекая ему тело до костей. Некоторые русские палачи так ловко владеют кнутом, что могут с трех ударов убить человека до смерти». Это мнение разделяют и другие наблюдатели, писавшие о кнуте, а также последний из историков, кто держал в руках это страшное орудие пытки и казни, – Н. Д. Сергеевский.

В XVIII веке существовало несколько видов нанесения ударов: одним кнутом били вдоль хребта, а двумя кнутами – крест-накрест. Удары плетью палач также клал крестообразно. Чтобы достичь необходимой точности удара, палачи тренировались на куче песка или на бересте, прикрепленной к бревну.

Вообще-то цель убить пытаемого (чтобы он умер, как тогда говорили, «в хомуте») перед палачом, работавшим в застенке, не ставилась. Наоборот, ему следовало бить так, чтобы удары были чувствительны, болезненны, но при этом пытаемый мог давать показания и даже выдерживать новую пытку. Указы предписывали смотреть, чтобы людей «вдруг не запытать, чтоб они с пыток не померли вперед для разпросу, а буде кто от пыток прихудает, и вы б тем велели давать лекарей, чтоб в них про наше дело сыскать допряма».

Во время пыток Кочубея в 1708 году следователи побоялись назначать ему много ударов. Г. И. Головкин сообщал царю: «А более пытать Кочубея опасались, чтоб прежде времени не издох, понеже зело дряхл и стар и после того был едва не при смерти... и если б его паки пытать, то чаем, чтоб конечно издох». В 1718 году начальник Тайной канцелярии П. А. Толстой писал Петру I о пытаемой в застенке Марии Гамильтон: «Вдругорядь пытана... И надлежало бы оную и еще пытать, но зело изнемогла». Впрочем, иным людям, чтобы погибнуть, было достаточно нескольких ударов кнутом.

То, что палач получал от следователей указания о числе ударов кнутом, видно из всей процедуры пытки. Исходя из существовавших в процессуальном праве понятий о пытке («жесточае», «легчае»), из бытовавших представлений о «крепкой натуре» и «деликатном теле», можно предположить, что палач по указанию следователя наносил удары кнутом сильнее или слабее, в менее или более болезненные места.

Пытки огнем, когда «на огонь поднимали», «зжен огнем» или «говорил с огня», широко применялись и в XVIII веке. Ими обозначали еще одну разновидность пытки, по оценке сыска – более тяжелую, чем виска, встряска или битье кнутом на дыбе. Не случайно пытку огнем отделяли от других пыток. Об этом сохранились записи-резолуции: «Из переменных речей пытать еще дважды и жечь огнем». Нужно согласиться с мнением В. А. Линовского, считавшего, что в России заменой западноевропейских «степеней» было разделение пыток на пытки без огня и на пытки с огнем. Пытка огнем во многих случаях являлась либо заключительным испытанием в серии пыток, с помощью которой «затверждали» полученные ранее показания «ис подлинной правды», либо (если нужные показания не получены) становилась самостоятельной, особо тяжелой мукой. В последнем случае жечь огнем могли многократно, как это видно из записи пытки Лося или Мартинки Кузмина, который был «пытан накрепко... и огнем, и клещами жжен многожды». В таких случаях жизни пытаемого угрожала смертельная опасность: Марфа Долгова, десять раз пытанная на дыбе и жженная огнем, была «на огне зажарена до смерти».

Нужно различать следующие разновидности пытки огнем: держание над огнем (о такой пытке писали «зжен на огне») и прикладывание к телу каких-либо раскаленных или горящих предметов («зжен огнем»). Впрочем, последний термин использовали и для обозначения жжения на огне. Перри – один из немногих авторов мемуаров, который видел первую разновидность пытки в начале XVIII века. Он писал: «Около самой виселицы разводят мелкий огонь...

связывают ему (пытаемому. – Е. А.) руки, ноги и привязывают его в длинному шесту, яко бы к вертелу. Двое людей с обеих сторон поддерживают этот шест над огнем и таким образом обвиненному в преступлении поджаривают спину, с которой уже сошла кожа, затем писец... допрашивает его и приводит к признанию». На одном из рисунков, относящихся к XVIII веку, мы видим другую технику этой пытки – двое палачей за руки и за ноги держат пытаемого над горящими углями. Четверо палачей растянули над костром пытаемого на гравюре, отражающей расправу со стрельцами в 1698 году и приложенной к сочинению Корба.

Григорий Конисский в своей «Истории Руссов или Малой России» сообщал, что пытка огнем состоит в прикладывании к телу раскаленной железной шины, которую водили «с тихостью или медленностью по телам человеческим, которые от того кипели, шкварились и воздымались». При жжении огнем использовались раскаленные докрасна клещи. Так был пытан в 1709 году пленный башкирец Урусакай Туровтев в Тобольске перед воеводой М. Я. Черкасским. Помимо клещей для пытки огнем могли использовать раскаленный утюг и зажженный веник. В «Обряде как обвиненный пыгается» середины XVIII века об этом сказано ясно и определенно: «Палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и зажегши веник с огнем водит по спине, на что употребляетца веников три и больше, смотря по обстоятельствам пытанного». В 1732 году колодник Ошурков был, согласно приговору Тайной канцелярии, «зжен вениками». С. В. Максимов сообщает о бытовавшей среди арестантов шутке. Ожидавшие пытки спрашивали того, кого привели из застенка: «Какова баня?» Он отвечал: «Остались еще веники!» Майора С. Б. Глебова – любовника царицы Евдокии – пытали не только раскаленным железом, но и «горячими угольями». Как сообщает Корб со слов одного преступника, горячие угли клали на уши.

Все остальные виды пыток встречаются – по крайней мере по известным мне материалам – довольно редко. «*Вождение по спицам*» («поставить на спицы») упоминается только несколько раз. Согласно экстракту Тайной канцелярии, брянский архимандрит Иосиф дал показания «и с огня, и с вожения по спицам». Какова была техника этой пытки, точно мы не знаем. Известно только, что Варлама Левина для этой пытки выводили на двор в Преображенском. Можно предположить, что спицы (заостренные деревянные колышки) были вкопаны в землю и пытаемого заставляли стоять на них голыми ногами или ходить по ним. По крайней мере, такие спицы были на площади у Комендантского дома в Петропавловской крепости. Первый историограф Петербурга А. Богданов сообщает, что спицы были врыты в землю под столбом с цепью и когда кого «станут штрафовать, то в оную цепь руки его замкнут и на тех спицах оный штрафованный должен несколько времени стоять». Площадь эту народ, склонный к мрачному юмору, прозвал «Плясовой», так как стоять неподвижно на острых спицах человеку было невозможно и он вынужден был перебирать босыми ногами, как в пляске. По словам австрийского дипломата Плейера, Степан Глебов в 1718 году, кроме обычных пыток кнутом, жжения железом и углями, на три дня был привязан к «столбу на доске, с деревянными гвоздями».

А. Богданов упоминает также и другое орудие пыток, которое находилось на той же площади и использовалось и для пыток, и для наказания, – *деревянную лошадь* с острой спиной, на которую верхом на несколько часов сажали пытаемого или наказуемого. Его ноги привязывали под «брюхом» лошади, иногда к ним привешивали груз. При этом пытку усугубляли ударами кнутом или батогами по спине и бокам. Возможно, об этой пытке и наказании говорит пословица: «Поедешь на лошадке, что самого ездока погоняет». А. П. Волынский, будучи губернатором в Астрахани, прославился тем, что пытал поручика князя Мещерского на деревянной лошади, привязав к его ногам живых собак.

В «Обряде как обвиненный пыгается» есть упоминания еще четырех видов пыток, которые применялись в русских застенках. В их описании мы узнаем пыточные инструменты, известные по литературе о европейской инквизиции. Во-первых, это винтовые *ручные*

зажимы, то есть «тиски, сделанные из железа в трех полосах с винтами, в которые кладутся злодея персты сверху большие два из рук, а внизу ножные два и свинчиваются от палача до тех пор, пока или не повинится или не можно будет больше жать перстов и винт не будет действовать». Во-вторых, *«испанский сапог»* – его надевали на ногу и затем в скрепу забивали молотком дубовые клинья, постепенно заменяя их клиньями все большей и большей толщины. Самым толстым считался восьмой клин, после чего пытка прекращалась, так как кости голени пытаемого ломались.

Две другие пытки попали в Россию с Востока. Первая называется *«клячить голову»*, а вторая – *пытка водою*: «Наложа на голову веревку и просунув кляп и вертят так, что онный изумленным бывает. Потом простригают на голове волосы до тела и на то место льют холодную воду только что почти по капле, от чего также в изумление приходит». Так описана эта пытка в «Обряде». Из следственного дела 1713 года известно, что попа Ивана Петрова «мучали и клячем голову вертели». Клячили не только голову. В 1788 году помещика Анненкова, обвиняемого в убийстве крестьянина Макарова, должны были «скрючить, притянуть веревкою верхние части тела к ногам насколько это было возможно. При этом, чтобы ту же натянуть веревку для скрючивания, была употреблена палка».

Известное выражение *«сказать всю подноготницу»* возникло от пытки в виде забивании под ногти пытаемого железных гвоздей или деревянных колышков. Возможно, так пытали под Петергофом, в присутствии Петра I, царевича Алексея. Андрей Рубцов, который попал в Тайную канцелярию в 1718 году по доносу товарища, показал, что слышал пыточные крики, а потом видел царевича с завязанной рукой. Впрочем, сына царя могли пытать и просто упомянутым выше ручным зажимом – «репкой».

Пыткой было и кормление арестанта соленой пищей, причем ему долго не давали напиться. Даже в 1860-х годах этот способ добиться нужных показаний был в ходу, и называли его *«покормить селедкой»*. Об этой пытке упоминается даже в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», когда идет речь о приемах работы судьи Ляпкина-Тяпкина.

Солью посыпали раны пытаемых. Крестьяне заводчика Н. Н. Демидова в 1752 году жаловались, что хозяин в заводском застенке «бьет немилосердно кнутом и по тем ранам солит солью и кладет на розженое железа спинами».

Пыточные вопросы, как и во время «роспроса», составлялись заранее на основе извета, роспросных речей, других документов. Протокол допроса на пытке был близок к тому, который вели во время роспроса и очной ставки. Вопросы писали на листе столбцом слева, а на правой, чистой половине листа записывались ответы, полученные с пытки, – иногда подробные, повторяющие вопрос, но в утвердительной или отрицательной форме, иногда краткие («признается», «винится», «запирается»).

Что же хотели следователи услышать на следствии от своего «клиента»? В первую очередь они ждали признания своей вины, но достижением раскаяния задачи сыска, естественно, не ограничивались. Типичный вопросник арестованному за «непристойные слова» содержал следующий набор вопросов:

1. «С какого подлинно умыслу и намерения [это] затевал?»
2. «Не научал ли ево кто о том затевать?»
3. «Не имел ли он с кем в том какого согласия?»
4. «Об оных словах (или делах. – Е. А.) кому еще разглашал?» (вариант: «Не объявлял ли кому для какого разглашения?»).
5. «Не слыхал ли он о том от кого других?»

Приведу ответы на подобные вопросы гренадера Никиты Елизарова, осуждавшего в 1734 году императрицу Анну и говорившего, что в Петербурге «потехи... а в Руси плачут от подушного окладу»: «А умыслу и никакого в том намерения и злобы он, Елизаров, не имел, и об оном говорить никто ево, Елизарова, не научал, и согласных в том с ним, Елизаровым, никого

не было, и чрез разглашение оных непристойных слов мыслию своею ничему он, Елизаров, быть не надеялся, и другие, кто имянно такие ж, или другие какие непристойные слова говорил ли, того он, Елизаров, не знает и ни от кого не слыхал». Разумеется, вопросы арестантам – крупным государственным деятелям и «персонам знатым» были сложнее, но все же и они обязательно включали в себя в той или иной форме упомянутые выше темы.

Неясно, каким образом во время виски и битья кнутом велся допрос. Или пытаемому задавали вопрос, после чего следовал удар (или серия ударов), ответ и запись ответа, или человека били и до вопросов, и после них. Из дел российского сыска мы видим, что пытаемый давал показания в всячем положении. Как пишет Перри, удары кнутом «обыкновенно производятся с расстановкой и в промежутках подьяк или писец допрашивает наказуемого».

Из дела Александра Кикина – сподвижника царевича Алексея, которого допрашивали 18 февраля 1718 года, – следует, что «ропрос из пытки» был организован следующим образом. Пытаемому вначале задали девять вопросов, а после его ответов на них его подвесили на дыбу, дали 25 ударов и вновь повторили все вопросы, а потом уже записали его ответы. В документах сыска очень часто встречаются две устойчивые обобщающие формулы: «С подьема винился... с розыску утвердился» или «Подыман и говорил прежние ж свои речи», то есть в первом случае пытаемый человек признал свою вину на «виске», а затем подтвердил ее на пытке кнутом или огнем. Во втором случае пытаемый подтвердил на пытке свои прежние показания в «ропросе».

Во время пытки проводили не только допросы, но и очные ставки. Во время такой очной ставки один из участников мог уже висеть на дыбе, а другой – стоять возле нее. Из дела Кирилова 1713 года видно, что во время пытки сначала пытали его, изветчика, а потом на дыбу подвесили оговоренного Кириловым Ивана Андреева. Пока его допрашивали, спущенный на землю изветчик «у дыбы его, Ивана, уличал: вышеписанныя-де непристойные слова как он, Никитка, сказал в извете и с пытки он, Иван, говорил подлинно, да он же, Иван, про него, государя, говаривал не по одно же время как-де он, царь, в посты ест мясо и женит христиан, и нарядил людей бесом, поделал немецкое платье и епанчи жидовские. А Иван Андреев против той улики в тех словах запырался и говорил изветчику, [что] и никому никогда... не говорил же». Из записи ответов Андреева видно, что в протоколе вначале записывали «уличения» изветчика, а затем ответ ответчика.

После розыска в застенке пытаемый подписывал перебеленный «пыточный протокол», который ему зачитывал подьячий по принятой тогда форме. Так было в 1739 году с Долгоруким: «Князь Иван Долгорукий руку приложил». Если сам прошедший пытку этого сделать не мог (например, сломана рука), то приказные писали так: «А Варсонофия руки не приложила для того, что она после розысков весьма больна».

Теперь рассмотрим вопрос об *очередности* применения пытки к участникам политического процесса. Общее правило таково: если отсутствовали доказательства извета и ответчик стоял на отрицании возведенного на него извета на «ропросе» (включая очную ставку с изветчиком и свидетелями), то в застенке первым пытали изветчика. В некоторых делах мы сталкиваемся с «симметричным» принципом пыток, так называемым «перепытыванием»: 1-я пытка изветчика, 1-я пытка ответчика, 2-я пытка изветчика, 2-я пытка ответчика и т. д. Но чаще в делах упоминается серия из 2–3 пыток, применяемых к одному из участников процесса. В промежутках между сериями вели допросы, организовывали очные ставки, священники исповедовали и увещевали пытаемых. То, что первым на дыбу шел изветчик, отвечало традиционному процессуальному принципу, отраженному в пословице «Докащикку – первый кнут». В этих случаях от изветчика требовали не только подтверждения его извета, но и одновременно ответа на вопрос: «Не затевает ли о тех словах на оног... напрасно по какой злобе или иной какой ради притчины, и не слыхал ль тех слов... от других кого».

Подтвердительные пытки часто оказывались западней, страшным испытанием для изветчика, и он, подчас не выдерживая их, отказывался от своего извета, говорил, что «затеял напрасно» или «поклепал напрасно». Это называлось «сговорить с имярек», «очистить от навета», то есть снять, смыть, счистить подозрения и обвинения. Это выражение означало, что изветчик признает, что оклеветал ответчика. Однако отказ от извета не избавлял бывшего изветчика от пытки и неминуемо вел его к подтверждению новой пыткой отказа от извета. Делалось это, чтобы наверняка убедиться: изветчик отказывается от извета чистосердечно или по сговору или подкупу со стороны людей ответчика?

Если же изветчик выдержал пытку и «утвердился кровью» в извете, наступала очередь пытать упорствующего в непризнании *ответчика*. Изветчик рассчитывал, что оговоренный им человек (ответчик) или признает себя (в том числе вопреки фактам) виновным и тем самым подтвердит извет, или не выдержит пытки и умрет. Если ответчик умирал, то изветчик мог надеяться на спасительный для него приговор.

Процедура «перепытывания» могла выглядеть как спор двух висящих на дыбах людей. Из дела 1732 года видно, что на этой стадии судьба изветчика находилась в руках ответчика, и «оружие доноса», которое он применил против ответчика, било по нему самому. Ответчик расстрига Илья не признал доноса на него конюха Михаила Никитина и не только выдержал три пытки, но «и показал на одного изветчика Никитина якобы те слова говорил он, Никитин». Только смерть от пыток спасла Никитина от наказания за ложный извет. При этом нужно заметить, что закон формально запрещал принимать к делопроизводству доносы с пытки, но тем не менее исключения делались постоянно, как в этом случае, так и в других случаях.

Теперь о правиле *трех пыток*, отразившемся в пословице «Пытают татя по три перемены» и выражении «три вечерни». В делах политического сыска заметна некая закономерность: если ответчик сразу признавал свою вину и подтверждал извет, то его пытали «из подлинной правды» только один раз, а если ответчик отрицал свою вину и не подтверждал извета, то его пытали три раза. Из документов Сысного приказа середины XVIII века следует, что все раскольники, не желавшие раскаяться в своей вере, подвергались обязательной троекратной пытке. Только стойкость могла спасти ответчика, но ее хватало не у всех, чтобы выдержать три «пытки непризнания», стоять «на первых своих словах» и «очиститься кровью» от навета. В 1700 году в деле Анны Марковой, стерпевшей три пытки, сохранился приговор: «Анютку... освободить, потому что она в том деле очистилась кровью». Благодаря своей стойкости на пытках весьма приближенный к царевичу Алексею сибирский царевич Василий Алексеевич был только сослан в Архангельск, тогда как другие, менее близкие к сыну Петра люди оказались на плахе, с вырванными ноздрями, были сечены кнутом и сосланы в Сибирь.

Отказ от данных на предыдущей пытке показаний или даже частичное изменение их с неизбежностью вели к утроению пыток – каждую поправку к сказанному ранее требовалось заново трижды подтвердить. В 1725 году допрашивали самозванца Евстифея Артемьева, который сказался царевичем Алексеем. В рапорте генерал-майора Шереметева, который вел розыск, отмечено, что Артемьев «был пытан в застенке три раза, токмо явился по распросам в назывании себя царевичем Алексеем Петровичем не постоянен, а говорил разнство». Шереметев сообщал, что следователи приводили Артемьева в четвертый и в пятый раз в застенки «для роспросу в разнстве», «токмо-де весьма был болен... и ничего не говорил». Тогда Шереметев приказал продолжить пытки, после того как «от болезни оной извоишк свободится», то есть до тех пор, пока на трех пытках не будут даны идентичные показания и «разнство» будет устранено.

Было бы неверно думать, что правило трех пыток соблюдалось всегда и последовательно. Если сыск был заинтересован обвинить одну из сторон процесса, то этой нормой пренебрегали. Сохранились дела, из которых следует, что многократная пытка применялась только к извет-

чику или только к ответчику. Причины неожиданной жестокости к одним или особой милости к другим участникам процесса скрыты от нас.

Четыре года тянулось дело, начатое в 1699 году по доносу крестьянина Игнатия Усова на его помещика Семена Огарева в сказывании «непристойных слов». Несмотря на подтверждение извета свидетелем и на девять (!) пыток изветчика, непоколебимо стоявшего на своем доносе, ответчик Огарев был только на допросах и на очных ставках и ни разу не был поднят даже в виску. В 1718 году посадский Корней Муравщик, обвиненный в «непристойных словах» о присяге, выдержал за три сеанса 106 ударов кнутом, был пытан в четвертый раз, а «в пятом розыске и с огня говорил, что тех слов он никогда не говаривал». Тем не менее изветчика не пытали, а стойкий Муравщик был сослан на каторгу.

Рассмотрим теперь вопрос о продолжительности, степени тяжести пытки, периодически самих пыток и о том, как люди переносили мучения. Здесь много неясностей. Судя по пометам «пытать», «в застенок», арестанты готовились к розыску заранее. Сыскное ведомство работало как всякое государственное учреждение – с соблюдением принятых правил и традиционных бюрократических процедур, чем часто и объясняется волокита в розыском процессе. Конечно, в делах особо важных следователи работали, не считаясь с многочисленными праздниками и выходными.

При пытках обязательно присутствовал кто-то из руководителей сыска, приказные без начальства пытали людей очень редко. Обязательным было составление протоколов пыток (запись «пыточных речей»). В этих протоколах отмечалось число нанесенных ударов кнутом, другие пыточные действия. В некоторых протоколах отмечалась продолжительность пытки. 9 августа 1735 года В. Н. Татищев, пытавший Столетова, приказал отметить в протоколе: пытанный висел в виске полчаса, получил 40 ударов кнутом, а потом висел еще час. Иногда фиксировали время «в подъеме» и время отдыха. В решении Тайной канцелярии 1734 года о пытке копииста Краснова сказано «ис подлинной правды, подняв ево на виску, *держать по полчаса* и потом, чтоб от того подъему не вес[ь]ма он изнемог, спустить ево с виски и держать, не вынимая из хомута, *полчетверти часа*, а потом, подняв ево, Краснова на виску, держать против оногo ж и продолжить ему те подъемы, пока можно усмотреть ево, что будет он слаб и при тех подъемах спрашивать ево, Краснова, накрепко». О том, что подъемы на дыбе бывали многократными и затяжными, упоминается и в других документах сыска. Архимандрит Александро-Свирского монастыря Александр (расстрига Алексей Пахомов) во время следствия 1720 года был поднят на виску и провисел 28 минут, после чего потерял сознание. На следующий день его продержали «в подъеме» 23 минуты.

Число наносимых ударов в каждой пытке определяли следователи, которые исходили из обстоятельств дела, показаний пытаемого, его физических кондиций. По описи дел Преображенского приказа за 1702–1712 годы, в которой учитывается число «застенков» и количество ударов кнутом на них, можно сделать вывод, что большая часть пытаемых прошла по три «застенка», а число ударов в один «застенок» в среднем составляло 25–27 ударов. При этом женщины получали несколько меньше ударов, чем мужчины. Следователи учитывали их «деликатную натуру», да и пытали женщин, вероятно, полегче. Котошихин сообщает, что раскаленные клещи для ломания ребер к женщинам не применялись.

Мне кажется, что три «застенка» и около 25 ударов в один «застенок» были для политического сыска петровских времен общепринятыми. В первом «застенке» число ударов кнутом обычно было больше, чем во втором или третьем «застенке». Вероятно, следователи опасались, как бы раньше завершения дела и получения нужных сведений не отправить пытаемого на тот свет. Типичной является ситуация с Ларионом Докукиным, которого пытали трижды, дав ему в первом «застенке» 25 ударов, во втором – 21, а в третьем – 20. Иван Лопухин пытан в 1743 году таким образом: 1-й «застенок» – 11 ударов, 2-й «застенок» – 9 ударов, 3-й – просто виска на 10 минут.

Впрочем, как уже многократно отмечено выше, в политическом сыске не было раз и навсегда принятых норм. Когда власти требовали признания во что бы то ни стало, число «застенков» и ударов кнутом резко превышает средние показатели. Так было в Стрелецком розыске 1698 года: при общей средней «норме» в 20–30 ударов некоторым пытаемым давали по 40, 50, 60 и даже 70 ударов за один сеанс. Пожалуй, никого так свирепо не пытали при Петре I, как стрельцов. Некоторые из них выдержали по 8, 9, а Яков Улеснев в 1704 году вынес даже 12 пыток. Напомню указ Петра 1720 года о пытке старообрядца Иона: пытать «до обращения», то есть до принятия официального вероисповедания, «или до смерти, ежели чего к розыску не явитца». И позже, в середине XVIII века, старообрядцев пытали более жестоко, чем других. Среди материалов Сыскаго приказа за 1750-е годы есть данные о 40, 50, 60 ударах кнутом тем, кто «упорствовал в своей заledenелости».

Не было и особых правил о паузах между пытками как в одном «застенке», так и между «застенками». Проект Уложения рекомендует судьям дать пытанному прийти в себя в течение двух недель. Но из материалов сыска следует, что никакого правила на этот счет не было. В одних случаях следователи давали пытанному длительный срок для поправки, в других же случаях, добиваясь показаний, они мучили его почти каждый день.

Еще одно общее наблюдение. При расследовании дела Кочубея и Искры троим колодникам задали один и тот же вопрос, они одинаково отвечали на него, но при этом число ударов кнутом различно: Василий Кочубей получил 3 удара, Иван Искра – 6 ударов, сотник Кованько – 14 ударов, а поп Святайло (кстати, признанный виновным по приговору менее других «заговорщиков») – 20 ударов. Заметна разница в степени жестокости пыток, примененных к людям разных возрастов: старого Кочубея пытали легче, чем его молодых товарищей. Однако в деле Кочубея видна и еще одна закономерность – тяжесть пытки зависела от социального положения пытаемого: дворяне, знатные колодники получали на пытках меньшее число ударов, чем крестьяне или посадские. Формально все колодники, оказавшиеся у пытки (да и вообще в тюрьме), были равны и как люди, побывавшие в руках палача, считались обесчещенными. И все же социальные различия узников влияли и на режим их содержания в тюрьме, и на тяжесть пыток. По наблюдениям Н. Б. Голиковой, изучившей материалы Преображенского приказа за конец XVII – начало XVIII века, крестьяне на пытках получали по 15–40 ударов кнутом, а дворяне всего по 3–7. Объяснить это можно характерным для тогдашнего общества неравенством. С древнейших времен пытали только рабов. По мере того, как государевыми рабами становились и все другие члены русского общества, пытки стали распространяться и на служилых людей, бояр и дворян, но все же их пытали легче, чем простолюдинов. И лишь сословные реформы Екатерины II защитили дворянина от руки палача. Однако если верховной власти требовалось выбить из пытаемого признание вины или нужные сведения, то социальные различия могли и проигнорировать. Царскому сыну Алексею Петровичу на пытке 1718 года дали, как обыкновенному разбойнику, 25 ударов, а через два дня – еще 15!

Пытка была серьезнейшим испытанием физических и моральных сил человека. Выдержат пытку, да еще не одну, обыкновенному человеку было невероятно трудно. Это оказывалось под силу только двум типам «клиентов» сыска: физически сильным людям и психически ненормальным фанатикам. К первому типу относились могучие, грубые каторжники, не раз битые кнутом и утратившие отчасти чувствительность кожи на спине. В 1785 году в Нерчинск попал закоренелый преступник 32-летний Василий Брягин, которого с 18-летнего возраста почти непрерывно наказывали, в основном за воровство: в 1774 году – два раза били плетью и один раз батожем; в 1776 году – плетью и батогами; в 1777 году – батогами, в 1779 году – кошками. В 1780 году Брягина приговорили к шпицрутенам: гоняли восемь раз через 1000 человек. А в 1781–1782 годах за преступления он был приговорен к вырезанию ноздрей, битью кнутом и к ссылке на каторгу. Наконец, в 1782 году за воровство и побег он был снова прогнан через 1000 человек восемь раз и отправлен в Нерчинск как неисправимый преступник.

Кроме того, в критические моменты у сильных, волевых людей могли мобилизовываться скрытые резервы организма, пробуждаться огромная воля к жизни, желание продлить существование во что бы то ни стало. Возможно, опытные в делах пытки колодники перед «застенком» и после него пили какие-то настои из наркотических трав, притупляющих боль. В популярном в те времена лечебнике «Прохладный ветроград или врачевския вещи ко здравью человечества» есть рецепт «лекарства после правежа», который предписывает настоем особой травы «бориц» парить ноги после битья палкой по пяткам. Известны также заговоры против пытки, огня, железа, веревки и петли, которые облегчали, по крайней мере психологически, пытку, смягчали чувство боли.

Ко второму типу – фанатиков – относятся монах Варлаам Левин и подьячий Ларион Докукин. Левин был одержим идеей очищения через страдание перед лицом ждущей всех неминуемой гибели в «царстве антихриста» Петра I. Поэтому он с радостью шел на пытки и по той же причине оговорил многих невинных и непричастных к делу людей – всем им он хотел доставить блаженство в будущем. Как он говорил, «что, может быть, пожелают они с ним мучиться и они-де будут с ним в царствии небесном». Докукин же, фанатичный составитель подметных писем, в марте 1718 года сам отдался в руки мучителей, заявив, что «*страдати готов*». И Левин, и Докукин, вероятно, были психически больными людьми, чем и объясняется их необыкновенное терпение на пытках: Левина пытали 6 раз, в том числе один раз водили по спицам. Из его дела видно, что он страдал эпилептическими припадками – «падучей болезнью». В своем дневнике, который у него забрали при аресте, он писал о приступах «меланхолии», посещавших его видениях, о том, что ему «припало забвение». 57-летний Докукин, человек слабого сложения, выдержал три пытки кнутом (66 ударов) в течении шести дней, потом был колесован и, несмотря на многочисленные переломы костей во время этой казни, находился в сознании и даже пожелал дать показания. Его сняли с колеса и пытались лечить. Конец его не ясен – либо он сам умер, либо, видя, что подьячий не дает показаний, его казнили.

После пытки несчастного осторожно спускали с дыбы и отводили (относили) в тюрьму. В проекте Уложения 1754 года следователям рекомендовалось за день до «застенка» ничем не кормить узника и не давать ему горячего питья. Авторы проекта – а они наверняка были из Тайной канцелярии – явно обобщали опыт практической работы в застенке, когда плотно поевшие перед пыткой потом умирали. Состояние человека после пытки в документах сыска деликатно называется «*болезнью*». Так это и было: большая потеря крови, болевой шок, возможные повреждения внутренних органов, переломы костей и вывихи, утрата кожи на большой части спины, неизбежный в тех условиях сепсис – все это в сочетании с ужасным содержанием в колодничьей палате и скверной едой приводило к послепыточной болезни, которая часто заканчивалась смертью или превращала человека в инвалида. По данным Н. Б. Голиковой, во время розыска по Астраханскому восстанию 1705 года от последствий пыток умерло 45 человек из 365 пытаемых, то есть 12,3 %. Думаю, что в среднем после мучений в застенке людей умирало больше – ведь по астраханскому делу допрашивали, как правило, стрельцов, служивших в полках, то есть физически сильных, в расцвете лет мужчин. В общем же потоке «клиентов» политического сыска были люди самого разного возраста, подчас слабые и больные, и они умирали уже после первой пытки.

В тюрьме больных пользовали казенные доктора из Медицинской канцелярии. За 1762 год сохранились сведения, что лекарь Кондратий Елкус состоял в штате Московской конторы Тайной канцелярии. Забота о здоровье узника никакого отношения к гуманизму не имела. По одному делу А. И. Ушаков писал П. А. Толстому в ноябре 1722 года: «Мне зело мудрено новгородское дело, ибо Акулина многовременно весьма больна, что под себя испражняется, а дело дошло, что надлежало было ее еще розыскивать, а для пользования часто бывает у нее доктор, а лекарь – беспрестанно». С колодницей возились «с прилежанием неослабно» потому, что «до нее касается важное царственное дело» и чтобы она не могла с помощью смерти «ускольз-

нать» от дачи показаний и непременной казни. В деле есть и приписка о том, что безнадежную Акулину врачи если не вылечили, то довели до эшафота: «Акулина и Акимья казнены марта 23 дня 1724 году».

О большинстве других послепыточных больных в тюрьме так не заботились, и они поправлялись сами и на свои деньги. Как лечили пытаных, сказать трудно. Думаю, что это делали точно так же, как вообще в те времена лечили больных, получивших открытые неглубокие раны и ожоги. В литературе по истории медицины об этом сказано много и подробно. Раны промывали, прикладывали к ним капусту. В расходной книге Тайной канцелярии за 1722 год записано, что больным также покупали вино и пиво, холст и прочие лекарства. Охрана внимательно наблюдала за состоянием здоровья узника после пытки и регулярно докладывала о нем чиновникам сысканого ведомства. Естественно, что в условиях антисанитарии раны воспалялись, нагнивали. Как только появлялись признаки близкой смерти, к заключенному присылали, точнее сказать подсылали, священника.

Термина «*исповедальные показания*» в источниках нет, но он мог бы существовать, ибо исповедь умирающего в тюрьме иначе назвать трудно. Выше уже сказано, что священник был обязан открыть властям тайну исповеди своего духовного сына. Исповедальные показания, исповедь-допрос, стоят в том же ряду. Духовными отцами узников тюрьмы Петропавловской крепости числились проверенные попы из Петропавловского собора или других окрестных церквей. Известно, что каждый православный имел право требовать перед смертью исповедника. В 1721 году предстоящая казнь подьячего Ивана Курзанцова была отложена «того ради, что ко исповеди по многому увещанию отца духовного не пошел», и власти хотели выяснить причину такого упрямства. Этот неординарный поступок подьячий совершил для того, чтобы подать жалобу на неправильный, по его мнению, порядок расследования его дела, что (правда, ненадолго) продлило ему жизнь.

Обычно же не забота о душе преступника волновала следователей. Священник выполнял у постели умирающего задание начальства и должен был, в сущности, провести последний в жизни колодника «ропрос», узнать подлинную правду – ту, которую не мог, страшась мучений в ином мире, скрыть перед своим духовником верующий человек. В 1729 году, узнав, что умирающий колодник Михаил Волков требует священника, верховники, которые руководили следствием, вначале послали к нему чиновников, чтобы «спросить с увещанием, подлинно ль те слова... говорить научали его». Сам же священник получил соответствующую инструкцию от сыска: «И тому священнику приказать – у него, Волкова, при исповедании спрашивать по духовности, правда ли он, Волков, на Федора... и других лиц сказал, что показано от него, Волкова, в роспросе ис розыску... или он то затеял напрасно». Священник потом рапортовал о проделанной им работе: «Показанного Волкова он исповедовал и Святых тайн сообщил и при исповеди по вышеозначенному приказу его спрашивал», а исповедуемый отвечал, что на допросах говорил «самую правду». В 1775 году священник два дня исповедовал (читай – допрашивал) умирающую княжну Тараканову, но не добился нужного признания и ушел из камеры, так и не удостоив ее последнего причастия.

На исповедальном допросе, как и во время увещевания, священнику было запрещено знать «важность», то есть суть преступления. Его задача была предельно узка – добиться раскаяния преступника, подтверждения или опровержения данных им ранее показаний. Хотя все священники были людьми надежными и проверенными, все же иногда – в делах особо важных – им не доверяли. Тогда во время совершения таинства исповеди возле священника сидел караульный офицер или канцелярист и записывал исповедальные слова: «А потом оной роспопа Петр, будучи в болезни, по исповеди, при отце своем духовном, *да при караульном обер-офицере* сказал...».

Исповедальное признание на следствии ценилось весьма высоко – считалось, что перед лицом вечности люди лгать не могут. Выше сказано о расстриге Илье, который не только

отказался признать извет на него конюха Михаила Никитина, но и сам обвинил Никитина в говорении этих же «непристойных слов». Он выдержал три пытки, а Никитин умер. Поэтому у Ильи появилась надежда выбраться из тюрьмы. Но этого не произошло – все его расчеты «испортила» исповедь Никитина перед смертью. В протоколе записано, что Никитин, «будучи в болезни, по исповеди, при отце духовном, показал, что он тех слов подлинно не говаривал и, будучи под караулом, умре, почему признаваетца, что оной рострига [Илья] означенные непристойные слова говорил подлинно, а на вышепомянутого конюха Никитина о произошедших словах показывал ложно, отбывая вины своей».

Исповедальные показания использовались следствием и для ареста новых людей. На исповеди самозванец Холшевников в 1725 году назвал жонку Марью своей сообщницей. О ней сказано в резолюции Тайной канцелярии: Марью пытать, «понеже означенной Холшевников о том на оную жонку, будучи в болезни, по исповеди при отце духовном, также и з дву розысков, показывал именно».

Но здесь, как и в других ситуациях, не было жесткого правила. Следователи Тайной канцелярии понимали, что люди могут солгать и на исповеди. В 1722 году монах Кирилл донес на безжалостно преследовавшего его архимандрита Александра в подлинных (несомненных и потом доказанных другими) «продерзостных» высказываниях о Петре I и Екатерине. Не выдержав заключения, Кирилл умер. Перед смертью Кирилл совершил подлинно христианский поступок и в исповеди «сговорил» свой извет с Александра. Он сказал, что извет его ложен и архимандрит ни в чем не виноват. Это, казалось бы, открывало Александру дорогу на свободу, но нашелся другой ненавидящий его доносчик, и исповедальный допрос монаха Кирилла был проигнорирован.

В деле Маслова и Федорова 1732 года сказано, что как изветчик, так и ответчик стоят на своем и нужно продолжать далее розыски, «но токмо видно, что они люди *непотребные* и правды в них сыскать неможно, понеже они оба при отце духовном, и оной Маслов с подъему, а Федоров с трех розысков утверждались всякой на своем показании и истиной в них не сыскано». Поэтому обоих наказали кнутом и сослали.

К середине XVIII века под влиянием идей Просвещения и вообще благодаря значительному смягчению нравов в царствование Елизаветы Петровны заметно стремление государства пересмотреть отношение к пытке. По этому пути двигалась вся Европа: в Пруссии пытки отменили в 1754 году, в Австрии – в 1787 году, во Франции – в 1789 году. Жестокость обращения с людьми в политическом сыске отражает особенность политического строя страны, степень развитости судебной системы и гражданского общества. В тех странах, где действовал институт присяжных, где сложились традиции публичного суда, существовала адвокатуры, там пытки исчезли рано. В Англии и Швеции их не было уже в XVI веке, исключая, естественно, процессы о ведьмах.

При Елизавете были введены некоторые ограничения в традиционный пыточный процесс: отменили истязания для людей, сделавших описки в титуле государя, перестали пытать детей до 12 лет. В 1751 году Сенат рекомендовал судам и администрации «как возможно доходить, дабы найти правду, чрез следствия, а не пытку и когда чрез такое следствие того изыскать будет неможно, то больше о том не следовать, а учинить им за то, в чем сами винулись». Тогда же запретили пытать обвиненных в корчемстве.

После отмены «слова и дела» Петром III и вступления на престол Екатерины II новые веяния гуманизации права усилились. В указе Сената от 25 декабря 1762 года местные власти были предупреждены: «В пытках поступать со всяким осмотрением, дабы невинные напрасно истязаны не были и чтоб не было напрасно кровопролития, под опасением тягчайшего за то по указам штрафа». Но предупреждение это было скорее рекомендацией, ибо указ содержал оговорку: «Что же следует до таковых, которые по указам тому (то есть пытке. – Е. А.) подлежат, с ними поступать так, как указы повелевают непременно». Об осмотрительном применении

пытков, в виде пожелания, говорила 15 января 1763 года в Сенате сама императрица Екатерина II.

Как известно, Наказ Екатерины 1767 года рассматривался властями всех уровней как полноценный законодательный акт, принятый государственными органами к исполнению. Автор Наказа осуждала пытки как антигуманные и бессмысленные: «Употребление пытки противно здравому, естественному разсуждению; само человечество вопиет против оных и требует, чтоб она была вовсе уничтожена». Эти строки продиктованы не только гуманизмом Екатерины II, которая не терпела, чтобы при ней били слуг или животных, но и ее рационализмом. В сознании людей середины века произошел важный перелом: признание, добытое с помощью истязания, уже не считалось, как раньше, абсолютным доказательством виновности, саму же пытку признавали препятствием для выяснения правды. Запрещая пытки Пугачева и его сообщников, императрица писала М. Н. Волконскому 10 октября 1774 года: «Для Бога, удержитесь от всякого рода пристрастных распросов, всегда затемняющих истину».

В «Антидоте» – полемическом сочинении на путевые записки аббата Шаппа д'Отроша – императрица прямо пишет, что после отъезда путешественника, обличавшего пытки, в России уже «уничтожены все пытки». Это высказывание предназначалось больше для зарубежного, чем для отечественного читателя, – в действительности же пытки и по закону, и де-факто сохранялись. Только через десять лет после отъезда аббата, точнее 8 ноября 1774 года, губернские учреждения получили секретный указ о неприменении пыток в виде телесных истязаний. Почему же этот указ был секретным? Чтобы была возможность применять угрозу пытки. Приготовленный к пытке человек, не зная, что она запрещена, испытывал страх и начинал давать признательные показания и объявлять своих сообщников.

В октябре 1767 года Архангелогородская губернская канцелярия расследовала дело Арсения Мациевича и капитана Якова Римского-Корсакова. Генерал-прокурор Вяземский приказал чиновникам, ведшим следствие, передать подследственным, что «есть-ли они истинной не покажут, *поступлено будет по всей строгости законов*». Все знали, что это был эвфемизм пытки. Но при этом Вяземский секретно предупреждал следователей: «Но как по беспримерному е. и. в. великодушию и милосердию никакия истязания терпимы быть не могут, то вам рекомендую, чтоб по сему делу отнюдь побоями никто истязаем не был, а только б без всякаго наказания, показать в сем деле только словами строгость, сопряженную с благоразумием и верностию к е. и. в. и чрез то б одно... людей подвигнуть к чистосердечному признанию». Поэтому можно верить сведениям о том, что при допросах Пугачева следователи якобы говорили знаменитому арестанту: императрица разрешила им вести дознание «с полной властью ко всем над тобою мучениям, какия только жестокость человеческая выдумать может», хотя на самом деле делать это не собирались. Однако угрозы применить пытки подействовали, и Пугачев стал давать показания.

Ясно, что разделительная грань между угрозами на словах применить пытку (*territio verbalis*), а также следующей стадией (*territio realis*), то есть демонстрацией подследственному орудий пыток, которые могли применить к нему, и, наконец, собственно пыткой была весьма условна, тем более что новая трактовка понятия «допрос с пристрастием» (об этом ниже) позволяла обходиться при пытке без дыбы и кнута. Угроза пыткой и прямое применение пытки долгое время в царствование Екатерины II шли рядом и широко использовались в следственном деле. Дело Салтычихи, судьба которой решалась в 1768 году в высших сферах, говорит об этом со всей определенностью. Упорство садистки, не признавшей ни одного из своих чудовищных преступлений, привело к тому, что императрица дала указание «объявить оной Салтыковой, что все обстоятельства дела и многих людей свидетельства *доводят ее к пытке*, что действительно с нею и последует». В проекте указа, откуда взята цитата, сказано еще, что ей следует показать настоящую пытку над другим преступником. В какой-то момент Екатерина II решила, как она писала, «поступить с нею, Салтыковою, по законам, но при этом прилежно

наблюдать, чтобы напрасного крови пролития учинено не было». Но потом императрица все-таки передумала, сочтя, что преступления Салтычихи настолько очевидны и доказаны, что они даже не требуют признаний изуверки.

Таким образом, пытка при Екатерине не была отменена официально, а весьма глубокая, противоречащая всему средневековому праву мысль императрицы о том, что главной задачей следствия является бесспорное обличение преступника, а не его признание, так и не была закреплена законодательно. По-прежнему де-юре и де-факто венцом следственного процесса считалось *личное признание подсудимого* в совершении преступления, и поэтому пытка как вернейшее средство достижения этого признания оставалась в арсенале следствия. Выражения «*поступать по законам*» и «*поступать со всей строгостью законов*» в екатерининское время понимали как угрозу пыткой. Да и сама пытка не была редкостью. За 1763–1767 годы в журналах и протоколах Сената сохранилось немало записей о том, что в губерниях «многие пытаны, а некоторые и огнем жжены без всякого прежде того увещания». Подчас людей пытали без особой необходимости – после признания, при наличии ясности мотивов и всех обстоятельств совершенного ими преступления. В 1766 году в Екатеринбурге было начато дело казака Федора Каменщикова, который «разглашал», что «бывший император (то есть Петр III. – Е. А.) вживе и неоднократно-де в Троицкую крепость обще с... губернатором Волковым приезжали для разведывания о народных обидах в ночное время». Каменщиков так упорно отрицал извет на него, что следователи писали в Сенат, что «по заперительству и по примеченной в его показаниях, [даже] по множайшим увещаниям, точной несправедливости, инаково обойтись истинной правды, яко о самой великой важности доискаться неможно, так принуждена Оренбургская губернская канцелярия к пытке приступить».

Пытка была по-прежнему в ходу еще по двум причинам. Во-первых, добиться признания без пытки мог только высокочлассный специалист, знаток человеческих душ, умевший создать такие психологические условия, при которых человек признавался и раскаивался в содеянном. Таким специалистом считался тогда один только С. И. Шешковский. Все же остальные следователи действовали по старинке. Выше упоминалось поручение архангелогородским чиновникам расследовать дело Мациевича и Римского-Корсакова. Через две недели бесплодных допросов губернская канцелярия рапортовала Вяземскому, что «все на словах строгости употребляемы были, но никакого успеха не последовало, как из очных ставок увидеть изволите». В этих словах звучит некоторая обида на центр, не давший возможности посещать арестантов для достижения истины: «Все на словах строгости и увещания во изыскании прямой истины не предупели и какое великое разноречие, то из представленного экстракта усмотреть соизволите».

Во-вторых, в массе чиновничества, военных, просто власть имущих по-прежнему царило твердое убеждение, что только болью можно заставить человека говорить правду и принести покаяние. Например, в 1764 году многие были убеждены в необходимости пыток Василия Мировича, чтобы выявить его сообщников. Глава из третьего тома «Жизни и приключений Андрея Болотова» примечательна как своим названием – «Истязание воров и успех от того», так и содержанием. Болотов описывает, как он, обнаружив воровство в своем новом имении, пытался с ним бороться гуманными средствами – уговорами, увещаниями, угрозами, но потерпел неудачу. Затем он пять раз пытал одного из пойманных воров, намереваясь узнать у него имя второго, бежавшего вора, но пять раз вор показывал на разных людей, непричастных к краже. Помещик – доморощенный следователь был в ярости: «Я велел скрутить ему руки и ноги и, бросив в натоленную жарко баню, накормить его насильно поболее самую соленую рыбу и, приставив к нему караул, не велел давать ему ни для чего пить и морить его до тех пор жаждою, покуда он не скажет истины и сие только в состоянии было его пронять. Он не мог никак перенести нестерпимой жажды и объявил нам, наконец, истинного вора, бывшего с ним в сотовариществе».

К середине XVIII века изменилось содержание понятия «*ропрос с пристрастием*». Ранее так называли допрос в застенке перед пыткой, но без ее применения. С середины XVIII века понятие это стало означать облегченный вариант пытки вообще: вместо кнута использовали более легкие инструменты – батоги (палки) и плети. Впрочем, новое толкование этого понятия известно уже в 1730-х годах, когда могли «спросить с пристрастием накрепко под битьем батогами» или допросить «с пристрастием и при битье кошками». Допрос с битьем плетью особенно распространился при Елизавете Петровне. В екатерининские времена генерал-прокурор Сената князь Вяземский писал о допросе преступника: «Солдату Дмитриеву был пристрастный допрос, но не по-прежнему, не пытка, а битье батоги». Подобное «малое наказание», по-видимому, применялось и при допросе Пугачева в начале октября 1774 года.

Точно установить, пытали ли людей в Тайной экспедиции, мы не можем. Прямых свидетельств о пытках там нет, но слухи о том, что там пытали, точнее били, ходили в обществе. К. В. Сивков не сомневался, что в Тайной экспедиции «широко применялись телесные наказания и пытки», хотя упоминает только один случай, когда в 1762 году о Петре Хрущове и Семене Гурьеве было сказано: «Для изыскания истины с пристрастием под батожем распрашиваны». Конечно, уже сама неясность вопроса о пытках в Тайной экспедиции должна рассматриваться как свидетельство в пользу их отсутствия – возможны ли исследовательские сомнения на сей счет в отношении, например, Преображенского приказа князя Ромодановского или Тайной канцелярии Ушакова?

Будем иметь в виду, что в стране, где побои людей, «раздача боли» были печальной нормой, можно было и не иметь застенка в Тайной экспедиции – сам государственный страх, угроза применения не запрещенной официально пытки делали свое дело с «клиентами» экспедиции. Кроме того, формой пытки являлось уже само содержание арестанта в казематах Петропавловской крепости. Так было с больной самозванкой Таракановой. Князь А. М. Голицын писал Екатерине II: «хотя я, по лукавству ея и лже, не надеялся того, дабы она написала что-нибудь похожее на правду, однакож, не теряя вовсе всей надежды, думал иногда по человечеству в таком ее *утесненном строгостию и болезнью состоянии* найти в ней чистосердечное раскаяние». Эта форма пытки была одобрена Екатериной, которая отвечала Голицыну: «Примите в отношении к ней *надлежащие меры строгости*, чтобы, наконец, ее образумить». В 1762 году власти Тамбова схватили кричавшего «слово и дело» купца Д. Немцова, заперли его на два дня без воды и еды в камерке при ратуше. На третий день он признался в ложном кричании «слова и дела», сказал, что делал это, «избавляясь от постылой жены».

Пытка в России была отменена формально только по указу 27 сентября 1801 года после скандального дела в Казани. Там казнили человека, признавшего под пыткой свою вину. Уже после казни выяснилось, что человек этот был невиновен. Тогда Александр I предписал Сенату «повсеместно по всей империи подтвердить, чтобы нигде, ни под каким видом, ни в высших, ни в низших правительствах и судах никто не дерзал ни делать, ни допускать, ни исполнять никаких истязаний под страхом неминуемого и строгого наказания» и чтобы «наконец, самое название пытки стыд и укоризну человечеству наносящее, изглажено было навсегда из памяти народной». Однако указ этот остался одним из благих пожеланий либеральной весны царствования Александра. Пока в России существовали телесные наказания, крепостное право, палочная дисциплина в армии, говорить об отмене пыток было невозможно. Лишь с 1861 года, с началом судебной и иных реформ, применение пытки в политическом сыске стало затруднительным, однако изобретательные следователи жандармских управлений и местных органов власти находили немало способов заменить пытки кнутом или плетью другими истязаниями. Словом, в том или ином виде пытка сохранялась в русской истории и без нее политический сыск был как без рук.



В день рождения Петра 30 мая 1724 года в церкви села Преображенского к царю после обедни подошел серпуховский посадский человек Афанасий Шапошников. Он поздравил Петра с праздником и поднес три калача серпуховские по 2 копейки штука, перевязанные разноцветными лентами. Петр поблагодарил подданного и тот напросился в гости к государю, спросив «укажет ли ему ехать с собою». Император указал. Потом Шапошников в компании с Ягузинским, Макаровым и другими приближенными царя обедал во дворце. Увидав, что государь нюхает табак, осмелевший Шапошников выразился с сомнением о пользе табака, на что Петр «изволил рассмеяться и сказал ему: „Не рыть бы тебе, Афанасий, у меня камня“». Шапошников угрозы не понял и после обеда подошел к императору с вопросом, оставаться ему или ехать домой. Петр рассвирепел и дважды ударил нахала тростью, а потом указал взять его за караул. После этого император вернулся в Петербург, а с ним привезли и нового колодника.

5 сентября А. И. Румянцев спросил царя: что делать с Шапошниковым? Петр указал отвести его в Тайную канцелярию и доложить о нем «при случае». Однако случай доложить Петру так и не представился, император умер в конце января 1725 года. По какой причине сидит в крепости Шапошников, сказать никто не мог. Наконец, несколько месяцев спустя после смерти Петра был подписан указ об освобождении Шапошникова, вина которого была сформулирована без ясности: «Чинил некоторые продерзости». Но купец вышел на свободу только 12 февраля 1726 года, спустя полтора года после радостного события в Преображенском.

Глава 7. Приговор

Петровская эпоха реформ вошла в историю России как время кардинальных преобразований системы судопроизводства, однако для политического сыска судебная реформа мало что значила. Те «два первых пункта», которые включали в себя корпус государственных преступлений, находились в исключительной компетенции государя. Он сам определял, как и в какой форме будет наказан государственный преступник. Проследим, как решалась судьба государственных преступников.

Завершив расследование преступления, подьячие сыскного ведомства составляли по материалам дела «выписку» или «экстракт» (известны и другие названия: «*краткая выписка*», «*изображение*»). На основе экстракта готовилось решение, которое отражалось в протоколе в виде «определения» следующего образца: «По указу е. и. в. в Канцелярии тайных розыскных дел слушано дело... Определено...» или «Слушав выписку о распопе Савве Дугине, определено...». Был и такой вариант приговора: «Учинить по всенижайшему Тайной канцелярии мнению...». После этой преамбулы излагался состав преступления, а затем шел проект приговора с перечнем законов, на основе которых выносили решение о судьбе преступника. Наиболее часты были ссылки на Соборное уложение 1649 года (особенно на главы 1 и 2), Артикул воинский 1715 года; упоминались и некоторые именные указы о государственных преступлениях, названные в главе первой данной монографии. При этом ссылка на законы, по которым казнили политических преступников, не была обязательной. Адресатом такого документа был самодержец или высший правительственный орган. Сохранилась копия протокольной записи о приговоре императрицы Анны по делу Погуляева: «1733 г., генваря 31. В Канцелярии тайных розыскных дел генерал... Андрей Иванович Ушаков объявил, что по учиненной в Тайной канцелярии выписке и по объявленному под тою выпискою Тайной канцелярии определению... докладовал он, генерал и ковалер, е. и. в., и е. и. в., слушав оной выписки и определения, соизволила указать в учинении оному Погуляеву за показанную ево вину смертной казни».

Итак, экстракт, или выписка, поданная государю сыскным ведомством, обычно содержала проект приговора по делу. Роль такого проекта приговора-указа для Екатерины I, решавшей летом 1725 года судьбу архиепископа Феодосия, сыграла «*Предварительная осудительная записка*». Этот документ написан как черновик указа с характерными для него сокращениями: «По указу и проч. и проч., такой-то имярек сослан и проч., и проч. для того: сего 1725 году апреля, в ... день, показал он, Феодосий, необычайное и безприкладное на высокую монаршую ея велич. государыни наша императрицы честь презорство (пренебрежение. — Е. А.)...» и далее дано описание преступлений опального иерарха. Заканчивалась «Записка» такими словами: «За которых его, Феодосия, страшные и весьма дивные продерзости явился он достоин и проч., и проч., но всемилостивейшая государыня и проч., и проч.». Как мы видим, в последних конспективных фразах проекта приговора предполагалось смягчить наказание преступнику. Так это и было сделано в окончательном приговоре императрицы.

На проект приговора обычно следовала резолюция государя (государыни), который либо подписывал подготовленный заранее пространный указ, либо ограничивался краткой пометой на проекте или даже на экстракте. Последняя форма судебного решения встречается очень часто, особенно в петровское и аннинское время.

На экстракте, который А. И. Ушаков подал императрице Анне Ивановне по делу Вестенгарт и Петровой, предложив наказать вторую кнутом и ссылкой в дальний монастырь, императрица собственноручно написала: «Вместо кнута бить плет[ь]ми, а в протчем быть по вашему мнению. Анна». На этом основании был составлен указ 26 июля 1735 года, гласивший: «По силе полученного сего 26 дня июля имянного е. и. в. указа, подписанного е. и. в. на поданном ис Тайной канцелярии экстракте с объявлением Тайной канцелярии определения о мадаме Ягане

Петровой собственною е. и. в. рукою, по учинении оной Ягане за важную вину, о чем явно во оном экстракте, наказания плетьюми и ссылке в Сибирь в дальний девичий монастырь». Указ этот не предназначался для публикации, и в конце протокола Тайной канцелярии, откуда мы его цитируем, было записано: «А вышеупомянутой экстракт с подписанием на нем собственною е. и. в. руки, приобща к делу... запечатав канцелярскою печатью, хранить особо».

Бывало, что приговор, вынесенный государем в устной форме по устному докладу начальника сыскного ведомства, записывался в протоколе Тайной канцелярии со слов начальника и оформлялся в виде «*записанного именного указа*». Таким был приговор по делу Докукина. Экстракт по делу начинался словами: «В доклад. В нынешнем 1718 году...». Далее излагалась суть преступления. В конце экстракта был поставлен вопрос: «И о том что чинить?» Резолюция Петра под экстрактом гласила: «1718 г., марта 17. Великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, слушав сей выписки, указал по имянному своему в. г. указу артиллерийского подъячего Лариона Докукина, что он на Старом дворце, во время божественной литургии подал е. ц. в. воровския о возмущении народа против его в. письма (и проч. из доклада слово в слово), и за то за все казнить смертию». Эта резолюция, записанная в журнале присутствия Тайной канцелярии П. А. Толстым и Г. Г. Скорняковым-Писаревым как именной указ, имела окончательную силу. Волю высшей власти мог передать и кто-то другой, действовавший по поручению монарха.

Известно множество по сути бессудных расправ, когда судебное рассмотрение дела заменялось волей государя. Особенно ярко это видно в Стрелецком розыске 1698 года, когда 144 человека вообще даже не привозили в сыскные палаты и отправили на эшафот прямо из тюрем без всякого пусть хотя бы формального рассмотрения их дел. Характерной чертой политических процессов того времени было вынесение приговоров (даже смертных) некоторым участникам процесса еще до окончания следствия. Такие поспешные приговоры приводили к тому, что уже наказанных и сосланных преступников нередко вновь привозили из тюрем и Сибири на допрос по старому делу, заново судили и даже казнили.

Государь мог выносить приговор и без уведомления сыскного ведомства о составе преступления человека. 4 февраля 1732 года императрица Анна послала главнокомандующему Москвы С. А. Салтыкову именной указ: «Указали мы обретающагося в Москве иноземца Еядиуса Наундорфа, которой стоит в Немецкой слободе на квартире у капитана Траутсмана, сыскав его, вам послать за караулом в Колский острог, где его отдать под тамошний караул и велеть употребить в работу, в какую годен будет и на пропитание давать ему по пятнадцать копеек на день из тамошних доходов и повелевает нашему генералу и обер-гофмейстеру Салтыкову учинить по сему указу». Никто так и не узнал, за что сослали иноземца – никаких документов об этом деле более до нас не дошло.

К подобным в сущности бессудным приговорам, несмотря на свою любовь и почтение к законности, не раз прибегала и Екатерина II. В 1775 году она прервала расследование дела княжны Таракановой еще до завершения его сердитым письмом-приговором к князю Голицыну: «Не допрашивайте более распутную лгунью, объявите ей, что она за свое упорство и бесстыдство осуждается на вечное заключение».

Начальник сыскного ведомства совмещал обязанности администратора и судьи, имел право самостоятельно выносить приговоры по многим видам политических дел. Приговоры эти записывались как решения самого главы ведомства или его заместителей. Большинство решений в Преображенском приказе выносил князь Ф. Ю. Ромодановский, а в Тайной канцелярии – П. А. Толстой или кто-либо из его заместителей-«товарищей» – И. И. Бутурлин и А. И. Ушаков.

Политические дела решали и высшие органы исполнительной власти – Боярская дума («бояре»), Сенат, различные советы, стоявшие над Сенатом. Среди документов Тайной канцелярии довольно часто встречаются постановления: «Отослать в Канцелярию Сената и по тому

делу что в Сенате приговорят, так там и учинить». После этого материалы дела (экстракт и проект приговора) сыскное ведомство вносило в Сенат и тот постановлял: «Слушав из Тайной канцелярии доношения и выписки, приговорили...».

В 1727–1729 годах приговоры по делам политического сыска выносил Верховный тайный совет, а при императрице Анне Ивановне – Кабинет министров. Докладчиком по экстракту из дела перед кабинет-министрами по политическим делам выступал А. И. Ушаков, который представлял проект приговора. Он сам часто участвовал в обсуждении судьбы преступников. После этого в протокол заседания Кабинета вносилась запись: «1736 года июня 9-го дня, по указу е. и. в. присутствующие министры, слушав поданных... из Тайной канцелярии экстрактов с объявлением определения о содержащ[емся] в Тайной канцелярии ссыльном Егоре Строеве... рассуждая о злодейственных изменнических... винах, о которых явно в экстрактах, за которые его вины в Тайной канцелярии определено ему учинить смертную казнь, *согласны в том с определением Тайной канцелярии*».

Доклад – проект приговора по делу Татищева и Давыдова – 3 апреля 1740 года в соавторстве написали начальник Тайной канцелярии А. И. Ушаков и кабинет-министр А. И. Остерман. Ранее точно так же по делу Долгоруких 14 октября 1739 года Ушаков и Остерман составили «Надлежащее рассуждение» о винах Долгоруких, которое легло в основу сурового приговора императрицы.

В случаях важных, подобных делу Столетова, решение Кабинета министров представляли государыне и она подписывала подготовленную заранее резолюцию: «Столетова казнить смертию... Анна». А затем уже все это решение облакалось в высокопарные и туманные слова манифеста, предназначенного для публикации: «Оный Столетов... не токмо б от таких злодейственных своих поступков воздержания в себе имел, но еще великие, изменнические, злодейственные замыслы в мысли своей содержал и некоторые скрытные речи дерзнул другим произносить и грозить, також и в прочих преступлениях явился, как о том по делу явно, в чем он сам, Столетов, с розысков винился, того ради, по указу е. и. в., по силе государственных прав, велено оного Столетова казнить смертию – отсечь голову».

Однако не все приговоры по политическим делам оформлялись как решения исполнительных учреждений. XVIII век знает и специальные временные судебные комиссии («Генеральные комиссии») или «*Генеральные суды*», которые создавались для рассмотрения одного дела и должны были вынести приговор или, точнее сказать, поднести на окончательное усмотрение государя проект приговора. Членов комиссий назначал государь. В «досенатские времена» такие комиссии, именовавшиеся одним словом – «бояре», состояли из членов Боярской думы и других высших должностных лиц.

Позже временные комиссии (суды) формировались на основе Сената, образованного в 1711 году. Нередко к сенаторам по указу государя присоединялись члены Синода, высшие чиновники, придворные и военные (в том числе и гвардейские офицеры). Судьбу П. П. Шафирова в 1723 году решала комиссия – суд, составленный из «господ сенаторов, генералитета, штап- и обер-афицеров от гвардии» из 10 человек. После этого на приговоре комиссии о разжаловании и смертной казни Шафирова Петр I написал: «Учинить все по сему кроме действител[ь]ной смерти, но сослать на Лену».

Самая большая временная судебная комиссия была создана по делу царевича Алексея Петровича. 13 июня 1718 года Петр I обратился «любезноверным господам министрам, Сенату и стану воинскому и гражданскому» с указом о назначении их судьями своего сына. По воле царя в суд вошло 128 человек – фактически вся тогдашняя чиновная верхушка. Многие факты позволяют усомниться в компетентности и объективности этого суда да и других подобных судов, заседавших по делам политических преступников весь XVIII век. Из приговора 24 июня 1718 года, вынесенного судом по делу царевича, следует, что суд собирался всего лишь несколько раз. При этом суд не рассматривал материалов дела, за исключением материалов

переписки Петра с сыном, и не вел допросов многих обвиняемых и свидетелей по делу царевича. Был произведен лишь краткий допрос самого царевича 17 июня 1718 года.

Как судьи выносили приговор, мы не знаем. Об этом в тексте документа сказано невразумительно: «По предшествующим (поданным, предъявленным? – Е. А.) голосам единогласно и без всякого прекословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за вышеобъявленные все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, достоин смерти». Известно, что Петр I был сторонник коллегиальных методов решения различных дел путем тайного голосования. Сама процедура тайного голосования была подробно расписана в регламентах, а результаты подсчета голосов тщательно отмечали в особом протоколе. Ни о чем подобном в деле царевича Алексея не упоминается, что позволяет усомниться в том, что приговор суда явился результатом голосования, тем более тайного. Приговор не был окончательным: «Хотя сей приговор мы, яко рабы и подданные... объявляем... подвергая, впрочем, сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное рассмотрение е. ц. в. всемилостивейшего нашего монарха».

Мы не знаем, что испытывали люди, включенные в такой суд. Все они, лишенные Петром I права выбора, безропотно подписались под смертным приговором наследнику престола. Возможно, что многими руководил страх. П. В. Долгорукий передает рассказ внука одного из судей по делу А. П. Волынского в 1740 году, Александра Нарышкина, который вместе с другими назначенными императрицей Анной судьями приговорил кабинет-министра к смертной казни. Нарышкин сел после суда в экипаж и тут же потерял сознание, а «ночью бредил и кричал, что он изверг, что он приговорил невиновных, приговорил своего брата». Нарышкин приходился зятем Волынскому. Позже другого члена суда над Волынским, Шипова, спросили, не было ли ему слишком тяжело, когда он подписывал приговор 20 июня 1740 года. «Разумеется, было тяжело, – отвечал он, – мы отлично знали, что они все невиновны, но что поделать? Лучше подписать, чем самому быть посаженным на кол или четвертованным».

В послепетровский период суды создавались, как правило, с меньшим составом участников. Дело Долгоруких 1739 года рассматривало «Генеральное собрание ко учинению надлежащего приговора». Состав его, как и проект самого приговора, заранее были определены в докладе Остермана и Ушакова на имя Анны Ивановны. В приложенном к докладу «Реестре, кому в собрании быть» сказано кратко: «Кабинетным министрам. Трое первые синодальные члены. Сенаторы все». Однако кроме них в «Генеральное собрание» были включены: обер-штаб-майстер, гофмаршал, четыре майора гвардии, фельдмаршал князь И. Ю. Трубецкой, три генерала, а также восемь чиновников из разных коллегий. Следственная комиссия по делу Бирона была по указу от 5 апреля 1741 года преобразована в суд. Шесть назначенных правительницей генералов и два тайных советника без долгих проволочек приговорили Бирона к четвертованию. Правительница заменила казнь ссылкой в Сибирь.

После вступления на русский престол императрицы Елизаветы началось следствие над А. И. Остерманом, Б. Х. Минихом, М. Г. Головкиным, а также другими вельможами, правившими страной при Анне Леопольдовне и участвовавшими в суде над Бироном. Их дела были переданы в назначенный государыней суд, в который вошли сенаторы и еще 22 сановника. Согласно указу, они должны были составить сентенцию-приговор по экстрактам дел преступников, то есть без обращения к их подлинным делам.

Приговор по делу Лопухиных вынес «Генеральный суд», образованный по указу Елизаветы 18 августа 1743 года. В него вошли три члена Синода, все сенаторы во главе с генерал-прокурором, ряд высших воинских и гражданских чиновников и четыре майора гвардии. При окончательном подписании «сентенции», кроме судей, под приговором поставили свои подписи не названные в реестре членов суда следователи – Н. Ю. Трубецкой и А. И. Ушаков. Члены суда знакомились с делом Лопухина и других только по экстракту из сыска, и в нем (кстати, вопреки данным следствия) было написано, что все преступники во всех своих пре-

ступлениях покаялись. Заседание началось утром 19 августа 1743 года с чтения экстракта дела князем Трубецким, а уже после обеда судьи подписали заранее подготовленный приговор – «сентенцию». «Генеральный суд» приговорил всех подсудимых к смерти. Суд был заочным да и не полным – под приговором стоит лишь 19 подписей.

Такой же суд был устроен по делу Гурьевых и Хрущева в 1762 году. В указе Екатерины II о состоявшемся процессе сказано: преступников, «яко оскорбителей величества нашего и возмутителей всенародного покоя», надлежало казнить и «*без суда*» (само по себе это любопытное признание. – Е. А.), но «человеколюбивое наше сердце не допустило сделать вдруг такого, столь строгого, сколь справедливого приговору. И так отдали мы сих государственных злодеев нашему Сенату». Суд приговорил-таки преступников к смертной казни, но императрица смягчила наказание.

В 1764 году Екатерина предписала передать В. Я. Мировича в руки сенаторов, которым надлежало рассмотреть его дело, «купно с Синодом, призвав первых трех классов персон с президентами всех коллегий». «Производитель всего следствия» генерал-поручик Веймарн представил свой доклад – экстракт, из которого изъяты многие важные факты из подлинных материалов следствия. Суд над Мировичем примечателен тем, что впервые после дела царевича Алексея преступник лично предстал перед судьями и отвечал на их вопросы. Другая особенность суда 1764 года заключалась в том, что суду по политическим преступлениям впервые не подкладывали на стол подготовленный в сыскном ведомстве приговор. Для его написания трое судей образовали комиссию, которая и представила вскоре проект приговора.

Принципы суда над Мировичем были реализованы во время суда над Емельяном Пугачевым в 1774 году. В «Полное собрание» (называлось также «комиссией») вошли сенаторы, члены Синода, «первых 3-х классов особ и президентов коллегий, находящиеся в... Москве». Этому «собранию» предстояло в Тайной экспедиции заслушать фрагменты экстракта с пояснениями следователей, после чего судьи задали Пугачеву шесть заранее составленных вопросов, чтобы убедиться в подлинности его показаний. Депутация из четырех человек посетила в тюрьме сообщников Пугачева, которые также подтвердили его показания. На этом судебное расследование крупнейшего в истории России XVIII века мятежа, приведшего к гибели десятков тысяч людей, закончилось. «По выводе злодея» из зала заседания Вяземский предложил собранию не только подготовленные выписки из законов, но и «сочиненной... Потемкиным краткий экстракт о винах злодея Пугачева и его сообщников, дабы, прослушав оные, к постановлению сентенции... решиться можно было». При составлении сентенции на суде разгорелась дискуссия о мере наказания преступников. Императрица рекомендовала Вяземскому ограничиться казнью трех или четырех человек, однако судебная коллегия приговорила к смерти шестерых, причем Пугачева и Перфильева – к четвертованию. Екатерине пришлось одобрить «Решительную сентенцию» без изменений.

Дело А. Н. Радищева 1790 года уникально в истории политического сыска XVIII века тем, что для его рассмотрения впервые использовался публично-правовой институт состязательного суда. По желанию Екатерины «преступление» Радищева следовало «рассмотреть и судить узаконенным порядком в Палате уголовного суда Санкт-Петербургской губернии, где, заключа приговор, взнести оный в Сенат наш». 15 июля Брюс направил в Палату уголовного суда особое «Предложение», что следует книгу «прочсть, не впуская во время чтения в присутствие канцелярских служителей, и по прочтении помянутого Радищева о подлежащем спросить». 16 июля Шешковский срочно направил Брюсу копию составленного ночью Радищевым чистосердечного раскаяния, которое, как пишет Шешковский, «иного не содержит, как он описал гнусность своего сочинения и кое он сам мерзит (презирает. – Е. А.)». Тем самым Шешковский давал Брюсу знать, что преступник уже вполне подготовлен к процессу и сможет на нем подтвердить все, что от него потребуется. Однако материалы Тайной экспедиции о Радищеве не фигурировали в судебном процессе.

Суд по делу Радищева велся с нарушением принятого процессуального права, в частности судьи не вызывали свидетелей. Но все эти странности легко объяснимы, так как, помимо дела в суде, сохранилось дело Радищева, которое велось в Тайной экспедиции, а также переписка по этому поводу высших должностных лиц империи. Суть в том, что судебное расследование, в сущности, им было ненужным – еще до начала суда большинство важных эпизодов дела выяснил политический сыск. Суд старательно обходил именно те эпизоды, которые были полностью расследованы в ведомстве Шешковского и которые вполне уличали Радищева в распространении книги. Думаю, что какие-то указания о том, что спрашивать, а о чем молчать, судьи получили заранее. Если бы мы не знали материалов политического сыска, то у нас вызвал бы много вопросов и сам приговор, отличавшийся недоговоренностью и юридической неточностью состава преступления Радищева, которого судили за распространение анонимной книги. Неоднократно исправленный приговор был утвержден Сенатом, потом Советом при высочайшем дворе. Радищев был приговорен к смертной казни, замененной императрицей ссылкой «в Сибирь в Илимский острог на десятилетнее безысходное пребывание».

Теперь рассмотрим правовой аспект вынесения приговора политическому преступнику. Во-первых, для права того времени характерно применение нескольких наказаний за одно преступление: позорящих (шельмование, клеймение), калечащих (вырывание ноздрей, отсечение членов), болевых (кнут, батоги), а также разные виды лишения свободы, ссылки и конфискации имущества. Закон допускал и такую комбинацию: шельмовав (опозорив) преступника, запятав его клеймом (или вырвав ноздри), палач, наконец, отрубал ему голову.

Во-вторых, примечательна нечеткость в определении тяжести вины конкретного преступника и соответствующего ей наказания. Законодатель полностью полагался на судью, который выносил приговор «по силе дела», то есть с учетом совокупности всех обстоятельств дела, и ему разрешалось *«учинить по рассмотрению своему правому»*. Несомненно, на приговоры в политических процессах весьма сильно влияли нормы общеуголовного процессуального права. Однако политический процесс, как уже не раз отмечалось выше, не столько следовал принятым юридическим нормам, сколько подчинялся воле самодержца. Соответственно этому сам государь, а чаще – выполнявший судебно-сыскное поручение чиновник мог без всяких ссылок на законы составить приговор и решить судьбу политического преступника: «По Уложению... надлежало было ему учинить смертную казнь, отсечь голову, а по мнению генерала-майора Ушакова смертной казни ему, Корноухову, не чинить... а вместо смертной казни быть ему тамо [в земляной тюрьме] неисходно». Так, *мнение* генерала, которое ничем не обосновывалось, становилось приговором и отменяло норму Уложения.

Без всякой ссылки на законы государь мог вынести приговор, а потом его отменить и вынести новый. 23 января 1724 года Петр «изволил читать экстракты по новгородскому делу, по вологодскому и указал... те дела решать по Уложению». И в тот же день без всякого объяснения изменил приговор: «Его величество, будучи там же, указал по именному своему указу бывшего фискала Санина, хотя приговором и определено отсечь ему голову и оное утверждено собственною его величества рукою тако: „Учинить по сему“, однако же ево, Санина, колесовать». Когда дело дошло до казни, то царь на Троицкой площади вдруг распорядился отменить четвертование Санина и отослал его снова в крепость.

Из дел сыска мы часто узнаем только то, что многие преступники наказаны «за их вины», «за важные вины», «за некоторые важные вины», «за его немаловажные вины». И это все, что мы знаем из приговоров об их преступлении. И все же «глухота» многих приговоров не снимает научной проблемы классификации тогдашних государственных преступлений и поиска соответствия им в шкале распространенных тогда наказаний. Речь идет о том, чтобы попытаться понять: почему за одни «непристойные слова» людей отпускают из сыска с выговором и предупреждением, а за другие подвергают пыткам и мучительной казни? Чем определяется «цена» этих слов и соответствующие им наказания?

Политический сыск выработал следующую практику. Просто бранное, «продерзостное» слово, не имевшее «важности», да еще сказанное «с пьяну», «с проста», обычно наказывали битьем кнута, но чаще – сечением батогами или плетью. Если же «непристойные слова» относились ко второй группе, если в них усматривалась «злодейственность», «важность», умысел, особая злоба, да еще с элементом угрозы в адрес государя, то тяжесть наказания возрастала: кнут, ссылка на каторгу в Сибирь с отсечением языка и даже смертная казнь. Однако все критерии в оценке «непристойных слов» сразу же смещаются, если речь идет о делах крупных, в которых замешаны видные люди, или даже о делах рядовых, но по каким-то причинам признанных «важными», привлечших особое внимание самодержца. На вынесение приговора по всем этим делам влияли уже не принятые ранее нормы судебной рутины, а скрытые политические силы, воля самодержца.

Так же трудно установить соответствие тяжести преступления продолжительности заточения или ссылки, хотя естественно предположить, что приговоренные к пожизненному заключению или ссылке совершили более серьезное преступление, чем те, о которых в приговоре сказано «на десять лет», «на урочные годы», «до срока» или «до указа».

Когда выносился приговор о государственных преступлениях, совершенных группой преступников, то неизбежно вставала проблема установлений «шкалы наказаний», ранжирования их для участников групповых преступлений в зависимости от степени виновности каждого. Приведу пример. Следственная комиссия в 1701 году вынесла приговоры 5 стрельцам, участвовавшим в бунте 1698 года, а также одной стрельцой жонке. Размещаю приговоры по нисходящей шкале наказаний:

1. Казнен смертью – 1 человек.
2. Бить кнутом, запятив, сослать в Сибирь «в самые дальние города» – 3 человека.
3. Бить кнутом, сослать в Сибирь «в самые дальние города», без запятивания – 1 человек.
4. «Без наказания сослать в Сибирь на вечное житье в самые дальние города» – 1 человек.

Из этой партии приговоренных смертью казнен был один человек – Федька Троицкий. В приговоре о его конкретной вине ничего не сказано. Он один из «воров, изменников и бунтовщиков». И так названы все без исключения приговоренные в тот день преступники. Вошедший во вторую группу Микитка Голыгин наказан «за бунт и за раскол», а двое, Ивашка Мельнов и Федька Степанов, – «за их воровство и возмутительные слова». В третью группу попал стрелец Епишка Маслов, который участвовал в мятеже, но его вовлекли туда с принуждением. Наконец, без наказания, только ссылкой в Сибирь отделалась жонка Аринка Афанасьева. Этот пример кажется типичным для приговоров по государственным преступлениям начала XVIII века. Ясно, что приговоренный к смерти Федька Троицкий признан в приговоре более виновным, чем Епишка Маслов, о котором указаны смягчающие его участь обстоятельства. Голыгин «за бунт и раскол» наказан суровее, чем Мельнов и Степанов «за их воровство и возмутительные слова», хотя, как уже сказано выше, понятие «воровство» почти безбрежно и охватывает фактически все преступления.

Итак, существовало устойчивое ранжирование вида причастности к государственному преступлению:

1. Зачинщик.
2. Сообщник.
3. Соучастник.
4. Неизветчик.
5. Подозреваемый (подозрительный за недоказанностью).

Такому ранжированию соответствуют и понижающиеся по степени суровости наказания. Вместе с тем в течение XVIII века усиливаются тенденции дифференцированного подхода к преступлению, становится заметно стремление даже в групповых делах определить меру нака-

зания не только в зависимости от оценки умысла, мотивов действия группы преступников, но и с учетом различных обстоятельств дела.

Во время расследования дел участников восстания Пугачева Тайная экспедиция направила в Казанскую и Оренбургскую следственные комиссии особые «Примечания», в которых выделялись семь разрядов преступников. К 1-му разряду отнесены самые серьезные преступники – те, кто «пристал в толпу злодея из доброй воли, и делал во обще с тою толпою злодеяния и убийствы верноподанных и других к тому соглашал и был между злодеев командиром». По 2-му разряду числятся преступники, совершавшие преступления по принуждению главарей мятежников, «не имев ни малейшего способа, по превосходству силы злодеев, тому противиться». К 3-му разряду отнесены те, кто пристал к мятежникам добровольно, «а злодейств и убийств» не совершал и других к ним не склонял. В 4-й разряд включали тех, кто от мятежников отстал добровольно, но с повинной не явился. Все эти четыре вида преступлений, как отмечалось в рекомендации, – «суть разных родов [и] преступники должны быть наказываемы, размеряя каждого по их деяниям».

По 5-му разряду числятся участники восстания, которые в злодеяниях не участвовали, а только «делали вредные разглашения»; по 6-му разряду проходили все те, кто совершал преступления (кроме убийств), но, вняв призыву царского манифеста, добровольно сдался властям и чистосердечно раскаялся в содеянном. Наконец, 7-й, особый разряд составили примкнувшие к бунтовщикам офицеры и унтер-офицеры, от которых «отнюдь извинении никакие принимаемы, кажется, быть не должны». Солдат, попавших к пугачевцам, предполагалось «по законам наказывать примерно» по жребью – каждого двадцатого. Все эти критерии применялись в судебной практике комиссий и других органов власти.

Однако когда после сражений под Казанью 12 и 15 июля 1774 года в руки правительственных войск попало не менее 10 тыс. человек, всеми этими разрядами пришлось пренебречь – нужно было срочно решать судьбу огромного количества колодников, содержать которых под арестом стало невозможно. Комиссия прибегла к упрощенному расследованию дел и вынесению приговоров. Нужно особо подчеркнуть – это было не то «упрощение», которое нам известно из истории подавления восстания Разина или Булавина, когда по Волге и Дону плыли плоты с повешенными за ребро сотнями бунтовщиков. Наоборот, екатерининские власти проявили неслыханную в тех условиях (после грабежей, убийств и поджогов в Казани) гуманность и за полмесяца выпустили большинство пленных, часто даже без телесных наказаний, поскольку не хватало уже кнутов. Как писал императрице П. С. Потемкин, мятежных крестьян после принесения ими присяги выдавали под расписку господам, управляющим и начальникам дворцовых волостей и заводов. Так же работала и Комиссия Лунина в Оренбурге. В его ведении было 2584 пленных, причем они мерли как мухи, и Комиссии в день приходилось рассматривать десятки дел, пропускать ежедневно сотни пленных.

Во время суда над самим Пугачевым и его сообщниками преступники были разбиты, по тяжести их вины, на «классы». Эту классификацию разработал А. А. Вяземский, и она была достаточно четкой в определении вины каждой группы преступников. По 1-му классу шел один преступник – Пугачев, по 2-му – «самые ближайшие [его] сообщники» – 5 человек, по 3-му классу – «первые разглашатели», то есть люди, стоявшие у истоков движения самозванца и поддержавшие его с самого начала. Их было трое. Но ранжирование преступлений не вело к унификации наказаний в одном классе. Вошедшие во 2-й класс преступники получили неодинаковые наказания: А. П. Перфильев приговорен к четвертованию, И. Н. Зарубин-Чика – к отсечению головы, а М. Г. Шагаев, Т. И. Подуров и В. И. Торнов – к повешению. Включенные в 3-й класс Василий Плотников, Денис Караваев, Григорий Закладников, Казнафер Усаев и Долгополов ждали наказания кнутом, вырывания ноздрей, клеймения и ссылки на каторгу, причем Долгополова указали содержать в оковах.

В целом же отметим, что юридически точное определение вины преступника с четко фиксированным для нее видом, сроком наказания для рассматриваемого времени было еще недостижимо. Поэтому часто неясно, почему за одно и то же преступление подельники получают разные наказания и как соотносятся их выявленная судом вина и тяжесть назначенного за это наказания, на чем строится система помилований.

В приговоре суда 1740 года по делу Волынского и его конфидентов сказано, что «сообщников его за участие в его злодейских сочинениях и рассуждениях»: Хрущова, Мусина-Пушкина, Соймонова и Еропкина четвертовать и отсечь им головы, Эйхлера колесовать и отсечь ему голову, Суде просто отсечь голову. Опять мы видим, как за одно преступление определяются разные наказания: всем отрубают головы, но четверых предварительно четвертуют, а одного колесуют. Меньше всего преступил закон Суда, и поэтому ему решили без мук отсечь голову. Однако через несколько дней императрица Анна пересмотрела приговор и, оставив обвинения, «смешала» в общем-то некую видимую нами в приговоре систему наказаний за соучастие. Из первой группы она приговорила к отсечению головы Хрущова и Еропкина, всех остальных оставила в живых. Это Соймонов, Эйхлер и Мусин-Пушкин, хотя и им назначили разные наказания: Соймонова и Эйхлера били кнутом и сослали на каторгу в Сибирь, а Мусину-Пушкину урезали язык и отправили на Соловки, Суду же наказали плетьюми и сослали на Камчатку. В итоге по этой установленной государыней новой шкале наказаний вдруг легче всех других оказался наказан Мусин-Пушкин, который вначале шел по первой группе преступников, приговоренных к самым тяжелым наказаниям, а теперь он не был даже бит кнутом, как Соймонов или Эйхлер. Почему так произошло, мы не узнаем никогда. Возможно, П. И. Мусина-Пушкина помиловали из-за его отца – заслуженного петровского деятеля И. А. Мусина-Пушкина. Это позволяет заподозрить та статья приговора, где сказано, что из имений преступника выделяются имения его отца и передаются его внукам, то есть детям преступника.

Этот и другие приговоры по многим другим политическим делам разрушают все наши представления о соотношении тяжести преступления и суровости наказания. Однако существовало несколько обстоятельств, которые несомненно влияли на приговор и судьбу преступника. Усугубляли вину и, соответственно, наказание *рецидив* и *недонесение*. Мягче организаторов, «заводчиков» наказывали *рядовых, второстепенных соучастников*. Облегчали судьи и участь тех, кто преступал закон *по принуждению других*.

Особо нужно сказать о *раскаянии* преступника. Политический сыск никогда не позволял побывавшему в застенке человеку уйти оттуда с высоко поднятой головой. «Бесстрашие», «упрямство» карались сурово. Преступника не только пытали, но и всячески унижали, ломали. При этом мало кого интересовала искренность раскаяния, важно было формальное признание. Правильным с точки зрения следствия было поведение В. В. Долгорукого, который после вынесения ему приговора по делу царевича Алексея написал государю покаянное письмо, в котором «приносил... вину свою». Это облегчило его участь. Разумно поступил в 1743 году Иван Лопухин, который признал, «что ему в его вине нет оправдания и он всеподданнейше просит милосердия, хотя для бедных малолетних своих детей». Словом, «повинную голову и меч не сечет» – благодаря раскаянию Долгорукий и Лопухин голов не потеряли. Впрочем, известно, что прошение князя Матвея Гагарина, повинившегося в 1721 году перед Петром I в своих преступлениях, ему не помогло – царь указал повесить сибирского губернатора, точно так же как не был помилован раскаявшийся и выдавший всех своих сообщников царевич Алексей.

Нераскаявшийся преступник вызывал серьезное беспокойство властей, вынуждал их суетиться, добиваться его «прозрения». Во время суда над Мировичем заметили, что при ответах на вопросы он проявлял «некоторую окаменелость». Он лишь выразил сожаление о печальной судьбе тех 70 солдат, которых увлек в бунт. В наказание за упрямство суд постановил сковать преступника цепями и так держать под строгим караулом. Уже через день генерал-прокурор Вяземский доложил высокому собранию, что Мирович «при сковании... в таком же состоянии

был, как и при увещании, а после начал плакать, из чего признается не пришел ли в раскаяние?» После этого вновь была отправлена делегация из судей, но даже кандалы не смутили преступника – он так и не раскаялся в содеянном.

Смягчалось наказание из-за *юного возраста* преступника. В 1733 году за одну и ту же вину взрослый солдат Алтухов получил кнут, а соучастники его «дети малые» – лишь плети. Меньшее число ударов кнута получали *женщины*, учитывали при наказании и *беременность* преступницы. О дворовой девке Марфе Васильевой, которая к моменту вынесения приговора оказалась беременна, в 1747 году вынесено решение: «Когда она от родов свободится, учинить наказание – бить плетьюми». Так же о беременной Софье Лилиенфельд в приговоре 1743 года мы читаем: «Отсечь голову, когда она от имевшаго ея бремя разрешится».

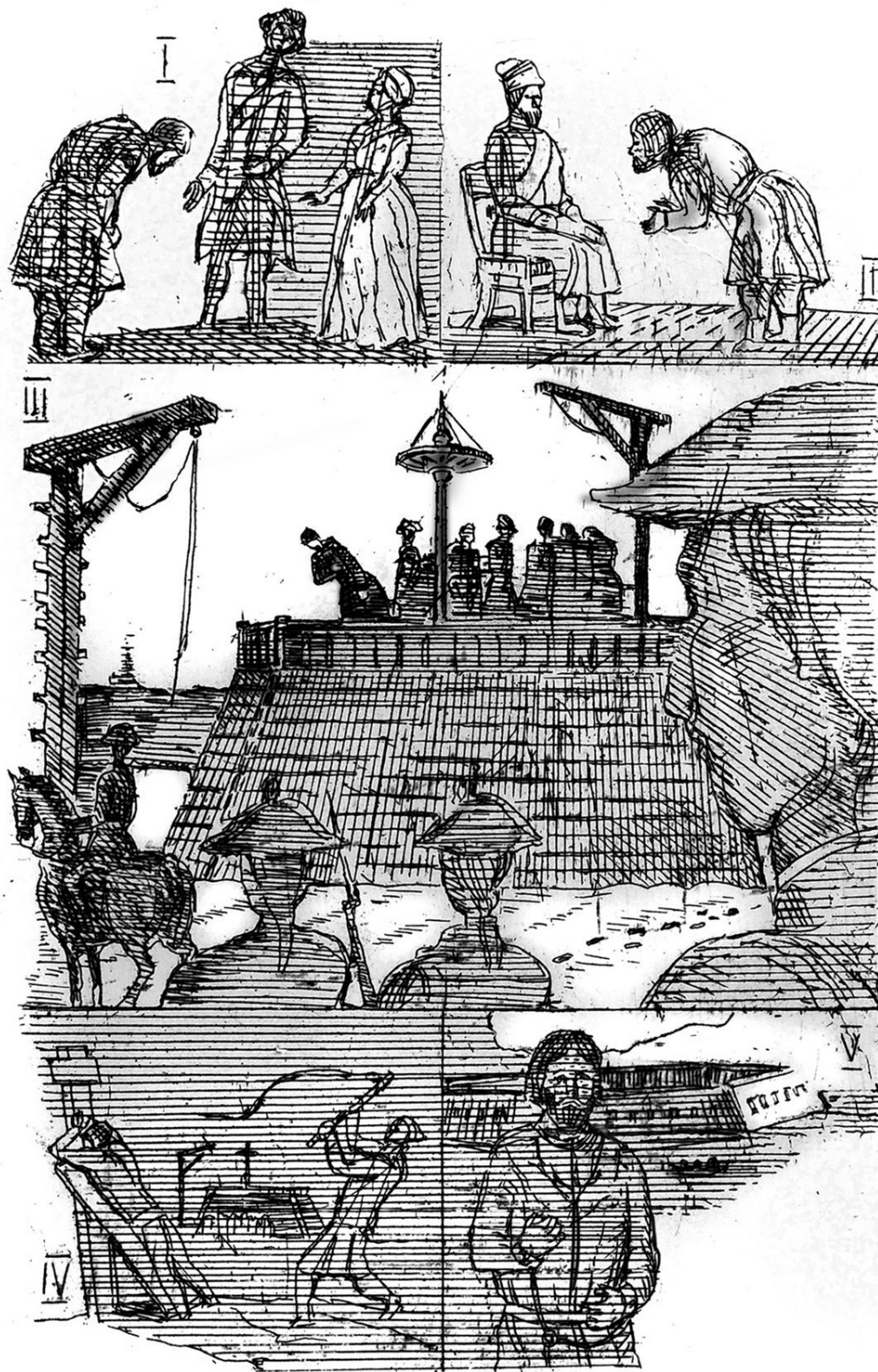
При вынесении приговора учитывались и многие другие обстоятельства – *осведомленность или неосведомленность подсудимого о преступлении, результаты, полученные при следствии, отсутствие умысла в действиях преступника, срок предварительного заключения, тяжесть перенесенных пыток* и др. Но более всего на коррекцию приговоров, особенно по важнейшим делам, воздействовала сила неуправляемой *самодержавной власти*, нарушавшая всю тогдашнюю логику соотношения преступления и наказания. И тогда недоумение по поводу приговора выражали даже те люди, которые были причастны к политическому розыску. В 1792 году именным указом императрица Екатерина II приговорила к 15 годам заключения в крепости Н. И. Новикова, а в отношении его подельников ограничилась официальным выговором – «внушением» и ссылкой их по деревням. Приговор Новикову вызвал вопросы А. А. Барятинского, который с большой тщательностью готовил этот процесс и полагал, что под суровый приговор суда подпадут минимум шесть-семь масонов, связанных с Новиковым. Получив указ императрицы, Барятинский 22 июня 1792 года писал С. И. Шешковскому: «Но позвольте мне дружески вам сказать: я не понимаю конца сего дела, как ближайшие его сообщники, если он преступник, то и те преступники! Но до них видно дело не дошло. Надеюсь на дружбу вашу, что вы недоумение мое объясните мне». Конечно, Барятинский рассчитывал раздуть из дела Новикова и его товарищей большой процесс и стать разоблачителем зловредных масонов – врагов отечества и престола. Но он не понял, что к концу следствия настроения императрицы изменились, она по неизвестным до конца причинам решила свернуть все дело.

История политического сыска знает и немало случаев, когда судьба узников годами никак не решалась. Типичным является постановление 1724 года об искалеченных на пытках колодниках. Когда выяснилось, что их не берут ни в монастыри, ни на прядильные дворы, А. И. Ушаков написал о них, что их все равно нужно держать в тюрьме, ибо если выпустить, «от того в народе зловреден будет». Так эти люди без приговора и умирали в тюрьме Тайной канцелярии.

При вынесении приговоров судьи думали и о *пропагандистском эффекте*, который вызовет помилование преступника или обложение его наказания. Тем самым власть выразительно демонстрировала свою всепобеждающую мощь в наказании преступника и одновременно свою милость к падшим. Милости приурочивали к знаменательным памятным датам, важным событиям, по случаю различных церковных, светских празднеств, рождений и похорон в царской семье, во время болезни, при смерти монарха или при вступлении на престол нового властителя. Милости были разные: одним дарили жизнь, другим колесование живьем заменяли на колесование уже после отсечения головы, третьим отменяли посажение на кол и четвертовали.

Помилования входили в «правила игры» вокруг эшафота, и их предусматривали заранее. «Сентенция о казни смертью четвертованием Бирона и конфискации имущества» была принята судом 8 апреля 1741 года, а указ о «посылке» Бирона с семьей в Сибирь был подписан за три месяца до этого – 30 декабря 1740 года. Более того, подпоручик барон Шкот, посланный в Пелым для строительства тюрьмы для Бирона, рапортовал 6 марта 1741 года, что заканчивает стройку и уже ставит палисад.

Приговоренный к мучительной смерти всегда мог ожидать, что государь определит ему смертную казнь без мучений или «помилует» ссылкой на каторгу. Приговор к «нещадному» битью кнутом в этом случае заменяли на просто «битие кнутом», а для тех, кто приговаривался к простому кнутованию, кнут уступал место более «щадящему» инструменту порки – батогам или плети.



В 1774 году, в разгар восстания Пугачева, некий купец Астафий Долгополов сумел заморочить голову не только Г. Г. Орлову, поднятому ради него посреди ночи, но и самой Екатерине II, с которой Орлов ему устроил встречу. Долгополов наобещал государыне поймать и доставить властям «злодея» Пугачева. Императрица приняла простолюдина в своих покоях – честь невиданная – и благословила на благородное дело, а Орлов снабдил удальца мешком денег и сам подписал ему паспорт. Авантюрист, добравшись до Пугачева, все открыл мятежникам и, вероятно, не без юмора, передавал «амператору Петру Феодоровичу» привет от «его супруги». Потом, когда стали вылавливать сподвижников Пугачева, императрица очень опасалась, как бы Долгополова, под горячую руку (без должного следствия и наказания за его «продерзость»), не повесили бы среди прочих мятежников.

Во время суда над самим Пугачевым и его сообщниками преступники были разбиты, по тяжести их вины, на «классы». Долгополов был включен в третий класс и был наказан кнутом с вырыванием ноздрей, клеймением и ссылкой на каторгу в оковах.

Глава 8. «Наутра казнь»

Преступник, которому вынесли приговор, узнавал об этом накануне казни в тюрьме. В 1721 году приговоренный к смерти Иван Курзанцов отказался исповедоваться и требовал, «чтобы ему, Курзанцову, объявить имянной ц. в. указ за подписанием собственной Его величества руки, по которому велено ему учинить смертную казнь». Из этого следует, что Курзанцову устно объявили смертный приговор в тюрьме, но указа при этом никакого не зачитывали, чем он и был недоволен. Также 4 февраля 1724 года в журнале Тайной канцелярии записано, что «ростриге Игнатью объявлено, чтоб он готовился к смерти, которая будет ему учинена на сей недели. При том были...» и далее названы имена караульных и канцеляриста.

Объявление приговора могло последовать за несколько дней до казни или буквально за несколько часов до нее. В 1740 году А. П. Волинскому приговор объявили заранее, за четыре дня до казни в Петропавловской крепости. Емельяну Пугачеву объявили приговор на Монетном дворе, где тот сидел, за день до казни.

С момента объявления приговора священник становился главным человеком для осужденного, сопровождая его вплоть до самого эшафота, где в последнюю минуту давал преступнику приложиться к кресту. Накануне казни надзор за приговоренным усиливался, охрана внимательно следила за каждым жестом преступника, стремясь не допустить попыток самоубийства или побега. Шешковский и начальник охраны Пугачева Галахов даже ночевали на Монетном дворе, чтобы накануне предстоящей казни быть неподалеку от своего подопечного.

Как вели себя люди, узнав о предстоящей казни, известно мало. А. П. Волинский после прочтения ему приговора к смертной казни разговаривал с караульным офицером и пересказывал ему свой вещий сон, приснившийся накануне. Потом он сказал: «По винам моим я наперед сего смерти себе просил, а как смерть объявлена, так не хочется умирать». К нему несколько раз приходил священник, с которым он беседовал о жизни и даже шутил – рассказал священнику «соблазнительный анекдот об одном духовнике, исповедовавшем девушку, которая принуждена была от него бежать». Кроме того, за два дня до казни, как сообщал дежурный офицер, «изъявлял по одному делу негодование свое против графа Гаврила Ивановича Головкина, говоря: „Будем мы в том судиться с ним на оном (то есть на ином. – Е. А.) свете“». Так же свободно вел себя перед казнью Мирович.

Когда в 1742 году советнику полиции князю Якову Шаховскому поручили объявить опальным сановникам приговор о немедленной ссылке в Сибирь, то он увидел бывшего первого министра А. И. Остермана лежавшим, громко стенавшим и жаловавшимся на подагру, а бывший обер-гофмаршал граф Рейнгольд Густав Левенвольде, прежде надменный и спесивый, обнял колени советника полиции «весьма в робком виде» и «в смятенном духе так тихо говорил, что я и речь его расслушать не мог».

Прежде чем рассказать о процедуре публичной казни, остановлюсь на тайных казнях. К их числу относится казнь царевича Алексея Петровича, которого либо задушили, либо отравили. В 1738 году приговорили к смерти старообрядца Ивана Павлова: «Учинить смертную казнь в пристойном месте – отсечь ему голову, а потом мертвое его тело, обшив в рогожу, бросить в пристойном месте в реку». Из журнала Тайной канцелярии известно, что «того ж февраля 20 дня, по вышеобъявленному определению помянутому раскольнику Ивану Павлову смертная казнь учинена в застенке по полудни в восьмом часу и мертвое его тело в той ночи в пристойном месте брошено в реку». Так как была зима, то, надо полагать, труп Павлова спустили под лед, а совершившие эту казнь, больше похожую на преступление, чем на наказание государственного преступника, при этом были строго предупреждены: «А кто при оном исполнении были, тем о неимении о том разговоров сказан е. и. в. указ с подпискою». Думаю, что тайные казни проводились для того, чтобы не устраивать из казни стойких старообрядцев (а

именно таким был Павлов, добровольно пошедший на муки) некую демонстрацию, публичное признание своего бессилия перед силой их убеждений.

XVIII век унаследовал от предшествующего столетия особую *символическую казнь*, которой подвергались умершие преступники, документы, предметы, изображения преступников. При Петре I экзекуцию над Соковниным и Цыклером в 1698 году сочетали со страшным церемониалом посмертной казни боярина И. М. Милославского, умершего за 14 лет до казни заговорщиков. Боярина обвиняли, что он при жизни и был наставником заговорщиков. Труп Милославского извлекли из фамильной усыпальницы, доставили в Преображенское к месту казни в санях, запряженных свиньями. Гроб открыли и поставили возле плахи, на которой рубили головы преступникам: «Как головы им секли, и руда (кровь. – Е. А.) точила в гроб, на него Ивана Милославского». Затем труп Милославского разрубили и части его зарыли во всех застенках под дыбами.

Приговоренный к смерти преступник, «улизнувший» на тот свет, все равно подвергался экзекуции. В 1725 году об умершем до приговора преступнике Якове Непеине было сказано: «Мертвое тело колодника... за кронверхом на указном месте, где чинят экзекуции, повесить», что и было сделано 6 сентября.

Казнили не только людей, но и различные предметы, связанные с преступлением. Чаще всего сжигали подметные письма, «воровские», «волшебные» тетради, а также книги, признанные «богопротивными» или наносящими ущерб чести государя. В 1708 году казнили куклу изменника Ивана Мазепы. В экзекуции участвовали канцлер Головкин и А. Д. Меншиков, которые содрали с истукана Андреевскую ленту, а палач вздернул его на виселицу. В 1718 году на виселице была повешена «персона» (возможно, портрет) «яко изменничья» генерала Фридриха Ностица. Он бежал с русской службы, прихватив большую сумму денег.

Обратимся теперь к *«технологии» публичной казни*. В утро казни к приговоренному приходили назначенный старшим экзекутором чиновник, священник и начальник охраны. Преступник мог дать последние распоряжения о судьбе своих личных вещей, драгоценностей: что-то он отдавал священнику, охранникам, что-то просил передать на память детям или продать, чтобы вырученные деньги раздали нищим. Так поступил А. П. Волынский.

На грудь преступника уже с XVII века привешивали с помощью перекинутой вокруг шеи бечевки черную табличку с надписью о виде преступления. По указу Екатерины II 1770 года на груди самозванца – беглого солдата Кремнева – повесили доску с надписью большими буквами «*Беглец и самозванец*», а на груди его сообщника – попа Евдокимова – доску с надписью «*Помощник самозванцу и народного спокойствия нарушитель и лжесвидетель*».

Преступника либо вели к месту казни пешком, либо везли на специальной повозке, так называемой «*позорной колеснице*». В 1723 году П. П. Шафирова везли к эшафоту в Кремле «на простых санях». В 1740 году на Обжорку Волынский и его конфиденты шли пешком, как и в 1742 году на площадь перед коллегиями на Васильевском острове шли Миних, Головкин и другие приговоренные. Только больного А. И. Остермана доставили туда на простых дровнях. Для Василия Мировича в 1764 году сделали какой-то особый экипаж. 18 октября 1768 года Салтычиху везли к эшафоту на Красной площади в санях. Для Пугачева в 1775 году изготовили высокие сани четверней, выкрашенные в черный цвет. Посредине экипажа был столб, к нему привязан преступник, сидевший на скамейке с зажженными свечами в руках. Рядом находились два священника и начальник конвоя капитан А. П. Галахов.

Позорную колесницу (или пешего приговоренного) от тюрьмы до площади казни сопровождали воинская команда с офицером во главе. Этот офицер – начальник конвоя – назначался особым указом заранее, и его миссия была очень важной – вся ответственность за проведение экзекуции и порядок на месте казни лежала на нем. До наших дней дошла одна из таких инструкций начальнику конвоя. Так, в день казни братьев Гурьевых и П. Хрущева в Москве гвардейский офицер, назначенный начальником конвоя, должен был явиться к сенатору В. И.

Суворову и «требовать известных преступников письменно». Оформив прием и получив приговоренных на руки, он назначал к каждому из преступников по восемь солдат и по одному сержанту под командой офицера. Другие солдаты вставали в каре вокруг преступников. Следовал сигнал, и под бой барабанов начиналось движение к лобному месту.

Публичную казнь не проводили вдали от городов. Наоборот, делалось все, чтобы казни видело возможно большее число людей. Идеальным считалось, чтобы казнь состоялась на месте совершения преступления, на родине преступника и при скоплении народа. Но совместить эти условия было непросто, поэтому считалось достаточным выбрать наиболее людное место, если речь шла о казни в столице. Грандиозные публичные казни обычно проводились на рыночных площадях, торгах, перед казенными зданиями. В Петербурге местом таких публичных казней стала Троицкая площадь, конские площадки у Александро-Невского монастыря и на Знаменской площади. Проводились экзекуции и в самой Петропавловской крепости, на Плясовой площади. Но более всего известно место казней «за кронверком», у Сытного рынка («у Съестного рынка», «на Обжорке»), «на Санкт-Питер-Бурхском острове на лобном месте у каменного столба». По-видимому, казнь на грязной площади «Обжорки» имела и символический, позорящий преступника оттенок.

Указ о возведении «эшафота с потребностями, употребля на оное наличные деньги от Главной полиции» полиция получала буквально накануне казни, так что плотники рубили сооружение даже ночью, при свете костров. Это тоже характерный момент публичных казней – эшафот строили обычно в ночь перед экзекуцией. Возможно, так стремились предотвратить попытки сторонников казнимого подготовиться к его освобождению (прокопать к месту экзекуции подземный ход, заложить мину и т. д.).

Эшафот, возвышавшийся на площади, представлял собой высокий деревянный помост. Эшафот Пугачева был высотой в четыре аршина (почти 3 м). Он имел ограждение в виде деревянной невысокой балюстрады. Наверх с земли шла крутая лесенка. Делалось такое высокое сооружение для того, чтобы всю процедуру казни видели как можно больше людей. Помост был вместительным – на нем ставили все необходимые для казни орудия и приспособления. Речь идет о позорном столбе с цепями, виселицах, дубовой плахе, кольях. Сверху специального столба горизонтально к земле прикреплялось тележное колесо для отрубленных частей тела. Все это ужасавшее зрителей сооружение венчал заостренный кол или спица, на которую потом водружали отрубленную голову преступника.

Но казнили и без всякого эшафота. В своих записках де Бруин рассказывает о казни тридцати астраханских стрельцов – участников восстания, которую он видел в ноябре 1707 года. Для их казни прямо на землю были положены в виде длинного треугольника пять брусев, на каждый из них клали свои головы шесть человек. Палач подходил к одному за другим и ударом топора отсекал им головы.

Палач приходил на площадь с орудиями будущей казни. «Комплект палача» зависел от вида наказания. Кроме кнутов, плетей, батогов, розог, клейм (штемпелей) палач имел топор (или меч) для отсечения головы, пальцев, рук и ног, щипцы для вырывания ноздрей, клещи, нож для отсечения ушей, носа и языка и других операций, ремни, веревки для привязывания преступника и т. д. Особой подготовки требовало посажение на кол. К числу предметов для этой экзекуции относились тонкий металлический штырь или деревянная жердь. Переносная жаровня и угли требовались палачу, если экзекуция включала предказневые пытки огнем.

Палач был главной (разумеется, кроме самого казнимого) фигурой всего действия. В XVIII веке ни одно центральное или местное учреждение не обходилось без штатного «запечного мастера». С древних времен палачами могли быть только свободные люди. В армии обязанности палача выполнял профос – служащий военно-судебного ведомства. Всю же экзекуционную службу в полках возглавлял генерал-экзекутор. В обществе к палачам относились с презрением и опаской, хотя законы утверждали, что палачи – «суть слуги начальства». В России, как и

в Западной Европе, общества кнutoбойцев и палачей честные люди избегали, но работа эта была выгодной и денежной.

Палачами могли стать только люди физически сильные и неутомимые – заплечная работа была тяжелой. Палачу нужно было иметь и крепкие нервы – под взглядами тысяч людей, на глазах у начальства он должен был сделать свое дело профессионально, то есть быстро, сноровисто. Как вспоминает современник, во время чтения приговора о казни полковника Е. Грузинова, И. Апоносова и других их товарищей в Черкасске 27 октября 1800 года «сделалось так тихо, как будто никого не было. Определение прочитано, весь народ в ожидании чего-то ужасного замер... (добавим от себя, что в момент казни люди снимали шапки. – Е. А.). Вдруг палач со страшною силою схватывает Апоносова и в смертной сорочке повергает его на плаху, потом, увязавши его и трех товарищей-гвардейцев, стал, как изумленный, и несколько времени смотрит на жертвы... Ему напомнили о его обязанности, он поднял ужасный топор, лежавший у головы Апоносова. И вмиг, по знаку белого платка, топор блеснул и у несчастного не стало головы». Напряжение было так велико, что палачи и перед экзекуций, и по ходу ее (особенно если она затягивалась) пили водку, чем себя взбадривали.

Профессия палача требовала специфических навыков и приемов, которым обучали коллеги – старые заплечные мастера. Твердость руки, сила и точность ударов отрабатывались на муляжах и изображениях. А. Г. Тимофеев пишет, что палачи тренировались на берестяном макете человеческой спины. Как и ровно разглаженный холмик сырого песка, мягкая береста позволяла судить о точности удара. Во время фактической отмены смертной казни в 1741–1761 годах палачи двадцать лет никого не казнили и утратили квалификацию. Поэтому для казни В. Я. Мировича в 1764 году в полиции тщательно отбирали одного палача из нескольких кандидатов. Накануне он «должен был одним ударом отрубить голову барану с шерстью, после нескольких удачных опытов, допущен к делу и... не заставил страдать несчастного».

При экзекуции палачу требовались ассистенты, порой их нужно было немало. Кроме учеников, помощниками палача выступали гарнизонные солдаты, низшие чины полиции и... даже люди из публики. Так, с древних времен при казни кнutoм существовал обычай выхватывать из любопытствующей толпы, теснившейся вокруг эшафота, парня поздоровее и использовать его в качестве живого «козла», чтобы сечь преступника на спине этого «ассистента». Лишь указом 20 апреля 1788 года этот обычай был отменен.

Приведенного или привезенного под усиленной охраной преступника пропускали внутрь цепи или каре стоявших на месте казни войск. В инструкции офицеру гвардии, командовавшему казнью Гурьевых и Хрущева, предписывалось расставить солдат в три шеренги «циркулем вокруг эшафота». Они стояли с заряженными ружьями. У солдат в оцеплении было две задачи. Во-первых, они сдерживали толпившийся народ. Во-вторых, охраняли преступника на случай попытки побега.

Преступник, доставленный к подножию эшафота, слушал последнюю молитву священника, прикладывался к кресту и в окружении конвойных с примкнутыми штыками поднимался на помост. На эшафоте преступника расковывали, но есть сведения о том, что некоторых преступников вешали в оковах. Звучала воинская команда «На караул!», раздавалась барабанная дробь (все это предусматривала инструкция 1762 года), чиновник (секретарь) громко, «во весь мир», зачитывал приговор. В XVIII веке приговор непременно объявляли публично.

«Рас[с]трига Алексей! В прошлых годех, в бытность свою в Москве, в Чудове монастыре, простым старцем у чудотворцова гроба в лампадчиках, имея ты у себя в кельи образ Иерусалимския Богородицы ханжил и прельщал простой народ, объявляя себя яко свята мужа...» и т. д. Это цитата из указа, прочитанного перед казнью в 1720 году бывшему архимандриту Александрo-Свирского монастыря Александру. После перечня всех «вин» преступника следовало заключение: «И великий государь указал за те твои вышеписанныя зловымышленныя вины учинить тебе смертную казнь – колесовать».

Во времена Екатерины II прямого обращения к казни уже не было, но приговоры («сентенции») сохраняют повышенную эмоциональность публичного документа, позорящего человека: «Кречетов, как все его деяния обнаруживают его, что он самого злого нрава и гнусная душа его наполнена злом против государя и государства... яко совершенный бунтовщик и обличен в сем зле по законам государственным яко изверг рода человеческого...» и т. д.

Все ждали, когда прозвучит конец документа – там была самая важная, резолютивная часть приговора: «За которые ваши богопротивные и е. и. в. и государству вредительные злоумышленные дела, по генеральному в Правительствующем Сенате суду и по подписанной сентенции, как от духовных и всего министерства, и придворных, как воинских и гражданских чинов, е. и. в. указала всем вам учинить смертную казнь: вас, Степана, Наталью и Ивана Лопухиных – вырезав языки, колесовать и тела ваши на колеса положить; вас, Ивана Мошкова, Ивана Путятина – четвертовать, а вам, Александру Зыбину – отсечь голову и тела ваши на колеса же положить; Софье Лилиенфельтовой отсечь голову, когда она от имевшагося ей бремя разрешится, зачем она к той казни ныне и не выведена».

После этого чтец-приказной либо заканчивал чтение, либо делал паузу, после которой оглашал уже тот «приговор внутри приговора», которым суровое наказание существенно смягчалось: «Ея и. в., по природному своему великодушию и высочайшей своей императорской милости, всемилостивейше пожаловала, указала вас всех от приговоренных и объявленных вам смертных казней освободить, а вместо того, за показанные ваши вины, учинить вам наказание: вас – Степана, Наталью и Ивана Лопухиных, и Анну Бестужеву – высечь кнутом и, урезав языки, послать в ссылку, а вас, Ивана Мошкова и Ивана Путятина, высечь кнутом же, а тебя, Александра Зыбина – плетью и послать всех в ссылку же».

О поведении приговоренных накануне и в момент казни мы знаем мало. Пастор Зейдер, приговоренный в 1800 году к 20 ударам кнута и пожизненной ссылке в Нерчинск, в рудники, так описал свои ощущения: «Один офицер верхом, которого я считал за командующего отрядом и которого, как я слышал впоследствии, называли экзекутором, подозвал к себе палача и многозначительно сказал ему несколько слов, на что тот ответил: „Хорошо!“ Затем он стал доставать свои инструменты. Между тем я вступил несколько шагов вперед и, подняв руки к небу, произнес: „Всеведающий Боже! Тебе известно, что я невиновен! Я умираю честным! Сжался над моей женою и ребенком, благослови, Господи, государя и прости моим доносчиком!“ Потом я сам разделся, простоял несколько минут голый и затем меня повели к позорному столбу. Прежде всего мне связали руки и ноги. Я перенес это довольно спокойно, когда же палач перекинул ремень через шею, чтобы привязать мне голову, то он затянул ее так крепко, что я громко вскрикнул. Наконец, меня привязали к машине (о «машине» будет сказано ниже. – Е. А.). С первым ударом я ожидал смерти, мне казалось, что душа моя покинула свою земную оболочку. Еще раз вспомнил я о жене и ребенке и простался уже с землею, услышав, как страшное орудие снова засвистело в воздухе».

Иностранцев, видевших русские казни, поражала покорность, с какой принимали свой удел казнимые. Датчанин Юст в 1709–1711 годах несколько раз видел смертные казни и писал: «Удивления достойно, с каким равнодушием относятся [русские] к смерти и как мало боятся ее. После того как [осужденному] прочтут приговор, он перекрестится, скажет „Прости“ окружающим и без [малейшей] печали бодро идет на [смерть] точно в ней нет ничего горького».

Внешне спокойно, беседуя на ходу с офицерами конвоя, шел в 1742 году на казнь фельд-маршал Миних. По воспоминаниям современников, в отличие от других узников, он был чисто одет и, что удивительнее всего, выбрит. Как это ему удалось сделать – загадка. Известно, что никаких острых и режущих орудий заключенным, а тем более приговоренным к казни иметь не разрешали. Тем более никакой, даже самый проверенный парикмахер не мог быть допущен с «опасной» бритвой (а иных тогда не было) к шее, предназначенной для топора. Поэтому приговоренные шли на казнь и отправлялись в ссылку боролатыми.

Подготовка к казни (переодевание в черную одежду или в саван, исповедь, причастие), церемония (свеча в руке, медленное движение черного экипажа) – все это говорило о том, что приговоренный участвует в траурной процедуре собственных похорон. Издавна было принято (и об этом пишут иностранцы), чтобы по дороге на эшафот и на нем самом приговоренный кланялся во все стороны народу, просил у людей прощения, крестился на купола ближайших церквей. О казни П. П. Шафирова в Кремле в 1723 году Берхгольц писал, что с возведенного на эшафот бывшего вице-канцлера сняли парик и шубу, Шафиров «по русскому обычаю обратился лицом к церкви и несколько раз перекрестился, потом стал на колена и положил голову на плаху». Так же спокойно вел себя и обер-камергер Виллим Монс, возведенный на эшафот в октябре 1724 года: «при прочтении ему приговора... поклоном поблагодарил читавшего, сам разделся и лег на плаху, попросив палача как можно скорей приступать к делу».

Перед казнью обреченному на смерть иногда давали возможность сделать последние распоряжения, которые записывали и, возможно, исполняли. Василий Минович после объявления приговора, «сняв с шеи крест с мощами, отдал провожавшему его священнику, прося молиться о душе его; подал полицмейстеру, присутствовавшему при казни, записку об остающемся своем имении, прося его поручить камердинеру его исполнить все по ней, сняв с руки перстень, отдал палачу, убедительно прося его, сколько можно удачнее исполнить свое дело и не мучить его, потом сам, подняв длинные свои белокурые волосы, лег на плаху...».

После прочтения приговора секретарь, а также священник покидали помост. Если преступник не раздевался сам или мешкал, то палач вместе с подручными раздевал его, стремясь при этом демонстративно разодрать одежду от ворота до пояса. Во всем этом был заложен ритуальный смысл – как уже выше говорилось, публичное обнажение тела палачом означало утрату наказуемым чести. В Генеральном регламенте сказано, что наряду с шельмованным из числа честных людей исключается тот, «которой на публичном месте наказан или *обнажен* был». К сказавшему в 1720 году «непристойное слово» карачевскому фискалу Веревкину проявили редкую милость. По приговору указано было его «вместо кнута бить батоги нещадно... *не снимая рубахи*», что сохраняло ему честь. Особой милостью Петра I к фрейлине Марии Гамильтон стало обещание, что во время казни к ней не притронется рука палача. И действительно, тот снес преступнице голову по тайному сигналу царя внезапно, не притрагиваясь к ней и не обнажая ее – в тот самый момент, когда она, стоя на коленях, просила государя о пощаде.

Для *шельмования* использовали позорный столб. Приговоренного раздевали и привязывали к нему с помощью ошейников и накладок. Он стоял в таком положении «поносительного зрелища» около часа, на груди у него висела табличка с одним-двумя крупными словами о преступлении: «*клятвопреступник*», «*изменник*» и т. д. В инструкции 1762 года о шельмовании С. Гурьева и П. Хруцова сказано: «Приказать оным профосам каждого преступника взять двум человекам под руки и переломить палачу над каждым преступником... над головами их шпаги, кои заблаговременно (чтобы скорее можно было переломить) приказать самыя те шпаги, с коими те преступники служили, надпилить и бросить палачам перед ними на эшафот, а коль скоро шпаги надломлены будут, то того же часа профосам приказать их свести с эшафота под руки и отдать для отвозу в ссылку командированному здешняго гарнизона офицеру». Естественно, что над головой преступников-недворян никакой шпаги не ломали. При шельмовании моряков (экзекуцию проводили на корабле) ломали их сабли, а сюртуки бросали в море. С этого момента дворянин лишался своей фамилии: «Обоих сих преступников нигде и ни в каких делах не называть Пушкиными, но бывшими Пушкиными». С Д. Н. Салтыковой (Салтычихой) поступили иначе – ее фамильным прозвищем стало, как у крестьянки, имя отца: «Именовать: „Дарья Николаева дочь“».

Если ошельмованный или побывавший в руках палача служилый человек получал по именному указу помилование, то устраивали особую церемонию очищения: зачитывали имен-

ной указ о причислении его к категории «честных людей», прикрывали полковым знаменем и возвращали ему шпагу.

Рассмотрим *«политическую казнь»*, или *«политическую смерть»*. В докладе Сената, одобренном Елизаветой в марте 1753 года, было уточнено, что политическая смерть – это «ежели кто положен будет на плаху или взведен на виселицу, а потом наказан будет кнутом с вырезанием ноздрей, или хотя и без всякого наказания, токмо вечной ссылкой». Таким образом, до самого конца преступник мог и не знать, что его не собираются лишать жизни, а устроят лишь имитацию «натуральной смерти». Церемония казни политической смертью проводилась в точности так же, как и натуральной, только кончалась иначе – преступнику оставляли жизнь. Казнимого раздевали, зачитывали смертный приговор, клали на плаху и тут же с нее снимали. При этом оглашали указ об освобождении от смертной казни. 11 апреля 1706 года Ф. Ю. Ромодановский вынес приговор: «Иноземцев Максима Лейку и Ягана Вейзенбаха казнить смертью, отсечь головы и, сказав им эту смертную казнь, положить на плаху и сняв с плахи, им же иноземцам сказать, что великий государь, царь Петр Алексеевич пожаловал, смертью их казнить не велел, а велел им за то озорничество (подрались с охраной царевича Алексея. – Е. А.) учинить наказание – бить кнутом». Но не дождавшись начала кнутования, горячий Ромодановский бросился к иноземцам и стал их избивать своей тростью, удары которой были для них, надо полагать, сплошным счастьем.

«Политическая казнь» была сопряжена с различными официальными оскорблениями казнимого и переносилась высокопоставленным преступником тяжело. В 1723 году казнили в Кремле П. П. Шафирова. Палач «поднял вверх большой топор, но ударил им возле [головы] по плахе и тут Макаров (кабинет-секретарь Петра. – Е. А.), от имени императора объявил, что преступнику, во уважение его заслуг, даруется жизнь». Перед казнью Шафирова ассистенты палача не дали преступнику спокойно положить голову на плаху, а «вытянули его ноги, так что ему пришлось лежать на своем толстом брюхе». После казни медик пускал Шафирову кровь – таким сильным было потрясение.

Из документов неясно, каким орудием пользовались для «натуральной смерти», а именно *отсечения головы*, хотя выбор орудий был невелик – или топор, или меч. Согласно Артикулу воинскому 1715 года, головы секли мечом. М. М. Богословский считает, что впервые меч – новинку из Европы – применили в России 18 октября 1698 года, когда им обезглавили Аничку Сидорова и Ивашку Клюкина. Когда отсекали голову мечом, то приговоренного ставили на колени и палач широким замахом сносил преступнику голову с плеч. При казни топором непременным атрибутом была плаха – чурбан из дуба или липы высотой не более метра, возможно, с выемкой для головы.

Опытный палач отделял голову от туловища одним ударом и тотчас, подняв ее высоко за волосы, показывал толпе. Предъявление головы публике также полно символического смысла: зрители удостоверались, что казнь действительно свершилась без обмана. Если за палаческую работу брались непрофессионалы или палач был неопытен, то казнимого ожидали страшные муки. Артикул воинский 1715 года отменил обычай XVII века, согласно которому преступника освобождали, если он выжил после первого удара палача или сорвался с виселицы.

Некоторые авторы считают *повешение* древнейшей казнью на Руси. Как уже сказано выше, повешение было трех видов: обычное за шею, подвешение за проткнутое крюком ребро и повешение за ноги. При подвешивании за ребро смерть не наступала сразу, и преступник мог довольно долго жить. Берхгольц описывает случай, когда подвешенный за ребро преступник ночью «имел еще столько силы, что мог приподняться кверху и вытащить из себя крюк. Упав на землю, несчастный на четвереньках прополз несколько сот шагов и спрятался, но его нашли и опять повесили точно таким же образом». Эту казнь могли совмещать с другими видами наказания. Никита Кирилов в 1714 году был подвешен за ребро уже после колесования.

Н. Д. Сергеевский выделяет три типа виселиц, характерных для XVII века: «покоем» (П), «глаголем» (Г) и «двойным глаголем» (Т). В XVIII веке все эти виды виселицы также известны из источников. Простое повешение совершалось обычно на виселице, стоящей на эшафоте, но случалось, что для этих целей использовали иные приспособления, вроде дерева или ворот – повешение было достаточно простой в исполнении казнью, хотя и не такой эффектной, как отсечение головы. Глаголь чаще всего использовался для подвешивания за ребро. В воззвании подавлявшего восстание Пугачева генерала Панина сказано, чтобы во всех «бунтовых» селениях поставить «по одной виселице, по одному колесу и по одному глаголю для вешания за ребро». Как описывает А. Т. Болотов, видевший казнь Пугачева, нескольких сообщников «злодея» казнили одновременно с ним на виселицах, стоявших вокруг эшафота. Их подняли на ступеньки лестниц, прислоненных к виселицам, а на головы надели холщовые мешки – «тюрики». В тот момент, как палач отрубил Пугачеву голову, преступников разом столкнули с лестниц.

Четвертование представляло собой расчленение тела преступника с помощью меча или топора, точнее специальным топориком для отсечения рук и ног. В одних случаях преступнику вначале отрубали левую руку и правую ногу (или наоборот), затем это же повторялось с оставшимися рукой и ногой, а затем отсекали и голову. Но в других случаях преступнику вначале отрубали голову, а затем уже руки и ноги. Четвертование в первом варианте называлось «рассечение живого» и усугубляло предсмертные муки. Второй же был выражением милости государя к преступнику: в 1773 году так были казнены некоторые зачинщики мятежа Пугачева, которых следовало «казнить смертью отрублением сперва руки и ноги, а потом головы».

Казнь эта считалась страшной. Приговоренный в 1740 году к четвертованию Волынский просил А. И. Ушакова и И. И. Неплюева передать императрице просьбу об отмене приговора. Именно как четвертование он понял указ Анны, заменившей ему прежний приговор – посадение на кол – более мягким: вырезанием языка, отсечением сначала правой руки, а затем головы. Однако просьба не была уважена.

Ужесточению муки казнимого на эшафоте в XVIII веке, как и раньше, придавалось большее символическое значение – пытки накануне казни и непосредственно во время публичной экзекуции были формой государственной мести. Артикул воинский разрешал при четвертовании предварительно рвать тело преступника клещами.

Можно сказать, что страшной, мучительной была и казнь *колесованием*. Она предполагала переламывание костей преступника на эшафоте с помощью лома или колеса. Из документов видно, что преступнику ломали преимущественно руки и ноги. Средневековые гравюры и описания современников позволяют судить о технике этой казни. Сохранившееся палаческое колесо XVIII века внешне похоже на каретное колесо. Его деревянный обод снабжен железными оковками, края которых загнуты для того, чтобы усилить ломающий кости удар.

Преступника, опрокинутого навзничь, растягивали и привязывали к укрепленным на эшафоте кольцам или к вбитым в землю кольям. Под суставы (запястья, локти, лодыжки, колени и бедра) подкладывались клинья или поленья, а затем с размаху били ободом колеса по членам так, чтобы сломать кости, но не раздробить при этом тела. В приговорах указывалось, что именно ломать – ребра, руки, ноги и т. д. В основном ломали руки и ноги. После Петра I эта казнь еще применялась в России, но, в отличие от других стран Европы, довольно редко и к середине XVIII века исчезла совершенно.

Приговор «колесовать руки и ноги» чаще всего относился к процедуре «колесования живова». Этот вид казни считался очень жестоким. После того как преступнику ломали руки и ноги, его клали на укрепленное на столбах колесо, где он медленно умирал. Из некоторых описаний следует, что переломанные члены преступника переплетали между спицами укрепленного на столбе колеса. Ломая кости, палачи при этом стремились не повредить внутренних органов, чтобы не ускорить смерть и чтобы мучения затянулись. Положенные на колеса преступники жили иногда по несколько дней, оставаясь в сознании. Юль в 1710 году писал, что

«в летнее время люди, подвергающиеся этой казни, лежат живые в продолжении четырех-пяти дней и болтают друг с другом. Впрочем, зимою в сильную стужу... мороз прекращает их жизни в более короткий срок». Более гуманным был приговор, в котором было сказано: «После колесования, отсечь голову». Так в 1739 году колесовали И. А. Долгорукого.

По-видимому, как и при обычных переломах, колесованного можно было спасти. В 1718 году положенный на колесо Ларион Докукин согласился дать показания. Его сняли с колеса, лечили, а потом допрашивали. Вскоре он либо умер, либо ему отрубили голову. Как сообщал австрийский дипломат Плейер, на следующий день после казни, совершенной 17 марта 1718 года, лежавший на колесе Александр Кикин, увидев проходящего мимо Петра, просил «пощадить его и дозволить постричься в монастырь. По приказанию царя его обезглавили». Счастливец мог считать себя приговоренный к «колесованию мертвым», ибо казнь начиналась с отсечения головы, после чего ломали уже бездыханное тело. Вообще колесо занимало особое место в процедуре казни и служило средством дополнительного надругательства над останками преступника – отрубленную голову или отсеченные члены труп надолго водружали на колесо для всеобщего обозрения. Это предусматривал закон: «...И на колеса тела их потом положить». Так было с телом Пугачева: его отрубленные члены выставили на колесах в разных частях Москвы, а на месте казни, как описывает современник, «один из палачей залез наверх столба и насадил голову мятежника на железный шпиль», венчавший колесо.

Посаждение на кол было одной из самых мучительных казней. Сергеевский считает, что кол вводился в задний проход и тело под собственной тяжестью насаживалось на него. По-видимому, были разные школы посажения на кол. Искусство палача состояло в том, чтобы острое кола или прикрепленный к нему металлический стержень ввести в тело преступника без повреждения жизненно важных органов и не вызвать обильного, приближающего конец кровотечения. Кол с преступником закреплялся вертикально. Известно, что при казни Степана Глебова к колу была прибита горизонтальная рейка, чтобы казнимый под силой тяжести тела не сполз к земле. Кроме того, казнимого в декабре Глебова одели в шубу, чтобы он не замерз, и тем самым продлили его мучения.

Фальшивомонетчикам *заливали горло металлом* (обычно это было олово), который у них находили при аресте. Как и других преступников, их тела водружали (привязывали) на колесо, а к его спицам привязывали фальшивые монеты. Нельзя сказать, что *сожжение* было в России особенно распространенной казнью, в отличие от Европы, где костры с еретиками горели в XVII и XVIII веках. К сожжению приговаривали преступников преимущественно по делам веры: еретиков, отступников, богохульников, а также ведунов, волшебников и поджигальщиков. Берхгольц видел такую казнь в 1722 году. Преступника, выбившего в церкви палкой икону из рук епископа, казнили в соответствии с обычаем тальона, то есть казнили вначале член, совершивший преступление. Для этого приговоренного привязали цепями к столбу, у подножья которого был разложен горючий материал. Правую руку преступника, которой было совершено преступление, прикрепили проволокой к прибитой на столбе поперечине. Руку плотно обвили просмоленным холстом вместе с палкой, которой и был нанесен удар по иконе. После этого подожгли руку. Она сгорела за 7–8 минут, и когда огонь стал перебрасываться на тело преступника, был дан приказ поджечь разложенный под его ногами костер. При этом Берхгольц отмечает необыкновенное самообладание казнимого, который не издал ни одного звука во время этой страшной экзекуции. Так было принято казнить и в других странах.

В 1701 году Григорий Талицкий и его последователь Иван Савин были приговорены к казни на медленном огне, которая называлась «*копчение*». Талицкого и Савина в течение восьми часов обкуривали каким-то едким составом, от которого у них вылезли волосы на голове и бороде и тело стало истаявать, как свеча. Мучения оказались столь невыносимы, что Талицкий, к вящему негодованию Савина, «покаялся и снят был с копчения», а затем четвертован.

Признание упорствующим преступником своей вины, отречение его от прежних взглядов власть воспринимала с удовлетворением и могла облегчить участь приговоренного либо перед казнью (назначали более легкую казнь), либо во время экзекуции. Тот, кто просил пощады, раскаивался или давал показания, мог рассчитывать на снисхождение, получить, как тогда говорили, *«удар милосердия»*. Такому покаявшемуся преступнику облегчали мучения – отсекали голову или пристреливали.

Власть добивалась от казнимого не только раскаяния, но и дополнительных показаний. Страшные физические мучения делали самых упрямых колодников покладистыми если не в пыточной камере, то на колесе или на колу, когда мучительная смерть растягивалась на сутки. И это позволяло вытянуть из полутрупа какие-то ранее скрытые им сведения. Поэтому рядом с умирающим всегда стоял священник, а иногда и чиновник сысского ведомства, готовый сделать запись признания или раскаяния.

Редчайший случай произошел с майором Глебовым, уличенным в 1718 году в сожительстве с бывшей царицей Евдокией и в иных государственных преступлениях. На следствии Глебов держался мужественно, обвинения от себя отводил, но главное – он не раскаялся в своих поступках и не просил у государя прощения, за что был приговорен к посажению на кол. Во время казни на Красной площади 15 марта 1718 года к нему приставили архимандрита Спасского монастыря Феофилакта Лопатинского и иеромонаха Маркела Родышевского, чтобы они, постоянно находясь около преступника, приняли его покаяние. Но церковники так и не дождались раскаяния. Лишь однажды умирающий «просил в ночи тайно» Маркела причастить его, но тот отказал казненному в просьбе. Утром 16 марта Глебов умер. Позже Петр расправился с Глебовым еще и посмертно, объявив ему анафему – вечное церковное проклятие, поскольку он *«покаяния не принес и причастия Святых тайн не точию не пожелал, но и отвергся»*. С тех пор по всем церквям ему должны были возглашать: *«Вовеки да будет анафема!»* – как и Гришке Отрепьеву и Ваньке Мазепе.

Перейдем к технике болевых и калечащих наказаний, прежде всего к *наказанию кнутом*. За исключением казни полковника Грузинова в 1800 году, наказание кнутом не преследовало цели убийства преступника. При кнутовании приговоренного взваливали на спину помощника палача или привязывали к «кобыле» или столбу посередине площади. Англичанин Джон Говард в 1781 году видел в России казнь кнутом мужчины и женщины: *«Женщина была взята первой. Ее грубо обнажили по пояс, привязали веревками ее руки и ноги к столбу, специально сделанному для этой цели, у столба стоял человек, держа веревки натянутыми. Палачу помогал слуга, и оба они были дюжими молодцами. Слуга сначала наметил свое место и ударил женщину пять раз по спине... Женщина получила 25 ударов, а мужчина 60. Я протеснился через гусар и считал числа, по мере того, как они отмечались мелом на доске. Оба были еще живы, в особенности мужчина, у которого, впрочем, хватило сил принять небольшое даяние с некоторыми знаками благодарности. Затем они были увезены обратно в тюрьму в небольшой телеге»*.

По данным середины XVIII – начала XIX века «кобыла» представляла собой «толстую деревянную доску, с вырезами для головы, с боков для рук, а внизу для ног». Она «поднималась и опускалась на особом шарнире так, что наказуемый преступник находился под удобным для палача углом наклона. Палачи клали преступника на «кобылу», прикрепляли его к ней сыромятными ремнями за плечи и ноги и, пропустив ремни под кобылу чрез кольцо, привязывали ими руки, так что спина после этой перевязки выгибалась». До появления «кобылы» кнутование проходило на «козле». Как выглядело это орудие, неизвестно, и сказать точно, когда «кобыла» вытеснила «козла», мы не можем. По некоторым данным, в провинции били кнутом на перевернутых дровнях.

Вместе с тем в течение XVII века и почти всего XVIII века использовалась и техника битья кнутом *на спине*. Преступников раздевали до пояса и клали на спину помощника палача, который держал его за руки. Ноги же связывали веревкой, и ее крепко держал другой чело-

век, чтобы преступник не мог двигаться. За осужденным в трех шагах стоял палач и бил его длинным и толстым кнутом. «На спине» секли Н. Ф. Лопухину и А. Г. Бестужеву в 1743 году. Уильям Кокс, наблюдавший кнутование в 1778 году, писал, что к ногам преступника привязывали гири. Была и третья разновидность казни кнутом – «*в проводку*», то есть на ходу, когда преступника, водя по оживленным торговым местам, при движении били кнутом. Такое кнутование называли также «торговой казнью».

Разные виды битья могли сочетаться. В этом случае в приговоре отмечалось: «Бить на „козле“ кнутом и в проводку». Так, кажется, поступали в екатерининское время с самозванцами. В 1773 году сибирский губернатор Чичерин предписал самозванца Г. Рябова и его сообщников, «начав с острога, и по всем переулкам [Тобольска] сечь кнутом и, вырезав ноздри, сослать в Нерчинск вечно в ссылку с таким притом повелением, чтобы во всяком от Тобольска городе чинить им наказание кнутом же». Казнь «в проводку» была отменена только в 1822 году.

Как и при отсечении головы, кнутование сопровождалось своими ритуалами и обычаями: «Начинал сперва стоявший с левой стороны палач: медленно поднимая плеть, как бы какую тяжесть, он с криком „Берегись, ожгу!“, наносил удар, за ним начинал свое дело другой. При наказании наблюдалось, чтобы удары следовали в порядочном промежутке один подле другого». Как и при допросах, могли использоваться различные техники кнутования. После наказания палача следовало благодарить, что не изувечил сильнее, чем мог.

Битье кнутом – пожалуй, самый распространенный вид экзекуции в России XVIII века. Причина такой «популярности» телесного наказания не только в принятом во всех странах XVIII века весьма жестоком обращении с человеком, но и в особенностях политического и социального порядка, установившегося в России после утверждения в ней самодержавия и крепостничества. Безграничная власть государя делала всех подданных равными перед ним и... кнутом. Исследователи начиная с М. М. Щербатова отмечают отсутствие в общественном сознании допетровской России (да и при Петре) ощущения позора от самого факта публичных побоев и телесных наказаний человека на площади. Лишь с утверждением при Екатерине II дворянских сословных ценностей и усвоением дворянами норм западноевропейской дворянской чести это чувство, как и соответствующие им нормы права, появились в России.

Бесспорно, что телесные наказания стимулировало и крепостное право. Как писала в своих записках Екатерина II, в 1750 году в Москве не было помещичьего дома, в котором отсутствовала бы камера пыток и орудия истязания людей. Связь системы наказаний в помещичьих поместьях и в государстве была прямой и непосредственной – ведь речь шла об одних и тех же подданных. Одновременно нельзя не согласиться с теми учеными, которые отмечают в Петровскую эпоху не только резкое усиление жестокости наказаний, но и значительное увеличение наказаний в виде порки различных видов. Можно говорить о целенаправленной политике запугивания подданных с помощью «раздачи боли» (выражение В. А. Рогова). Пример такого отношения к людям подавал сам Петр I, чья знаменитая дубинка стала одним из выразительных символов эпохи прогресса через насилие в России.

Исторические материалы однозначно свидетельствуют, что «кнутование» было одним из самых жестоких наказаний. Смертный исход после наказания кнутом был очень частым. Уильям Кокс, педантично изучавший проблему наказания кнутом в России, считал, что наказание кнутом было лишь одним из видов смертной казни, причем весьма мучительной. Он писал, что приговоренные «сохраняют некоторую надежду на жизнь, однако им фактически приходится лишь в течение более длительного времени переживать ужас смерти и горько ожидать того исхода, который разум стремится пережить в одно мгновение».

Калечащий характер кнутования учитывался при вынесении приговора. По именному указу 25 июня 1742 года крепостным-рекрутам при наказании за ложное «слово и дело» разрешалось использовать вместо кнута плеть. Вынося приговор о кузнеце Архипе Тимофееве,

судья заколебался и постановил: «Ежели годен в службу, то, учиня в кузнечном ряду наказание плетьюми, а ежели негоден – кнутом».

Очень редко в приговорах сказано о числе ударов кнутом, которые предстояло вытерпеть преступнику. 30 ударов кнутом получил по приговору «Бить кнутом нещадно» школяр Лукьян Нечитайло из Глухова в 1722 году. Когда в 1752–1753 годах наказывали взбунтовавшихся работных людей Калужской провинции, то по приговору о «нещадном наказании кнутом» преступники получали 50 ударов, а при наказании по приговору просто «кнудом» давали всего 25–30 ударов. Таким образом, «нещадное наказание» кнутом в XVIII веке составляло не менее 30 ударов.

Никаких критериев в определении силы удара кнутом не существовало. Часто встречающееся в приговорах понятие «нещадно» ни по числу, ни в силе ударов не было регламентировано. Жестокость наказания кнутом во многом зависела от угла наклона «кобылы», от расстояния, с которого бил палач, но более всего от воли старшего экзекутора и палача. Как вспоминал пастор Зейдер, которого вели на эшафот, его мрачные мысли были прерваны палачом, который потребовал денег. «В кармане у меня было всего несколько медных денег, но в бумажнике было еще 5 руб. Доставать их было неудобно, это могло привлечь внимание, поэтому я снял часы и, отдавая их, сказал как только мог яснее по-русски: „Не бей крепко, бей так, чтобы я остался жив!“ – „Гм! Гм!“ – пробурчал он мне в ответ».

О взятках накануне казни нам известно из разных источников. Смысл взятки состоял в том, чтобы опытный, профессиональный палач замахивался сильно, а бил слабо и не вкладывал в удар всю силу. Проверить или проконтролировать силу удара было очень трудно. Как писал современник, «одного удара достаточно для того, чтобы разрезать кожу так глубоко, что кровь заструится. С другой же стороны, подкупленный палач... окровавит спину преступника и следующими ударами размазывает только текущую кровь...».

Экзекуция под названием «*гнать сквозь строй*», «*наказать спиц-рутенами*» (шпиц-рутенами) появилась при Петре I как типично западноевропейское воинское наказание. Однако с самого начала «прогуляться по зеленой улице» заставляли не только провинившихся солдат, но и гражданских преступников. Солдатам раздавались розги, полк (или батальон) выстраивался на плацу «коридорным кругом»: две шеренги солдат стояли друг напротив друга по периметру всего плаца. Обнаженного по пояс преступника привязывали к двум скрещенным ружьям, чтобы он шел не быстро. Не мог наказанный и замедлить шаг – унтер-офицеры тянули его за приклады ружей вперед. Каждый солдат делал шаг вперед из шеренги и наносил удар. За силой удара внимательно следили унтера и офицеры, не допуская, чтобы солдат-палач жалел своего товарища. Если наказанный терял сознание, то его волокли по земле или клали на розвальни и везли до тех пор, пока он не получал положенного числа ударов или не умирал на пути по «зеленой улице». Соучастников и свидетелей его проступка в воспитательных целях вели следом так, чтобы они видели всю процедуру в подробностях и могли рассказать об этом другим.

Розга (рутен) представляла собой тонкую, гладкую ветку – «лозовый прут» длиной в 1,25 аршина (чуть меньше метра), очищенную от листьев и мелких веточек. Розги использовались достаточно тяжелые, но гибкие, не сырые, но и не сухие, а слегка подвялые. Менять их полагалось после 10 ударов. По крайней мере, такие требования к розгам были приняты в первой половине XIX века, но думаю, что они действовали и в XVIII веке. Закон не устанавливал никакой нормы наказания шпиц-рутенами. В ряде случаев отмечалось: «Прогнать шпиц-рутен чрез полк сколько можно». Артикул воинский 1715 года предписывает за минимальное преступление – кражу на сумму не более 20 руб. – гонять «сквозь полк», то есть через тысячу человек шесть раз, при повторной краже – двенадцать раз. Камер-юнгю Ивана Петрова приговорили прогнать «чрез полк сорок два раза», то есть он выдержал 42 тыс. ударов, причем до этого приговора его уже гоняли через батальон 61 раз и много раз бивали кошками. Из всех

телесных наказаний в армии шпицрутены были самым распространенным. Шпицрутены воспринимались как дисциплинарное наказание, не лишавшее военного и дворянина чести.

Как и кнутование, люди переносили шпицрутены по-разному: одни умирали, не выдержав и трех проводок через батальон, другие же выживали и поправлялись после куда более жестоких наказаний, которые, в сущности, приравнивались к смертному приговору. Известно, что пугачевский атаман Федор Минеев умер после проводки через 12 тыс. шпицрутен, в то время как солдат Кузьма Марев «за многие его продерзости гоним был в разные времена шпицрутен девяносто семь раз (то есть минимум 48 тыс. раз. – Е. А.) да бит батогами». Несгибаемый Марев это выдержал и потом за брань в адрес императрицы Елизаветы был снова наказан и сослан в Оренбург.

Моряков пороли в основном *линьками* – кусками веревки с узелком на конце, или *морскими кошками* – многохвостовыми плетками. Кроме того, их еще *килевали* – наказанного протаскивали на веревке под корпусом, точнее килем, корабля, что продолжалось несколько минут и угрожало жизни истязуемого.

Батоги – палки – считали самым легким наказанием, что отразилось в пословице: «Батоги – дерево Божье, терпеть можно». Технику битья батогами описывает Берхгольц, наблюдавший ее в Петербурге в 1722 году. Он уточняет, что преступника бьют по голой спине, что палки толщиной в палец и длиною в локоть и что еще двое ассистентов держат его враспашку за руки. Позже битье батогами упростили – наказываемого стали привязывать к «кобыле». Другое наказание батогами предназначалось для должников и недоимщиков на правее. В этом случае батогами били по голым ногам – по икрам или пяткам. Для церковников использовали *шелепы* – толстый веревочный кнут. Наказание шелепами не считалось позорящим, не требовало лишения сана и являлось дисциплинарным наказанием духовных персон, так называемым «усмирением».

Закон предусматривал и такую меру наказания, как *членовредительство*, то есть отсечение иных, кроме головы, частей тела, что непосредственно не вело к смерти. Отсекали руки (до локтевого сустава), ноги (по колено), пальцы рук и ног. За более легкие преступления (или в милость) отрубали менее важные для владения руками пальцы, в других случаях отсекали все пальцы. Впрочем, такое наказание упоминается редко. С началом петровских реформ стоящие у власти поняли, что преступники – лучшие работники многочисленныхстроек, и поэтому отсечение членов (в том числе пальцев), не позволявшее работать, фактически прекратилось.

С экзекуциями, уродующими человека («*рвать ноздри*» и «*резать уши*»), не все ясно. В источниках постоянно встречаются пять глаголов, обозначающих эту экзекуцию: «пороти», «рвать», «вынимать», «вырезать» и «резать». Первые три глагола означали нанесение рваных ран, в частности удаление специальными щипцами крыльев носа. Отрезание ушей и вырезание носа применялось при наказании закоренелых преступников. Можно полагать, что ноздри у них были уже вырваны, но теперь ноздри полностью удалялись ножом. Но утверждать это как бесспорный факт мы не можем, так как известны указы, когда преступников наказывали явно впервые, но в приговоре писали: «По *вырезанию* ноздрей и урезанию языка» или «Бив кнутом и *вырезав* ноздри, послать на каторгу в вечную работу». Среди подвергшихся телесным наказаниям в 1725–1761 годах ноздри вырваны или вырезаны почти у четверти наказанных (353 из 1532), причем большую часть из них (328 из 353) подвергли увечению после наказания кнутом. Как известно, в тюрьме и на каторге всегда находились «умельцы», которые лечили каторжников, так что через несколько лет рваные ноздри становились почти незаметны. Сибирский сторожил Н. Абрамов записал тобольское предание о заращивании вырванных ноздрей: «Я слышал в детстве от стариков, что будто пониже плеча правой руки его был вырезан кусочек мяса, приложен к ноздрям, и посредством разгноения, зарощены вырванные части».

Первое упоминание о казни «*урезания (урывания) языка*» относится к 1545 году, последнее – к 1743 году. Урезание делалось с помощью заостренных щипцов и ножа. Как оно именно

проводилось, точно не известно. Приговоры не уточняли, как глубоко нужно вырезать язык. В них говорилось обобщенно: бить кнутом и сослать, предварительно «урезав язык» или «отрезав языка». Наблюдать за действиями палача при экзекуции было трудно, поэтому можно было дать палачу взятку и тогда он мог отсечь только кончик языка. О том, что лишенная языка А. Г. Бестужева говорила, известно из легендарных сведений о ее жизни в Якутске. Повторное удаление языка было уже, как правило, полным – «из корения», что делало жизнь изуродованного человека очень трудной: говорить ему было уже нечем и к тому же лишенный языка во сне постоянно захлебывался слюной и не мог жевать еду.

Урезание языка, подобно отсечению руки или пальца, приближалось к «материальным казням», когда не просто наказывали человека, а отсекали тот его член, с помощью которого было сказано или написано гнусное слово. В приговоре по делу Григория Трясисоломина подчеркнута связь преступления и наказания: «За его воровския непристойныя *речи* велели казнить: вырезать ему *язык*». Из всех дел первой половины XVIII века, которые кончались для преступника урезанием языка, большинство относилось к произнесению преступниками особо дерзких, «скаредных речей». Отсекали язык и за молчание тем людям, которые не известили власти о важном государственном преступлении. В 1733 году так казнили пять человек свидетелей, знавших, но не донесших на самозванцев Труженикова и Стародубцева. В приговоре о них отмечалось: «За неизвет их на означенных самозванцев... урезать языки».

Обычно в самом конце экзекуции преступника, подлежащего ссылке на каторгу, *клеймили*. Это делалось для того, чтобы преступники, как сказано в указе 1746 года, «от прочих добрых и не подозрительных людей *отличны были*». В указе 1765 года об этом говорится: «Ставить на лбу и щеках литеры, чтобы они (преступники. – Е. А.) *сразу были заметны*». Стоит ли много говорить о том, что клейменный позорным тавром человек становился изгоем общества. Если вдруг приговор признавался ошибочным, то приходилось издавать особый указ о помиловании, иначе «запятнанного» человека власти хватили повсюду, где бы он ни появлялся.

Чем клеймили («пятнали» или «ставили знаки») и как происходило само клеймение («запятнание», «поставление литер»)? Известно, что для клеймения использовались «городовое пятно» (возможно, городской герб, буква или эмблема города), орел, а также литеры. Родиона Семенова было приказано «запятнав *пятном „ведьми“* с порохом в лоб *в трех местах*». Иначе говоря, на лбу у него было три буквы «В». До 1753 года чаще всего на щеках и лбу преступника ставили слева направо четыре литеры «В» «О» «Р» и «Ъ», после 1753 года – только три первые буквы с помощью присланных из Юстиц-коллегии «стемпелей». Указ 1753 года предполагал, что «В» ставится на лбу, буква «О» – на правой щеке, а буква «Р» – на левой.

Во второй половине XVIII века стали стремиться «написать» на лице человека его преступление. Самозванца Кремнева по указу Екатерины II 1766 года клеймили в лоб литерами «Б» и «С» («Беглец» и «Самозванец»), а его сообщника попа Евдокимова – литерами «Л» и «С» («Ложный свидетель»). Оренбургская секретная комиссия по разбору дел пленных пугачевцев в 1774 году выносила приговоры о клеймении преступников следующими буквами: «З» – «Злодей», «Б» – «Бунтовщик» и «И» – «Изменник».

В XVII–XVIII веках техника клеймения состояла в том, что специальным прибором с иглами наносили небольшие ранки, которые затем натирались порохом. В указе 1705 года предписывалось натирать ранки порохом «многажды накрепко», чтобы преступники «тех пятен ничем не вытравливали и живили и чтоб те пятна на них, ворах, были знатны по смерти их». Однако колодники умели выводить позорные клейма – они не давали заживать «правильным» ранкам и растравливали их. В результате четкие очертания букв терялись. Не случайно указ о наказании закоренелых преступников 1705 года предписывал «пятнать *новым* пятном». Уже в начале XIX века просвещенные чиновники понимали дикость вырезания ноздрей и клеймения людей. Однако эти формы наказания отменили только по указу 17 апреля 1863 года.

После телесного наказания преступника отводили или отвозили в тюрьму, где при необходимости его лечили. Исполнение приговора обязательно фиксировалось в соответствующем протоколе, журнале или в виде пометы на указе-приговоре, объявленном преступнику и публике: «И июня 29 дня 1724 году, – сказано в журнале Тайной канцелярии, – Якову Орлову экзекуция учинена за кронверком у столпа бит кнутом, дано ему тритцать ударов и ноздри вырезаны, при той экзекуции были для караула... подпоручик Степан Сытин, 12-ой роты за сержанта капрал Артемон Оберучев, 9-ой роты за капрала салдат Борис Телцов, солдат 24 человека, барабанщик, Тайной розыскной канцелярии канцелярист Семен Шурлов, подканцелярист Григорий Мاستинской».

С умерщвлением преступника казнь не заканчивалась. В XVII–XVIII веках было принято выставлять трупы или отдельные части тела казненного в течение какого-то времени после казни. Все эти посмертные позорящие наказания имели предупреждающий и поучительный характер. В одних случаях речь шла о часах, в других – о днях, в третьих – о месяцах и годах. Сообщника Пугачева Ивана Зарубина казнили в Уфе на эшафоте, который еще до казни забили изнутри соломой и смолой. Как только отрубленная палачом голова была показана народу и затем «возложена на столб и на железный шпиль», эшафот был подожжен, а «пепел развеян по воздуху». Весь этот акт имел не только ритуально-символический смысл очищения земли от скверны, но и вполне прагматическую цель – лишить сторонников казненного возможности похоронить тело. Сибирский губернатор князь М. П. Гагарин был казнен на Троицкой площади Петербурга в марте 1721 года, а в ноябре того же года Петр требовал опутать труп, который уже разлагался, цепями и так повесить снова. Он должен был устрашать всех как можно дольше.

Каменный столб с водруженными на нем головой и частями тела преступников был символом совершившейся казни. Первым был столб на Красной площади, построенный в 1697 году для останков Соковнина и Цыклера. После казни в 1718 году сторонников царевича Алексея в Москве на площади была устроена целая «композиция» из трупов казненных. На верхушке широкого каменного столба «находился четырехугольный камень в локоть вышиною», на нем положены были трупы казненных, между которыми виднелся труп Глебова. По граням столба торчали шпицы, на которых висели головы казненных. Как вспоминал запорожец Н. Л. Корж, в таком положении трупы оставались надолго: «И сидит на том шпиле преступник дотоли, пока иссохнет и выкоренится як вяла рыба, так что когда ветер повеет, то он крутится кругом як мельница и торохтят все его кости, пока упадут на землю».

В ритуале казни после казни особое место занимала голова преступника. Ее стремились сохранить как можно дольше, даже если тело при этом сжигали. Нередко ее отправляли туда, где было совершено преступление. Обезглавленное тело В. Левина после казни 26 июля 1722 года в Москве было сожжено, а его заспиртованную голову отправили в Пензу. Ее водрузили именно там, где преступник кричал «непристойные слова», – на пензенском базаре. Для этого специально сложили каменный столб, на верхушке которого закрепили железную спицу для головы. Головы казненных оставались непогребенными порой годами. Юль видел в мае 1711 года в Глухове головы казненных осенью 1708 года сообщников Мазепы, а Берхгольц упоминает, что голова Лопухина провисела на колу более пяти лет после казни, совершенной 8 декабря 1718 года.

На местах казней – у эшафотов, виселиц, позорных столбов, в местах сожжения и развешивания по ветру останков преступника – вывешивали указы, написанные на нескольких железных листах. Указ разъяснял суть преступления казненных. Основой «жестяных листов» служил приговор, который выносил суд или государь. Однако текст на листе мог быть существенно короче приговора. Эти сокращения не были случайными. В черновике манифеста или «формы публикации о винах князя Меншикова» от 19 декабря 1727 года сказано: «Бабке нашей, великой государыне царице Евдокее Феодоровне, чинил многие противности, *которых в народ публично объявлять не надлежит*». Манифест так и не опубликовали, но если бы это произошло,

то данный пункт явно предполагалось исключить. По наблюдению К. В. Сивкова, из манифеста о преступлении самозванца Евдокимова в 1765 году изъяли некоторые отрывки приговора по его делу, в частности обещание этого лже-Петра II дать свободу от налогов и не преследовать старообрядчество.

Возле такого столба всегда стояла охрана, которая препятствовала родственникам и сочувствующим снять и захоронить останки. Часовые разрешали читать выставленные листы, но когда 23 сентября 1726 года капитан Иван Унков послал копииста Яковлева к столбу, на котором стояла голова казненного перед этим синодского секретаря Герасима Семенова, «списать слова с листа», то часовой этого сделать не дал. Обиженный Яковлев отправился в Тайную канцелярию жаловаться на солдата, был там задержан, подвергся допросам о причинах своего особого любопытства и с трудом выбрался из объятий сыска. Позже «листы» стали заменять публичным чтением манифестов о казни преступника. Манифесты о преступлении начинались словами «Объявляем во всенародное известие». Их печатали в сенатской типографии и рассылали по губерниям и уездам. Там их читали в людных местах и церквях. Были и публикации в газете. Так, через два дня после казни Василия Мировича 17 сентября 1764 года в № 75 «Санкт-Петербургских ведомостей» был опубликован отчет о происшедшем на Обжорке. Впрочем, одновременно установили, как и раньше, «листы» на месте казни.



25 ноября 1741 года произошел военный переворот и свержение с престола младенца императора Ивана Антоновича. Права юного императора были утверждены завещанием предыдущего монарха (Анны Ивановны) и двукратной всеобщей присягой подданных. В результате переворота к власти пришла цесаревна Елизавета Петровна. Накануне она вошла в тайное соглашение с иностранными дипломатами, получала от них деньги, а затем во главе отряда гвардейцев захватила императорский дворец и лишила правящего государя власти и свободы. Всю последующую жизнь император прожил в тюрьме. В тюрьме и был убит согласно тайной инструкции, по которой охрана получала право убить узника, если кто-то попытается освободить его.

В августе 1764 года подпоручик Смоленского пехотного полка В. Я. Мирович подговорил роту охраны Шлиссельбургской крепости начать бунт и освободить из заключения бывшего

императора Ивана Антоновича. Неожиданные для коменданта крепости заговор и успешные действия бунтовщиков в ночь с 4 на 5 июля 1764 года решили судьбу бывшего императора. В рапорте от 5 июля Н. И. Панину охранявшие писали: «И потом те же неприятели и вторично на нас наступать начали и угроживать, чтоб мы им сдались. И мы со всею нашею возможностью стояли и оборонялись, и оные неприятели, видя нашу неослабность, взяв пушку и зарядя, к нам подступили. И мы, видя оное, что уже их весьма против нас превосходная сила, имеющегося у нас арестанта обще с поручиком умертвили. И большие, видя свою совсем невозможность, принуждены были уступить свое место».

Глава 9. Тюрьма и ссылка

Тюрьмы XVIII века были преимущественно пересыльными. Они назывались *острогами* и представляли собой пространство, обнесенное высокой (до 10 м) стеной – тыном из вертикально поставленных бревен, с одними воротами. В центре такого замкового двора стояла деревянная казарма без внутренних перегородок, в ней на голых нарах спали заключенные. Казарма отапливалась печами. Были тюрьмы, где вместо одной большой казармы строили несколько изб поменьше, внутри каждой одна-две камеры – «колодничьи палаты» (или просто «колодничьи»).

По описанию англичанина Кокса, территория Московского острога, построенного в середине 1770-х годов, была разделена внутренними стенами на несколько секторов, внутри которых стояли по 4, 6 или 8 колодничьих палат. В каждой избе была одна общая камера на 25–30 человек, всего же острог был рассчитан на 800 заключенных. На сектора острог делился для того, чтобы изолировать подсудимых от осужденных и ссыльных, мужчин от женщин. В других же тюрьмах такое деление соблюдалось не так тщательно, поэтому разные категории заключенных, в том числе мужчины и женщины, оказывались вместе.

Внутренний режим в тюрьмах того времени по сравнению с иными временами был весьма свободным. Днем заключенным разрешалось гулять по тюремному двору. Часть из них, скованные общей цепью («на своре», «на связке») и под охраной солдат, могли покидать острог для сбора милостыни. За 1702 год сохранилось описание таких цепей: «Две чепи долгих, что в мир ходят и с ошейниками, у них четыре замка висячих». По данным начала XVIII века известно, что при выходах «на связке» заключенных сковывали по двое «по ноге в железах».

Арестанты «на сворах» встречались на улицах каждого русского города. Зрелище заунывно поющих колодников «на связке» оставляло тяжелое впечатление у прохожих. В указе Сената 1736 года с упреком говорится, что арестанты, сидевшие в разных учреждениях, «отпускаются на связке для прошения милостыни, без одежды, в одних верхних рубашках, а другие пытаны, прикрывая одни спины кровавыми рубашками, а у иных от ветхости рубах и раны битые знать (то есть видны. – Е. А.)». В указе 1756 года сказано, что колодники на связках «пьянствуют и чинят ссоры». Весь XVIII век власти боролись с «шатанием» арестантов по городу, и только с созданием в 1819 году специального Попечительского общества об арестантах, финансировавшего пайки тюремных сидельцев, улицы городов были очищены от нищенствующих преступников.

Вернувшись в острог, арестанты делили милостыню на всех колодников. Уже в XVII веке в тюрьме существовала тюремная организация во главе с выборным старостой. Так как известно, что власти запрещали требовать с новичков «*влазные деньги*», можно утверждать, что в тюрьмах существовал типичный для преступного сообщества «общак». Старосты имели власть над другими арестантами, ведали «общаком», получали и распределяли передачи. Тюремное начальство делало им всевозможные поблажки – сговор-«стачка» между тюремными сторожами и тогдашними «авторитетами» был делом обычным. В один из дворов острога допускались торговцы вразнос, и там арестанты покупали еду, одежду, из-под полы – водку. Весь день тюрьма была открыта для посетителей. Родственники и знакомые приносили еду, одежду, лекарства. Женщины здесь же варили тюремным сидельцам еду, стирали им белье. Заболевших арестантов иногда отправляли за пределы острога, в военный госпиталь. На ночь тщательно запирали железные двери тюрьмы, а снаружи выставляли охрану. За попытки побега, нарушение режима, оскорбление стражи следовали телесные наказания кнутом, плетью, батогами.

Побеги не были редкостью при таком достаточно свободном режиме. У преступников было немало способов бежать, освободиться от цепей и кандалов. Один из таких способов упо-

мянут в бумагах Сысского приказа 1755 года. Колодник-старообрядец старец Исаак пытался во время богослужения в церкви, куда его выводили под конвоем, освободиться от оков: «С помощью палки и двух дубовых клиньев, стал разводить на ногах кандалы, но караульный помешал». Несмотря на неизбежное расследование с пытками и суровое наказание соучастников побега, сговор преступников и охраны был делом обычным. Нередко солдаты охраны, получив деньги и боясь наказания за «слабое смотрение», бежали вместе с преступниками.

Для наказания провинившихся и предотвращения побегов использовали различные *оковы* – цепи, кандалы, стулья, рогатки, колодки. Чаще всего узников заковывали в колодки, представлявшие собой две половинки дубового обрубка длиной до аршина с вырезанным в них овальным отверстием для ноги. Обе половинки замыкали замком или заклепывали с помощью штырей. Передвигаться в колодках было трудно. Цепные оковы – это кованая железная цепь с двумя широкими, размыкающимися браслетами на концах. Были цепи трех основных видов: для рук, для ног, для руки, ноги и шеи одновременно. В названиях оков нет единообразия. Цепи для рук в документах названы и «кандалами», и «железами», и «наручнями».

Существовали «че́пи», которые закрепляли на металлическом поясе вокруг талии преступника. В 1774 году Пугачева видели в симбирской тюрьме «скованного по рукам и ногам железами, а сверх того около поясницы его положен был железный обруч с железной же цепью, которая вверху прибита была в стену». Из других источников известно, что один конец цепи вбивался в стену, лавку или пол с помощью так называемого «ершового клина» с зазубринами, а на другом конце укреплялся ошейник, ножной браслет или упомянутый железный пояс с запирающимся «цепными ключами» навесным «цепным замком». Такая цепь называлась «настенной», а жизнь заключенного в таком положении называлась «цепным содержанием». Кроме того, Пугачев сидел за специальной решеткой. Ныне она хранится в Государственном историческом музее. Решетки, отделяющие узников от выхода, упоминаются и при описании других тюрем.

Индивидуальные кандалы, в отличие от общих цепей, которые закрывались замками, были «замочные» и «глухие». Последние кузнецы заклепывали наглухо с помощью заклепок. Упоминаются два вида оков: «тесные железа» и «готовые железа», различающиеся индивидуальной подгонкой к рукам и ногам колодника. Тесные делали для того, чтобы суровее наказать арестанта за непослушание, причинить ему боль, страдания. От воли тюремщиков зависела не только «теснота» оков, но и их вес. Когда Пугачева арестовали в 1773 году, то управитель Малыковской дворцовой волости Позняков «приказал сделать кандалы: ножные в тридцать и ручные в пятнадцать фунтов и злодея в те кандалы заклепать». Иначе говоря, общий вес кандалов составлял 18 кг, и, как сказал потом Пугачев, оковы «обломили ему руки и ноги». Кроме веса оков важным считалось и число звеньев цепи, соединявшей браслеты.

На ночь ноги заключенных закрывали в «лису», которая состояла из двух половинок распиленного вдоль бревна или бруса с несколькими отверстиями для ног, а иногда и рук. Нижняя половинка была прибита к полу, а верхняя присоединялась к ней железными петлями и замыкалась толстой железной скобой с висячим замком. «Лису» также называли и большой колодкой (колодой).

Тюремное начальство могло по своей воле наказывать арестантов наложением цепей, колодок, рогаток, стульев и прочих орудий. «Рогатки» известны двух типов. Одни сделаны в виде замыкающегося на замок широкого ошейника с прикрепленными на нем длинными железными шипами. Другие состояли «из железного обруча вокруг головы, ото лба к затылку, замыкавшегося [с] помощью двух цепей, которые опускались вниз от висков под подбородок. К этому обручу было приделано перпендикулярно несколько длинных железных шипов». Стулом называли большую дубовую колоду весом свыше 20 кг с вбитой в нее цепью, свободный конец которой закреплялся с помощью ошейника и замка на шее колодника. Передвигаться с такой тяжестью было мучительно трудно. В 1711 году старообрядца Семена Денисова под-

вергли суровому наказанию – его водили в церковь «со стулом». Шейные рогатки, стулья и шейные цепи были официально уничтожены по указу Александра I в 1820 году, хотя фактически их продолжали использовать и позже.

Среди тюрем России самыми суровыми считались *монастырские тюрьмы*, которые никакого отношения к иноческому подвигу не имели. Среди них особо дурная слава держалась за тюрьмой Соловецкого монастыря, ставшего местом заключения многих государственных преступников начиная с середины XVI века. В XVIII веке насчитывалось несколько категорий колодников, которых привозили в монастырь. Это были расстриженные священники и монахи, нераскаявшиеся старообрядцы («раскольники»), отпавшие от православия миряне, богохульники (среди них было немало сумасшедших), убийцы, приговоренные не просто к тюремному заключению, но и к покаянию и смирению в тяжелых монастырских работах, и, наконец, политические преступники. Содержали узников на Соловках по-разному. Самым суровым наказанием считалась земляная тюрьма, а также тесные тюремные «чуланы». В приговорах о заключенных говорилось, что они присланы «под караул» или «под неослабный караул». Лучше было тем узникам, кого привозили «под крепкое смотрение» монастырских властей (или, как тогда еще говорили, «под начал», «на вечное житъе», «в тяжкие труды»). Такие узники жили и работали вместе с монастырскими послушниками. Если в приговоре не был указан вид работ, то их «употребляли ко всяким работам». Это позволяло некоторым узникам благодаря взяткам вообще избежать тяжелого монастырского труда. Наконец, жили в монастыре и те, кого предписывалось держать на работах «до кончины живота своего неисходно сковану».

Земляные тюрьмы в Коровой башне представляли собой глубокие ямы, обложенные изнутри и по дну кирпичом. Сверху клали засыпанные землей доски. Через небольшое отверстие, которое закрывали железной дверью с замком, вниз подавали скудную еду и воду, вытаскивали нечистоты, а иногда и поднимали самого узника, который жил в яме на гнилой соломе в полной темноте, одолеваемый полчищами паразитов и крыс. Обычно сюда сажали упорствующих раскольников. Хотя земляные тюрьмы были уничтожены по указу Синода в 1742 году, в 1768 году в подобную же «подземельную тюрьму» при Московском Ивановском девичьем монастыре посадили Салтычиху. Если вши, крысы, холод и сырость больше всего досаждали узникам земляных тюрем, то сидевшие в «уединенной тюрьме» – каменных «чуланах» вдоль внутренних стен Коровой башни – страдали от неудобства и тесноты: ни встать, ни лечь, ни вытянуть ноги в этих камерах они не могли. По замерам А. П. Иванова, в среднем величина каменного мешка – 2,15 на 2,2 м. Окна камер были очень узки и почти не пропускали света и воздуха, для которого над дверью делали отдушину. В таком каменном мешке 16 лет просидел последний кошевой Запорожской Сечи П. И. Калнишевский, присланный в 87-летнем возрасте «на вечное содержание под строжайший присмотр». Впрочем, Калнишевский в 1801 году вышел на свободу в возрасте 110 лет «без повреждения нравственных сил» и прожил в монастыре, уже по доброй воле, до своей смерти еще два года. Конечно, это случай исключительный – большинству сидение в каменных «чуланах» жизнь не удлиняло. Особенно было тяжело зимой, и, как жаловался А. Д. Меншикову в 1726 году узник монастыря Варлаам Овсянников, «оную тюрьму во всю зиму не топили и от превеликой под здешним градусом стужи многократно был при смерти». Просторнее были камеры в Головленковой башне (6,5 на 2,2 м). В 1718 году в монастырском дворе построили тюремное здание с камерами на двух этажах.

Условия содержания на Соловках да и в других монастырях-тюрьмах определяли следующие обстоятельства: предписания сопроводительного указа, поведение заключенного и, наконец, воля архимандрита. От последнего зависело ослабление или усиление многих режимных строгостей. Некоторых заключенных сажали на цепь, годами держали в ямах и каменных мешках, сковывали ручными и ножными железными, били кнутом, плетью, шелепами. Им давали только хлеб и воду, заставляли работать на цепи в кухне по 18 часов в сутки: просеивать муку,

месить тесто, печь хлеба, выносить нечистоты, стирать белье. Черные работы в монастыре были вообще разнообразны и тяжелы.

Другие заключенные, по мнению монастырского начальства, были достойны более комфортабельной жизни. Их могли расковать и, при желании узника, постричь в монахи. Это означало, что человек расставался со всякими надеждами вернуться на материк, но зато он уже не считался колодником. Особенно охотно такую льготу предоставляли раскаявшимся раскольникам, которых годами увещевали отказаться от двоеперстия и других своих «заблуждений». Они давали нередко фиктивное согласие постричься, чтобы избежать земляной тюрьмы или каменного мешка. В целом жизнь в монастыре отличалась такой суровостью, что иным каторга на материке казалась раем. В своей челобитной 1743 года бывший секретарь Михаил Пархомов просил, чтобы «вместо сей ссылки в каторжную работу меня отдали, с радостию моею души готов на каторгу, нежели в сем крайсветном, заморском, темном и студеном, прегорьком и прескорбном месте быти».

Бежать из монастыря было нелегко – за колодниками тщательно следили, их «чуланы» и вещи регулярно обыскивали. Нарушителей же режима ждало наказание – «смирение»: хлеб да вода, порка плетью, содержание в цепях, дополнительные кандалы и т. д. В истории Соловков немало побегов, но, по-видимому, среди них почти нет удачных – если арестанта не находили, то это не означало, что он сумел добраться до материка, куда ходил только «извозный карбас». Скорее всего, такой беглец тонул в Белом море.

Но и всевластный на островах архимандрит или игумен не всегда мог облегчить колодникам жизнь. С одной стороны, он, как и все российские подданные, боялся доносов со стороны монахов и извета колодника. С другой стороны, содержание особо опасных преступников регламентировали специальные указы. Так, в указе 1701 года о содержании Игнатия (Ивана Шангина) говорилось: «Послать в Соловецкий монастырь, в Головленкову тюрьму, быть ему в той тюрьме за крепким караулом по его смерти неисходно, а пищу ему давать против таких же ссыльных».

В некоторых случаях архимандрит и начальник острожного караула даже не знали преступления привезенного колодника. Такие узники назывались «секретными». На секретных узников, окруженных «собственным» конвоем, власть монастырского начальства вообще не распространялась. С ними запрещали разговаривать, их сажали так, «чтобы ни они кого, ни их кто видеть не могли», а кормили отдельно – на особые деньги, определенные приговором. В июле 1727 года на Соловки привезли П. А. Толстого и его сына Ивана с огромным конвоем – 5 офицеров и 90 солдат. Толстых поместили в Головленковой башне, где они вскоре и умерли. Особо знатные секретные узники имели льготы: сидели не в монастырской, а в собственной одежде, им разрешали брать с собой прислугу из крепостных. Ели они, как и все узники, при свече, которую к ним приносили только на время обеда, зато посуда у них была из серебра. В описи вещей, оставшихся от Толстых, учтены дорогие вещи: лисьи шубы, епанча, кафтаны, камзол, сюртук, серебряная и оловянная посуда с ножами (вещь невероятная для обыкновенного колодника), золотые часы, серебряные табакерки, 16 червонцев. Известно, что в первоначальной описи имущества Толстых учтено 100 червонцев, значит, привезенные деньги они тратили на еду и на взятки.

Кроме Соловков, политических преступников держали еще в нескольких удаленных от центра монастырях: Архангельском Николо-Корельском, Кирилло-Белозерском, Антониево-Сийском на Северной Двине, Вологодском Спасо-Прилуцком, а также в десятке других монастырей европейской части России. Суровы были условия содержания колодников в сибирских монастырях, самыми известными из которых были Долматовский Троицкий и Селенгинский Троицкий. Они становились настоящей могилой для живых. Впрочем, уморить узника можно было и в любом другом монастыре.

Женщинам-колодницам было не легче, чем мужчинам. Их ждали такие же тяжелые условия жизни, скудная еда, тяжелая работа, суровое «смирение» в случае непослушания. Знатные преступницы находились под постоянным, мелочным и придирчивым контролем приставленных к ним днем и ночью охранников или монашек. Удобным предлогом для этого служили суровые указы о содержании узниц.

После того как доносчик известил власти о «непристойных» высказываниях сидевшей в монастыре княгини Аграфены Волконской, последовал указ Анны Ивановны от 30 августа 1730 года об ужесточении режима: «Княгиню Аграфену содержать в Тихвинском монастыре крепчайше прежнего, кроме церкви из кельи никуда не выпускать, к ней никого из посторонних, без ведома игуменьи, не допускать, а когда кто к ней посторонние приходять будут, то допускать при ней, игуменье, и говорить всем вслух и того всего над ней смотреть игуменье накрепко, а ежели она, Волконская, станет чинить еще какия продерзости, о том ей, игуменье, давать знать Тихвинскому архимандриту и писать о том в Сенат немедленно».

Женщин – узниц монастырей в большинстве своем постригали в монахини. Делалось это по прямому указу сыска, насильно. В 1740 году в Иркутске в девичьем монастыре постригли несовершеннолетнюю дочь А. П. Волынского Анну, несмотря на то что «на обычные вопросы об отречении от мира постригаемая оставалась безмолвною... Фурьер вручил постригавшему письменное удостоверение, что был очевидцем пострижения в монашество девицы Анны... и тут же сдал юную печальную инокиню игуменье под строжайший надсмотр и на вечное безсходное в монастыре заключение». Другую дочь Волынского, 14-летнюю Марию, постригли в Енисейском Рождественском монастыре с именем Марианны. 31 января 1741 года пострижение это было признано незаконным, и дочери казненного Волынского возвратились в Москву.

О поведении новопостриженной игуменьи регулярно сообщала в Тайную канцелярию. Так, о Юсуповой, заточенной в Тобольский Введенский монастырь, мы читаем: «Монахиня Прокла ныне в житии своем стала являться бесчинна, а именно: первое, в церковь Божию ни на какое слово Божие ходить не стала; второе – монашеское одеяние с себя сбросила и не носит; третье – монашеским именем, то есть Проклою, не называется и велит именовать Парасковиею Григорьевной». Кроме того, отказывается есть монашескую пищу, «а временем и бросает на пол». В ответ из Петербурга пришел указ заковать княжну в ножные железа, наказать шелепами «и объявить, что если не уймется, то будет жесточайше наказана». По-видимому, только так можно было смирить упрямых узниц-монахинь.

Крепостные тюрьмы располагались в башнях, казематах или казармах гарнизона на дворе крепости. Иногда там же строили специальное здание для заключенных. Если Петропавловскую крепость можно назвать следственной крепостной тюрьмой, то тюрьмой для постоянного содержания узников служила Шлиссельбургская крепость, хотя и в ней проводили расследования по делам Долгоруких (1738–1739), Э. И. Бирона, Н. И. Новикова. Одним из первых узников крепости на острове стал канцлер Карла XII граф Пипер, доставленный в Шлиссельбург в июне 1715 года. Его, согласно указу Петра I, разместили «в квартире в удобном месте» и разрешали гулять по крепости в сопровождении приставленного к нему охранника. Там он и умер, как считали жившие в Петербурге иностранцы, от сурового обращения стражи. Здесь содержались царевна Мария Алексеевна, старица Елена – бывшая царица Евдокия, князя Д. М. Голицын и М. В. Долгорукий. Менее знатных преступников содержали в солдатских казармах, разбросанных по двору крепости.

Самый знаменитый заключенный – бывший император Иван Антонович, живший в Шлиссельбургской крепости в 1756–1764 годах. Содержали этого «безымянного колодника» с большой строгостью. Охрана была усилена после того, как в 1762 году началось дело Хрущева и братьев Гурьевых, обвиненных в намерении возвести Ивана на престол. Бывший император жил в отдельной казарме под охраной воинской команды во главе с офицерами, которые находились в непосредственном подчинении начальника Тайной канцелярии. Узник безвыходно

пребывал в камере. Окна ее не были забраны решетками, но их тщательно закрывали и замазывали белой краской, свечи в казарме горели круглосуточно. Ивана Антоновича держали без оков, спал он на кровати с бельем, в камере стояли стол и стулья. Узник имел цивильную, неарестанскую одежду и, возможно, книги духовного содержания. Ни на минуту его не оставляли одного – караул из нескольких солдат постоянно сидел с ним в камере. Дежурный офицер жил в соседней комнате и обедал за одним столом с узником. Кроме внутреннего караула снаружи был особый внешний караул. На время уборки, которую делали приходившие из крепости служители, секретного арестанта отводили за ширму.

В 1763 году, после приезда в Шлиссельбург Екатерины II, караульные офицеры Данила Власьев и Лука Чекин получили новую инструкцию. Согласно ей, они получали право убить узника, если кто-то попытается освободить его. Такая попытка и произошла в августе 1764 года. Когда в ночь с 4 на 5 августа подпоручик Мирович с солдатами пытались захватить казарму, в которой сидел Иван Антонович, Власьев и Чекин убили узника.

Главным узилищем для государственных и других опасных преступников был Секретный дом во дворе Шлиссельбургской крепости, где, в частности, сидели «отставной поручик Новиков» и его друг доктор Багрянский. Узников Секретного дома содержали строго по инструкции. В ней предписывалось держать имя арестанта в секрете, узник находился в полной изоляции от других заключенных и посетителей, охране строго запрещалось разговаривать с ним. На довольствие узника полагалось 20–30 коп. в сутки. Камеры обыскивали и у заключенных отбирали запрещенные или подозрительные предметы и особенно бумагу и перья. Начальник охраны регулярно писал отчеты на имя коменданта или старшего начальника, а тот периодически (раз в квартал или в полгода) рапортовал о поведении и разговорах узника «из подозрительного» в Петербург, нередко прямо генерал-прокурору или кому-то из высших должностных лиц империи.

В более удобных условиях находились присланные в крепость «на житье». Они получали жилье (по-видимому, в казармах гарнизона), им разрешали взять с собой семью, иметь перо и бумагу. Один из узников, Николай Чоглоков, даже женился на дочери коменданта крепости Бередникова, и она родила ему восьмерых детей. Таким заключенным разрешались прогулки по крепости в сопровождении охраны, а родственников узника выпускали за пределы крепости на городской базар.

Из прочих крепостных тюрем особенно известны тюрьмы в Выборгской и Кексгольмской крепостях. В первой содержался Феофилакт Лопатинский (1739–1741), а во второй жили обе жены Емельяна Пугачева и трое его детей. В. В. Долгорукого в 1732 году заточили в Ивангород, а С. Ф. Апраксина в 1757 году – в Нарву. Под тюрьму постоянно использовали и крепость Динамюнде под Ригой, где несколько месяцев содержали Брауншвейгское семейство, а в конце XVIII века – две сотни духовоборов и скопцов. Арсений Мациевич был посажен в 1767 году в Ревельскую крепость под именем «мужика Андрея Бродягина» (потом Екатерина II переименовала его в «Андрея Вралья»).

В истории тюрем XVIII века известны несколько случаев крайне сурового тюремного содержания, напоминавшего ушедшие навсегда времена Средневековья. Речь идет о *замуровывании узника* в каменном мешке. В декабре 1725 года бывший архиепископ Новгородский Феодосий (в схиме – Федос) был «запечатан» печатью в подцерковной тюрьме Архангелогородского Николо-Корельского монастыря. Дверь камеры была заложена кирпичом, и оставалось только узкое окошко для передачи узнику еды. Прожил Федос в таком положении всего месяц. В начале февраля караульный офицер доложил архангелогородскому губернатору Измайлову, чьей печатью была запечатана дверь камеры, что Федос «по многому клику для подания пищи [в окошко] ответу не отдает и пищи не принимает». Измайлов приказал охране позвать Федоса как можно громче. Но узник не отзывался, и при вскрытии камеры он был найден мертвым.

Смерть узников тюрем требовала обязательного письменного подтверждения. Местные власти ждали специального курьера из Тайной канцелярии, который присутствовал при похоронах и привозил в столицу рапорт о погребении. Так поступили в 1726 году с телом Феодосия Яновского, похороненным в Кирилло-Белозерском монастыре. Секретных узников стремились хоронить тайно. В инструкции о похоронах Антона-Ульриха сказано: «Тело его погresti тихо в ближайшем кладбище церковном, не приглашая отнюдь никого, кроме команды вашей». О прошедших похоронах обязательно подробно сообщали в Петербург.

Ссылка – один из самых распространенных видов наказания по политическим и иным преступлениям. В течение всего XVII века число преступлений, по которым людям грозила ссылка, увеличивалось постоянно, и, по словам Н. Д. Сергеевского, «не осталось почти ни одной категории преступления, по отношению к которой не практиковалась бы ссылка». Он же дает объяснение этому явлению: ссылка была нужна государству, ибо «служила неиссякаемым источником, из которого черпались рабочие силы в тех местах, где это было необходимо для службы гражданской и военной, для заселения и укрепления границ, для добывания хлебных запасов на продовольствие служилым людям» и т. д. В петровское время, с «открытием» такой разновидности ссылки, как каторга, позволявшей использовать труд ссыльных на производстве и стройках, значение ссылки в истории России стало огромным. Рассмотрим основные виды ссылки.

Выдворение за границу в качестве наказания применяли нечасто, преимущественно в отношении дипломатов или иностранцев на русской службе, обвиненных в политических, придворных интригах или чем-то не угодивших самодержцу. Иностранное подданство для государственного преступника служило в России XVII–XVIII веков слабой защитой: иностранца, обвиненного в государственном преступлении, могли казнить, посадить в тюрьму, сослать в Сибирь или в другое удаленное место; судьбы немцев Кульмана, Минихов, Менгдена, голландца Янсена, итальянца Санти, француза Лестока этому выразительные свидетельства. Самыми громкими такими историями в XVIII веке была высылка из России посланника Франции в России маркиза де ла Шетарди в 1745 году, братьев Массон в 1796 году.

Массоны узнали от обер-полицмейстера Чулкова, что «по воле государя... должны быть препровождены в ваши места» и что на сборы им дано два часа. На границе конвойный офицер передал их первому пограничному посту Пруссии и получил расписку от немецкой пограничной стражи в том, что преступники выдворены за пределы Российской империи. Далее Массон пишет: «При нашем переезде через границу нам не читали никакого карательного приговора, не провозглашали никакого запрета на возвращение наше в Россию и оставили мне мой мундир и шпагу, а брату – его почетную саблю и орден (Массон-старший отличился в войнах России с турками. – Е. А.), без всякого предъявления нам каких-либо требований».

Изгнание было тяжелой карой для порядочных людей, выдворяемых с позором из страны. Они не имели ни паспорта-отпуска («абшид»), ни необходимых для новой службы рекомендаций, ни жалованья, за ними тянулась дурная слава. Генерал Г. Тотлебен, узнав о таком приговоре, просил императрицу Екатерину II не изгонять его, а лучше казнить или сослать в Сибирь. В ответ государыня отправила его в ссылку в Порхов. Высланный из России в связи с появлением указа 1742 года об изгнании евреев доктор Санхес, прежде пользовавшийся государыню и всю тогдашнюю петербургскую элиту, стал бедствовать в Париже. Как писал из Франции в 1757 году русский дипломат Федор Бехтеев, Санхес «в великой бедности живет... говорит, что служа России столько лет беспорочно и не получа абшита и не имея никакого знака о удовольствии его службою, он не может с пристойностию, как честный человек, ни в какую службу вступить, для того много аванажных мест отказывал и отказывает... желает, чтоб от двора хотя малой знак ему дан был в признание его службы и ревности к отечеству».

Ссылка по приговору «в деревни» или «в дальние деревни» считалась самым легким из возможных наказаний такого рода, хотя перед отправкой в ссылку вельможа почти всегда

лишали званий, чинов, орденов, вообще «государевой милости». Иногда приставу указывали более или менее конкретный адрес («в суздальскую ево деревню» или «жить... в дальней его деревне, которая *дале всех*»), но чаще давали лишь общее направление – подальше от столицы, предоставляя выбор «дальней деревни» самому ссыльному или местному начальству.

Сразу же после прихода к власти Павла I в 1796 году княгиня Е. Р. Дашкова как участница переворота 1762 года была лишена всех своих высоких должностей, хотя формального указа о ее ссылке не последовало. Но стоило ей приехать в Москву, как в ее спальню (княгиня лежала больной) «вошел генерал-губернатор М. М. Измайлов... и, понизив голос», объявил «от имени его величества императора приказание немедленно вернуться в деревню и припомнить 1762 год». Приехав в свое калужское имение Троицкое, она получила новый указ императора: немедленно ехать в деревни своего сына, причем оговаривалось примерное место ссылки – «между Устюжной Железнопольской и Череповецким уездом». Это были уже действительно дальние деревни. В деревне ссыльных поселяли в помещичьем доме или (если такого дома не имелось) – в одной из крестьянских изб.

Поначалу режим ссылки в деревне был довольно строгим. Князь В. Л. Долгорукий, привезенный в Знаменское 27 апреля 1730 года, писал через месяц своим сестрам: «по се время в горести моей живу за караулом, только позволено мне вытти из избы в сени, и я у церкви не бывал, за мои грехи Бог не сподобил». Позже власти, как правило, начинали делать ссыльным некоторые послабления – сначала им разрешали ходить в церковь, потом позволяли прогулки по двору и деревне. Почти всегда «дальняя деревня» не имела барского дома или он стоял в запущенном виде. Поэтому ссыльный помещик был вынужден заниматься хозяйством, обустройством дома, требовал срочной доставки ему из других имений денег и продуктов. Власти это предусматривали. Инструкция подпоручику Степану Медведеву, охранявшему Долгорукого, позволяла опальному «выходить на двор для прогулки и для смотрения в той деревне конюшенного двора и в полях и в гумнах хлеба, также и бороду брить в том ему не запрещать (то есть разрешали иметь бритву. – Е. А.), и прикащиков и старост той деревни, также кои будут приезжать и из других деревень для разговору о деревенских и домашних его нуждах, к нему допускать и при тех всех случаях быть ему, Медведеву, самому».

Если в столице считали, что сосланный ведет себя спокойно и от него не проистекает опасности, то охрану из его дома выводили, а присмотр за ссыльным поручался местным властям или игумену ближайшего монастыря. Для многих ссыльных строго запрещалось выезжать за пределы вотчины, что строго наказывалось. Так, в 1728 году за тайный выезд из деревни сосланная туда княгиня А. П. Волконская была заточена в монастырь.

Ссылка в деревню могла стать облегченной формой наказания после возвращения из сибирской (или иной) ссылки. За таким преступником сохранялся контроль, его переписку перлюстрировали, выехать из имения он мог только с разрешения Петербурга. Осужденные по делу А. П. Волынского П. И. Мусин-Пушкин, Ф. И. Соймонов и И. Эйхлер были освобождены из ссылки указом Анны Леопольдовны 8 апреля 1741 года. Правительница распорядилась, чтобы они жили безвыездно в деревнях своих жен. Только Елизавета Петровна указом 10 декабря 1741 года предоставила конфидентам Волынского полную свободу.

А. Н. Радищев по возвращении в 1797 году из Сибири поселился в Немцове – сельце в Калужской губернии, и там его поставили под «наиточнейшее надзирание» местных властей. С трудом Радищев добился высочайшего разрешения навестить родителей в Саратовской губернии. Однако, как всегда, кроме трудных и долгих официальных путей были и неофициальные способы облегчить себе жизнь. Тот же Радищев сумел тем не менее два раза тайно посетить своего давнего благодетеля графа А. Р. Воронцова, жившего весьма далеко от Немцова – в селе Андреевском Владимирской губернии.

Из ссылки в дальние деревни мог быть и самый короткий путь назад – в столицу, ко двору. Так происходило со многими вельможами, которые, по мнению власти, свое в дальней деревне

«высидели». Одним разрешали переехать в столицу, но жить при этом безвыездно в доме и «с двора не съезжать», другим давали новые назначения и приглашали к царскому двору. С подлинным триумфом вернулся в 1762 году ко двору императрицы Екатерины II сосланный Елизаветой в деревню А. П. Бестужев-Рюмин.

Хотя преступников посылали и в самые разные места империи, ссылка в Сибирь была одной из наиболее распространенных форм наказания политических преступников. «Мягкой» формой сибирской ссылки было назначение попавшего в опалу сановника на какой-нибудь *административный пост* в Сибири. Людей пониже рангом определяли в сибирскую службу. Указ об этом часто предоставлял решать судьбу ссыльного сибирским властям: «Послать его в Сибирь и велеть сибирскому губернатору определить его там в службу, в какую пристойно». Сосланных дворян записывали в служилые люди или гарнизонные солдаты. Они несли службу в острогах по всей Сибири. «Черный арап» Абрам Ганнибал был записан в майоры Тобольского гарнизона. Лишь в 1731 году набравший силу при Анне Ивановне Б. Х. Миних сумел «вытащить» Ганнибала из Сибири и устроил его в Ревеле. Основная масса «замечательных лиц» отправлялась в Сибирь не на службу, а на житье, нередко с семьями и слугами. Некоторых же ожидала тюрьма в каком-нибудь дальнем остроге.

Обычно знатных ссыльных везли под конвоем, хотя и не с партиями ссыльных и каторжан. В одних случаях ссыльным разрешали собрать какие-то вещи, взять деньги и слуг, в других – отправляли без всякой подготовки, что было для ссыльного тяжким испытанием. Перед дорогой командир конвоя получал специальную инструкцию о том, как везти ссыльных. Перевозку знатных арестантов организовывали, естественно, тщательнее, окружали особой секретностью. Так, в полной тайне везли в 1744 году Брауншвейгскую фамилию из Ренненбург на север, объезжая города по проселочным дорогам, не открывая коляску и не отвечая ни на какие вопросы. Арестантов предполагалось ночью доставить в Соловецкий монастырь, «чтобы их никто не видел».

Иногда долгие месяцы пути ссыльные не знали, куда их везут. Как описывает свой крестный путь Михаил Аврамов, после приговора 1738 года его в Петербурге, «посаждая в сани, повезли, а куда не сказали и привезли к Москве, и, держав в Москве несколько дней и не дав ему взять из двора ни платья, ни денег, повезли дальше, а куда не сказали и наконец, привезли в Охотск».

Обычно, решая судьбу ссыльных, отправляя их по бездорожью в глухие места, власти не считались ни со временем года, ни с погодой, ни со здоровьем ссыльных. Ссыльные находились в дороге месяцами, а отправленный из Петербурга в начале 1741 года М. Г. Головкин добирался до места ссылки почти два года!

После прибытия ссыльного в Тобольск администрация сибирского губернатора выбирала ему город, если его приговор содержал неопределенный адрес ссылки: «в дальние сибирские города» или «в самые дальние города». Так, для обер-церемониймейстера Санти «дальней сибирской крепостью» стал Якутск. По столь неопределенному адресу чаще всего везли «подлых» преступников, а людей известных, знатных обычно отправляли в заранее подготовленное место ссылки.

Условия ссылки в маленькие зимовья и остроги, вроде Жиганска, Нижнеколымска, Сургута, Усть-Вилуйска, были различны. Счастливец считал себя тот, кого послали не в Нижнеколымск у самого Северного Ледовитого океана, а в Среднеколымск, то есть поближе к центру Сибири.

Чаще всего для ссылки «бывших» назначали Березов и Пелым. Березов оказался удобен тем, что в остроге, переделанном из мужского монастыря, стоял обширный дом, были баня и кухня. Здесь можно было селить целые семьи ссыльных с многочисленными слугами. В таких местах уже сложились проверенные временем условия для содержания преступников и для сносной жизни охраны.

Впрочем, допустимо и иное объяснение ссылки именно в Березов, которая стала подчеркнутой формой мести: Меншикова отправили в Березов Долгорукие, потом их сослали на место Меншикова, затем в Березове оказался А. И. Остерман – организатор ссылки Меншикова и один из судей над Долгорукими. Может быть, так осуществлялся известный принцип: «Не рой другому яму...». Кажется, что по тем же мотивам в Пелым был сослан в 1742 году и Миних. 9 ноября 1740 года он не только коварно сверг Бирона, но и сам составил чертеж дома в Пелыме для бывшего регента, куда его весной 1741 года и отправили. Пришедшая к власти Елизавета Петровна приказала вернуть Бирона в Европу, а Миниха, наоборот, поселить в том самом доме, который он заботливо подготовил для Бирона.

Примечательно, что почему-то Якутск на протяжении десятилетий был местом ссылки украинской элиты – гетманов и старшин, начиная с Демьяна Многогрешного в 1673 году и кончая Войнаровским в 1718 году. Когда Березов или другие ему подобные «популярные» места ссылки оказались заняты, выбор города или зимовья для ссылки зависел от случайности – главное, считала власть, чтобы преступники жили подальше от центра, а также друг от друга, да и не могли сбежать.

Обычно прибывших к месту ссылки, в зависимости от меры наказания, заключали в городской острог, устраивали в пустующих домах обывателей или строили для них новое жилье, которое выглядело, как тюрьма. В конце декабря 1740 года в Пелым был срочно послан гвардейский офицер, чтобы возвести узилище для сосланного туда Э. И. Бирона с семьей. По описанию и рисунку, сделанному, как сказано выше, лично Минихом, видно, что для Бирона возводили маленький острог: «Близ того города Пельми (так!) сделать по данному здесь рисунку нарочно хоромы, а вокруг оных огородить острогом высокими и крепкими полисады из брусьев... и дабы каждая того острога стена была по 100 саженей, а ворота одни, и по углам для караульных солдат сделать будки, а хоромы б были построены в середине онаго острога, а для житья караульным офицерам и солдатам перед тем остром у ворот построить особые покои». Из донесения выполнявшего эту работу подпоручика Шкота следует, что вокруг палисада был еще выкопан ров.

На содержание ссыльных казной отпускались деньги, которых, как правило, не хватало – слишком дорогой была жизнь в Сибири, да и с охраной приходилось делиться. Для поселенных «на житье» или «в пашню» деньги и хлеб отпускали только до тех пор, «покамест они учнут хлеб пахать на себя». Бывало так, что отпускаемые казенные деньги целиком оставались в карманах охранников, за что они позволяли ссыльным тратить без ограничений свои личные деньги, устраиваться с минимальным, хотя и запрещенным инструкциями комфортом. А деньги у большинства состоятельных ссыльных водились. Женщины имели при себе дорогие украшения, которые можно было продать.

То, что при выезде из Раненбурга у Меншиковых отобрали абсолютно все, можно расценить как сознательное унижение русского Креза. Так же поступили в 1732 году и с семьей А. Г. Долгорукого. Бирона при отъезде в Сибирь весной 1741 года лишили всех золотых вещей и часов, а серебряный сервиз обменяли на «равноценный» оловянный, но денег у бывшего регента все же не тронули. Деньги ссыльным были очень нужны. Приходилось за свой счет ремонтировать или благоустраивать убогое казенное жилище, заботиться о пропитании.

Самой вольной считалась ссылка на Камчатку – бежать оттуда ссыльным, как думали в Петербурге, было некуда. Ссылать туда начали с 1743–1744 годов, когда на Камчатку отправили участников заговора камер-лакея Турчанинова. Ссыльные в Большерецком и других местах Камчатки жили достаточно свободно, они занимались торговлей, учительствовали в семьях офицеров гарнизона. К началу 1770-х годов на Камчатке собрались люди, замешанные в основных политических преступлениях XVIII века. За одним столом тут сживали участники заговора 1742 года Александр Турчанинов, Петр Ивашкин, Иван Сновидов. Позже к ним присоединились заговорщики 1762 года Семен Гурьев, Петр Хрушов, а потом и заговорщик 1754

года знаменитый Иоасаф Батурин. Потом сюда приехал пленный венгр – участник польского сопротивления М. А. Беньовский. Он-то и организовал в 1771 году захват группой ссыльных корабля, на котором они бежали в Европу. Эта скандальная история изменила прежде столь беззаботное отношение властей к дальней камчатской ссылке. Они ужесточили там режим. Довольно свободно чувствовали себя ссыльные в Охотске, особенно когда в 1730-е годы там обосновалась Камчатская экспедиция Беринга. Ей постоянно требовались люди, которых и находили среди сосланных государственных преступников.

Но так вольготно жилось не всем ссыльным. В тяжелом заключении находился в Жиганске в 1735–1740 годах князь А. А. Черкасский. Его держали в тюрьме «в самом крепком аресте», не давая беседовать со священником, что обычно разрешалось даже самым страшным злодеям и убийцам. Около 8 лет просидел скованным в тюрьме Тобольска Иван Тимирязев.

Если не было каких-то особых распоряжений о «крепком» содержании (то есть в тюрьме или безвыходно из покоев, под караулом), то через несколько месяцев или лет ссыльные получали некоторую свободу. Им разрешали выходить из острога или из дома сначала с конвоем, а потом и без него, бывать в гостях у местных жителей, иметь книги, заниматься сочинительством, научными опытами, вести хозяйство, выезжать на рыбалку и охоту. Важно было иметь в столице влиятельных друзей и активных родственников, которые могли добиться облегчения ссылки. Жена С. Г. Долгорукого, сосланного в 1730 году в Раненбург, была дочерью П. П. Шафирова и из ссылки постоянно переписывалась с отцом и с сестрами, которые присылали Долгоруким вещи, деньги, книги, лекарства, а когда Долгорукий заболел, то добились посылки в Раненбург столичного врача.

Практически все послабления ссыльным делались по воле Петербурга. 29 ноября 1741 года начальник охраны семьи Бирона в Пелыме Викентьев получил указ только что вступившей на престол Елизаветы Петровны: «Соизволяем повеленный вам над ними арест облегчить таким образом: когда они похотят из того места, где их содержать велено неисходно, куда выдти (однакож, чтоб не долее кругом онаго места двадцать верст), то их за пристойным честным присмотром отпускать и в прочем что до удовольствия их принадлежит, в том их снабдевать, дабы они ни в чем нужды не имели, и во уверение их сей указ дать им прочитать».

О том, что делалось у ссыльных, в Петербурге узнавали из регулярных рапортов охраны и местных властей, многочисленных самодельных доносов. Поэтому при дворе до мелочей знали, чем дышали ссыльные и что сказал за обедом князь Иван князю Алексею. Так обстояло дело с Долгорукими, жившими в 1730-х годах в Березове. Ссыльных всюду могли подслушать, а стать жертвой доносчика было им крайне опасно. Княгиня Дашкова, останавливаясь по дороге в ссылку на ночевку, приказывала своим людям заглядывать в погреб – «не спрятались ли там лазутчик Архарова для подслушивания наших разговоров».

Особо следует сказать об охране. С одной стороны, известно, что в Тобольске или по месту ссылки столичная охрана передавала ссыльных местным властям и далее они следовали с охраной из сибирских полков и воинских команд. Но, с другой стороны, сохранились сведения, что в 1741 году гвардейскому капитан-поручику Петру Викентьеву с отрядом в 72 человека предстояло не только отвезти Э. И. Бирона и его семью в Пелым, но и жить с ним там «до указа». Предстоящая дальняя командировка обычно мало радовала служилого человека. Охрана терпела нужду и тяготы ссылки вместе со ссыльными. Начальник охраны Санти в Усть-Вилуйске подпрапорщик Бельский сообщал в 1738 году начальству об ужасных условиях их жизни: «А живем мы – он, Сантий, я и караульные солдаты в самом пустынном краю, а жилья и строения никакого там нет, кроме одной холодной юрты, да и та ветхая, а находимся с ним, Сантием, во всеконечной нужде: печки у нас нет и в зимнее холодное время еле-еле остаемся живы от жестокого холода, хлебов негде испечь, а без печеного хлеба претерпеваем великий голод и кормим мы Сантия, и сами едим болтушку, разводим муку на воде, отчего все солдаты больны и содержать караул нечем. А колодник Сантий весьма дряхл и всегда в болезни нахо-

дится, так что с места не встает и ходить не может». Освободила Санти лишь императрица Елизавета в 1742 году.

Не легче приходилось и охране ссыльных по разным медвежьим углам Европейской России. О гвардии майоре Гурьеве – начальнике охранной команды в Холмогорах (там содержали Брауншвейгскую фамилию) – в 1745 году сообщалось, что он «впал в меланхолию» и не оправился от нее даже тогда, когда к нему приехали жена и дочери. Его преемник секунд-майор Вындомский завалил вышестоящие власти просьбами об отставке, ссылаясь на ипохондрию, меланхолию, подагру, хирагру, почти полное лишение ума и прочие болезни. И его понять можно – ведь он охранял Брауншвейгское семейство 18 лет!

Жизнь ссыльных зависела от разных обстоятельств. Выделим несколько важнейших. Во-первых, многое определял приговор, в котором было сказано о месте ссылки и режиме содержания ссыльных. Во-вторых, для ссыльных оказывалось важным то, как складывались их отношения с охраной и местными властями. Одни ссыльные умели ласками и подарками «умягчить» начальников охраны, воевод и комендантов, другие же ссорились с ними, страдали от придирок, самодурства и произвола. Оскорбления со стороны простых солдат и незнатных офицеров были особенно мучительны для некогда влиятельных людей, перед которыми ранее все трепетали и унижались.

А. Д. Меншиков сразу же наладил хорошие отношения с начальником охраны в Раненбурге капитаном Пырским, которому дарил богатые подарки. За это Пырский предоставлял Меншикову больше свободы, чем полагалось по инструкции. Герцог Бирон, оказавшись в ссылке в Ярославле, страдал от самодурства воеводы и особенно воеводи Бобрищевой-Пушкиной, как-то особенно его утеснявшей. Не меньше неприятностей Биронам доставлял офицер охраны: «Чрез восемь лет принуждены мы были от сего человека столько сокрушения претерпевать, что мало дней таких проходило, в которые бы глаза наши от слез сохали. Во-первых, без всякой причины кричит на нас и выговаривает нам самыми жестокими и грубыми словами. Потом не можем слова против своих немногих служителей сказать – тотчас вступает он в то и защищает их... Когда ему, офицеру угодно, тогда выпускает нас прогуливаться, а в прочем засаживает нас, как самых разбойников и убийцов». Между тем из всех ссыльных XVIII века Бирон был устроен в Ярославле лучше всех: ему назначили хорошее содержание, привезли библиотеку, мебель, охотничьих собак, экипажи, ружья, привели лошадей, позволили гулять по городу и принимать гостей.

Дружба с чиновниками не всегда кончалась добром. Так произошло с Егором Столетовым, который поссорился за праздничным столом с комиссаром Нерчинских заводов Тимофеем Бурцовым и поплатился за сказанные в ссоре неосторожные слова своей головой. Так случилось и с семьей Долгоруких, а также с администрацией Березова, на которых из мести донес Осип Тишин. К таким розыскам привлекали десятки людей, а виновных в послаблении офицеров, солдат и чиновников строго наказывали.

Сибирские историки утверждают, что благодаря образованным ссыльным в сельском хозяйстве диких сибирских и других уголков произошли благотворные перемены. Князь В. В. Голицын в Пинеге, а барон Менгден в Нижнеколымске разводили лошадей. М. Г. Головкин, забыв про свои подагру и хирагру, которые мучали его всю дорогу, занялся рыболовством в заполярном Ярманге и достиг в этом больших успехов. Бывший вице-президент Коммерц-коллегии Генрих Фик не оставил знакомого дела и в Сибири. Он вовлек в торговые операции с туземцами свою охрану и посылал в Якутск солдат для продажи купленной им у туземцев пушнины. Фрейлина Анны Леопольдовны Юлия Менгден, которая вместе с несколькими другими придворными несчастных брауншвейгцев просидела под арестом в Раненбурге с 1744 по 1762 год, перешивала свои богатые шелковые юбки в кокошники, а жена охранявшего их солдата выменивала эти изделия в ближайшей деревне на лен и шерсть, из чего Менгден ткала и вязала изделия на продажу. Успехами в домоводстве и экономии особенно прославился Б. Х. Миних,

проведший в Березове двадцать лет. Пока его не выпускали из острога, он разводил огород на валу, а потом занялся скотоводством и полеводством.

Случалось, что некоторые ссыльные даже в Сибири сумели сделать карьеру, не будучи при этом официально помилованы. Объяснить это можно тем, что в Сибири постоянно нуждались в специалистах, чиновниках. Бывший обер-прокурор Г. Г. Скорняков-Писарев после ссылки в Жиганское зимовье был отправлен в Охотск, где, оставаясь формально ссыльным, получил огромную власть «командира Охотска». Потом он провинился перед государыней – слишком много воровал и бесчинствовал, за что был посажен в тюрьму, а на его место был назначен другой «ссылочный» А. М. Девьер. Только 1 декабря 1741 года императрица Елизавета указала: «Обретающимся в Сибири Антону Девьеру и Скорнякову-Писареву вины их отпустить и из ссылки освободить».

В первой половине XVIII века вину с преступником разделяют прежде всего члены его семьи – жена, дети, реже – родители. Остальные родственники подвергаются опале и наказанию только в том случае, если они были прямыми соучастниками преступления. В приговорах по крупнейшим политическим делам XVII–XVIII веков обычно суровее других родственников наказывали сыновей, которые несли службу с отцами-преступниками. Их могли вместе казнить (князя И. А. и А. И. Хованские, 1682 год), ссылать в бессрочные ссылки (князя В. В. и А. В. Голицыны, 1689 год), сажать в тюрьмы (П. А. и И. П. Толстые, 1727 год), изгонять из гвардии в армию (И. А. и Ф. И. Остерманы), хотя вина сыновей сановников была весьма сомнительна и в приговоре ее, как правило, не детализировали – сыновья шли как сообщники, причем их наказывали не за вину, а за родство, с целью предупредить на будущее возможную месть.

Так поступили с малолетними детьми А. П. Волынского, которых сослали в 1740 году в Сибирь, видя в них возможных самозванных претендентов на престол – ведь под пыткой у их отца вымучили признание, что он хотел посадить кого-либо из своих детей на русский трон. И хотя Волынский потом от этих показаний отрекся, было поздно. В приговоре подробно описывалось, как надлежит поступить с детьми Волынского: «Детей его сослать в Сибирь в дальние места, дочерей постричь в разных монастырях и настоятельницам иметь за ними наипрекчайший присмотр и никуда их не выпускать, а сына в отдаленное же в Сибири место отдать под присмотр местного командира, а по достижении 15-летнего возраста написать в солдаты вечно в Камчатке».

Настоящей расправой с целым родом можно назвать то, что в 1730-х годах сделали власти с князьями Долгорукими. В 1730 году после опалы и ссылки всей семьи князя А. Г. Долгорукого в Сибирь удар был нанесен и по его братьям: Сергея и Ивана послали в ссылку – одного в Раненбург, другого в Пустозерск, Александра отправили служить во флот на Каспий, а сестру А. Г. Долгорукого заточили в Нижнем Новгороде в монастырь. Еще более сурово поступили в 1739 году с сыновьями А. Г. Долгорукого, младшими братьями князя Ивана Долгорукого, которые выросли в сибирской ссылке. После жестоких розысков в Тобольске их приговорили: Николая – «урезав язык», к каторге в Охотске, Алексея – к ссылке пожизненно на Камчатку простым матросом, Александра – к наказанию кнутом. Племянники Ивана, дети Сергея Григорьевича Николай и Петр, были отданы в солдаты, а Григорий и Василий – в подмастерья, в кузницу. Сын посаженного в Шлиссельбург бывшего сибирского губернатора М. В. Долгорукого Сергей служил майором Рижского гарнизона. Его выгнали со службы и приказали «жить ему в подмосковной деревне, селе Покровском безвыездно». Княжон Екатерину, Елену и Анну Долгоруких – сестер И. А. Долгорукого – в 1740 году выслали под конвоем в Сибирь, где насильно постригли.

С 1720-х годов женам и детям стали чаще, чем раньше, предоставлять выбор: сопровождать мужа или отца или остаться дома. В 1727 году правом не ехать в Сибирь за ссыльным мужем графом Санти воспользовалась его жена. В 1733 году решением Синода жена сосланного в Сибирь князя Юрия Долгорукого Марфа была разведена с преступником и тогда же про-

сила вернуть ей часть отписанных у мужа вотчин. В 1740 году расторгла помолвку и отказалась поехать в ссылку за своим женихом, Густавом Биреном, Якобина Менгден. Начиная с екатерининских времен практика высылки родственников вместе с преступником была в целом прекращена. В тех случаях, когда в приговоре не было определения «сослать с женою и детьми», законодательство не предусматривало насильственную ссылку семьи каторжного и ссыльного преступника. Это мог решать он сам.

Согласие последовать за ссыльным становилось подвигом, выразительным актом самопожертвования. Так поступили жены Миниха, Остермана, Левенвольде, Менгдена, М. Г. Головкина, Лестока. Самой известной из добровольных ссыльных стала 14-летняя графиня Наталья Борисовна Долгорукая, дочь фельдмаршала Шереметева, которая весной 1730 года отказалась вернуть обручальное кольцо своему жениху князю И. А. Долгорукому после того, как его и всю семью Долгоруких подвергли опале. Вопреки советам родственников, она обвенчалась с суженым в сельской церкви и отправилась за мужем сначала в дальнюю деревню, а потом и в Сибирь. Позже в «Собственноручных записках» она писала: «Войдите в рассуждение, какое это мне утешение и честная ли эта совесть, когда он был велик, так я с радостию за него шла, а когда он стал несчастлив, отказать ему? Я такому бессовестному совету согласитца не могла, а так положила свое намерение, когда сердце одному отдав, жить или умереть вместе, а другому уже нет участия в моей любви. Я не имела такой привычки, чтоб севодни любить одново, а завтра другога. В нонешний век такая мода, а я доказала свету, что я в любви верна: во всех злополучиях я была своему мужу товарищ. Я теперь скажу самую правду, что, будучи во всех бедах, никогда не раскаивалась для чего я за него пошла». Факты, известные нам из жизни семьи Долгоруких, позволяют утверждать, что сказанное Н. Б. Долгорукой в ее мемуарах не просто красивая фраза, она действительно стойко несла свой крест жены ссыльного.

Для простолюдинов выбора ехать или не ехать не было – жены обычно следовали за своим сосланным мужем по этапам, а в местах ссылки и каторги даже селились вместе с преступниками в общих казармах или в особых избах внутри острога. При этом жена, отправлявшаяся в Сибирь с колодником, получала из Тайной канцелярии особый паспорт, чтобы не считаться беглой.

Известен единственный случай, когда за ссыльной женой добровольно последовал ее муж. Это произошло в 1743 году. За привлеченной по делу Лопухиных фрейлиной Софьей Лилиенфельд поехал в Сибирь ее муж – камергер Карл Лилиенфельд – с двумя малолетними детьми. Ранее, во время следствия по делу жены, он добровольно сидел с ней в Петропавловской крепости.

По доброй воле за ссыльным вельможей могли ехать его дальние родственники и вольнонаемные слуги. Сестра покойной жены Радищева приехала с племянниками к ссыльному в Илимск. Потом ей разрешили выйти замуж за автора злосчастного «Путешествия». Не отписанных в казну дворовых и крепостных, естественно, никто не спрашивал – их судьбу определял господин. С десятком слуг «из подлых» отправился из Реннбурга в сибирскую ссылку А. Д. Меншиков. По-видимому, это были только крепостные, потому что уже по выезде опального вельможи к нему непрерывной чередой пошли вольнонаемные слуги, прося уволить их от службы, что он и сделал. С бароном Менгденом в Нижнеколымске оказались жена, сын, дочь, сестра жены и слуги – муж и жена. Эрнста Миниха сопровождали в вологодскую ссылку жена, ребенок и 10 слуг. Сам Б. Х. Миних с женой жили в Березове в одном доме с лютеранским пастором, цирюльником, врачом, поваром и двумя служанками.

Согласие свободного человека, будь то родственник или слуга, сопровождать ссыльного или каторжного лишало его прав на возвращение по своей воле, хотя преступником он при этом и не считался. Лишь смерть ссыльного почти наверняка означала освобождение от ссылки его родственников и слуг. Как только в июне 1714 года Петр I получил доношение о смерти князя В. В. Голицына, он сразу же распорядился освободить из ссылки его вдову и сына Алек-

сея и вернуть им часть конфискованных вотчин Голицына. Так же быстро освободили из Березова Александра и Александру – сына и дочь Меншикова, а потом жену и детей казненного князя И. А. Долгорукого – Н. Б. Долгорукую с сыновьями Михаилом и Дмитрием.

Но не всегда родственникам умершего ссыльного сразу же позволяли выехать из ссылки. Вдова умершего в Березове в 1747 году Остермана, Марфа Ивановна, получила свободу лишь в 1749 году, да и то, по-видимому, с условием пострижения ее в монастыре. Особой и совершенно несчастной была судьба приближенных Брауншвейгской фамилии, которых продержали под арестом 18 лет! Лишь в 1762 году Екатерина II распорядилась освободить Юлию Менгден «от долготелного ея страдания сидением под арестом и всемилостивейше повелевает ей возвратиться к матери ея в Лифляндию».

Рассмотрим судьбу приговоренных к *каторге*. Начало этому грандиозному «эксперименту» по использованию подневольного труда на огромных стройках было положено после Азовского похода 1696 года, когда стали поспешно укреплять взятый у турок Азов, а неподалеку заложили крепость, город и порт Таганрог. Эти города быстро превратились в место ссылки стрельцов и других политических и уголовных преступников. При строительстве Петербурга, Кроншлота, загородных дворцов азовский опыт пригодился. В сентябре 1703 года Петр писал князю Ромодановскому в Москву: «Ныне зело нужда есть, дабы несколько тысяч воров (а именно, если возможно, 2 тысячи) приготовить к будущему лету, которых по всем приказам, ратушам и городам собрать по первому пути». В петровское время заметно расширилось использование каторги как средства наказания. Ее назначали за самые разные преступления, а также заменяли ею смертную казнь.

Сосланные на каторгу различались по степени поражения их в правах. Те, кого отправляли на определенный срок или «до указу» (да еще без телесного наказания), прав своих не теряли и по окончании каторги или ссылки могли вернуться в общество. Совсем иначе обстояло дело с теми, кого отправляли «в вечную работу», «навечно», «по кончину жизни», «до скончания лет». Их вычеркивали из числа правоспособных подданных. Они теряли свою фамилию, имя, на лицах им ставили «знаки», и их считали заживо похороненными. В указе Петра I 1720 года сказано, что с каторжниками, сосланными на «урочные годы», родственникам (женам и детям) можно было «ходить невозбранно». Женам же тех, «которые сосланы в вечную каторжную работу», разрешалось по их усмотрению идти заново замуж или в монастырь или жить в своих деревнях, так как супруг такой женщины «подобно якобы умре». Жены и дети освобождались от обязанности следовать за наказанным мужем и отцом главным образом потому, что каторжники не могли жить с семьями, а находились в тюремном заключении.

Перед отправлением на каторгу и поселение большинство преступников наказывали кнутом или батогами, а также их увечили клещами и ножом и наверняка клеймили. По сводным данным 1725–1761 годов видно, что число ссыльных на каторгу и поселение составляет 1616 человек, из них 1550, или 96 %, получили различные телесные наказания и обезображивание. Отправка каторжных существенно отличалась от высылки опальных в дальние деревни, в тюрьмы, монастыри или в сибирское поселение. По-видимому, уже в первой половине XVIII века из приговоренных к каторге стали формировать большие группы в особых пересыльных тюрьмах, где политические преступники смешивались с уголовными преступниками, рецидивистами, крестьянами, сосланными своими помещиками по закону 1762 года, и бродягами. Возможно, образцом для организации конвоев служила доставка рекрутов и рабочих в Петербург из разных губерний. Мелкие группы каторжных и ссыльных в Сибирь собирались в нескольких центрах. В Вологде формировались партии для Севера, в Петербурге – для Северо-Запада (отсюда «обслуживались» каторги в Рогервике, Кронштадте, «канальное строение» на Ладого, Вышнем Волочке). Но самым крупным местом сбора каторжных стала Москва. Здесь, в главном тюремном остроге и в Бутырской тюрьме, собирали партии для отправки в Оренбуржье, на Урал и в Сибирь. В первой четверти XVIII века сибирская каторга была неко-

торое время второстепенной, уступая строящемуся Петербургу, но, как показывают исследования ученых, к концу 1720-х годов поток ссыльных в Сибирь возрос и с тех пор никогда не ослабевал. Отправки из Москвы каторжные ждали месяцами. Затем, когда скапливалось не менее 200 человек, составляли и уточняли списки колодников, назначали конвой, выделяли деньги на содержание каторжных в пути. Из Москвы партии уходили два раза в год, весной и осенью. В 1770-е годы число колодников, которых приводили в Сибирь, достигало 10 тыс. человек ежегодно.

Началом долгой, в несколько месяцев, дороги становилась знаменитая Владимирка (ныне шоссе Энтузиастов). Эта расширенная в начале XIX века, усаженная по краям березами дорога вошла в сознание многих поколений русских людей как дорога в земной ад. Каторжные шли в ножных кандалах, скованные попарно, а пары соединялись с другими единым канатом, металлическим прутом или цепью. В. П. Колесников сообщает, что вес прута с наручниками, к которому в 1827 году приковали его с товарищами, был «фунтов на 30», то есть 12 кг. Часть пути партии проделывали пешком (примерно по 30 верст в день), часть пути колодников везли на речных судах и подводах. Ночевали каторжные не только в путевых острогах (именовавшихся в XIX веке «этапами» и «полуэтапами»), но и в обывательских домах, по которым колодников вместе с караульными солдатами расселял начальник конвоя. С партией каторжан шли и просто ссыльные – сосланные «на житье в дальние сибирские города», которые хотя и были скованы, но двигались без прута. Партия преступников шла под охраной солдат, окружавших арестантов кольцом. Следом тащился обоз с вещами каторжан и ссыльных, на подводах же, но с охраной везли ослабевших и больных преступников. Тут же шли и ехали их родственники, которым разрешалось на привалах подходить к своим.

По прибытии в Тобольск – столицу Сибири, а также в Тюмень каторжные получали длительный отдых – «растах». Здесь конвой сдавал их местному конвою, который принимал людей и оковы, которые тоже были под учетом («все налицо и железа, которые на них посланы, приняты»). Юридически каторжники и сосланные на поселение переходили теперь под начало сибирского губернатора. Его канцелярия (а потом Общее по колодничьей части присутствие) занималась сортировкой ссыльных и назначала для каждого колодника конкретное место каторги и род занятий. Сибирский губернатор, как и другие воеводы (Иркутск, Тюмень были также фильтрационными центрами), мог сам решать судьбу многих из прибывших каторжан и ссыльных: одних мог оставить в Тобольске при каком-нибудь деле, других – записывать в солдаты, третьих (владеющих профессией) – отправить на местные заводы, всегда нуждавшиеся в рабочих руках.

В Сибири, как и в европейской части страны, было несколько наиболее известных, «популярных» мест ссылки и каторги: Нерчинские серебряные рудники, Охотск, Оренбург и Рогервик (Балтийской порт, совр. Палдиски, Эстония). В остальные места каторги и ссылки (Аргунь, Тара, Камчатка, Кола, Пустозерск, Кизляр, Гурьев) посылали ничтожное количество ссыльных и каторжан, хотя можно допустить, что сведения о них скрыты в 30 % «глухих» приговоров. Нужно иметь в виду, что кроме политических преступников в эти места высылали уголовников, численность которых никто не высчитывал, но думаю, что это на порядок выше, чем число попавших на каторгу за «непристойные слова».

Каторжане работали и в рудниках, шахтах, на заводах, на строительстве. Они копали и таскали землю, валили и перевозили лес, били сваи. Их услугами в массовых масштабах пользовались в первые годы строительства Петербурга. Позже труд каторжников был признан неэффективным, как и труд присылаемых под конвоем крестьян. С 1718 года на строительных работах в Петербурге и его окрестностях появились подрядчики, которые нанимали вольных людей. Тем не менее весь XVIII век каторжные работали на многочисленных промышленных предприятиях столицы.

При Петре каторжников использовали также в виде движущей силы галерного флота. В его флоте было не менее 150 гребных судов. Если примем за среднее, что на каждой галере было по 100 человек, то по самым грубым подсчетам только на галерах использовали 15 тыс. человек. Гребля считалась тяжелейшим делом. Иногда приходилось работать веслом без перерыва по много часов. В руках пристава был бич, который он сразу же обрушивал на зазевавшегося или усталого каторжника. Его могли забить до смерти, а потом, расковав, выбросить за борт. С весны до осени гребцы спали под открытым небом, прикованные к банкам, и в шторм или в морском бою гибли вместе с галерой. Зимой каторжные жили в остроге и их выводили на работы: они били сваи, таскали землю и камни.

Женщин-каторжанок на тяжелые работы в карьере или на стройке обычно не посылали не по гуманным соображениям, а потому, что для них там не было работы по силам. Преступниц отправляли на мануфактуру – прядильный двор – навечно или на несколько лет. Это была самая настоящая тяжкая каторга, на которой женщины работали непрерывно, как на галерах, спали прямо на полу, у своих прялок. Их плохо кормили и постоянно били надсмотрщики.

Для жилья каторжникам были устроены «каторжные дворы» или «остроги». Они были и в Сибири, и в других местах. В Петербурге «острог каторжным колодникам» заложили в 1706 году. Он находился на месте современной площади Труда: неподалеку от этого места располагалось Адмиралтейство, рядом была Новая Голландия, где без труда каторжников обойтись не могли. По данным, приводимым Л. Н. Семеновой, в Адмиралтействе работало от 500 до 800 каторжников. Позже острог перенесли на реку Пряжку, а в 1742 году – на Васильевский остров, возможно, к Галерной гавани. По-видимому, именно в этом остроге во время наводнения 1777 года погибло около 300 арестантов.

Жизнь каторжных подробно описывает А. Т. Болотов, служивший начальником конвоя в Рогервике: «Собственное жилище их... состоит в превеликом и толстом остроге, посредине которого построена превеликая и огромная связь (то есть сруб, казарма, барак. – Е. А.), разделенная внутри на разные казармы или светлицы. Сии набиты были полны сими злодеями, которых в мою бытность было около тысячи; некоторые жили внизу на нарах нижних или верхних, но большая часть спала на привешенных к потолку койках». Как и везде, политических и уголовных преступников держали вместе. Не делали различий по социальному положению и происхождению каторжан. Болотов писал: «Честное или злодейское сие собрание состоит из людей всякого рода, звания и чина. Были тут знатные, были дворяне, были купцы, мастеровые, духовные и всякого рода подлость, почему нет такого художества и ремесла, которого бы тут наилучших мастеров не было и которого бы не отправлялось... Впрочем, кроме русских, были тут люди и других народов, были французы, немцы, татары, черемисы и тому подобные». Охрана могла не только наказывать каторжников, но и освобождать их от общих работ, что она делала за взятки.

Охрана такого большого числа преступников была делом сложным и опасным, несмотря на предосторожности – всех каторжных держали в кандалах, а некоторые, как пишет Болотов, «имели двойные и тройные железа, для безопасности чтоб не могли уйти с работы». Против побегов использовали, как и в тюрьме, цепи, колодки, различные стреноживающие узника снаряды. Каторжных водили на работу под охраной. Наказания солдат за ротозейство или соучастие побегам каторжников отличались суровостью. Прощтрафившихся охранников ждали допросы, пытки, шпицрутены или кнут, а также ссылка. Два раза в день – утром и вечером – устраивалась переключка каторжан по списку. Несмотря на всевозможные предосторожности и строгую охрану, как писал Болотов, «выдумки, хитрости и пронырства их так велики, что на все строгости находят они средства уходить как из острога, так и во время работы и чрез то приводить караульных в несчастье. Почему стояние тут на карауле соединено с чрезвычайной опасностью и редкий месяц проходит без проказы».

Вместо заключения

Тема, которой посвящена эта книга, не является ни центральной, ни спорной в русской истории, вокруг нее не ломают копья поколения историков. И все-таки эта тема кажется мне очень важной, ибо история политического сыска – составная часть истории России, а сам политический сыск – один из важнейших институтов власти в Российском государстве.

Что же касается вопроса о масштабах деятельности политического сыска, о числе людей, побывавших в сыском ведомстве, то определенный ответ на него дать трудно. Сводных материалов на сей счет в нашем распоряжении явно недостаточно для окончательного заключения. Т. В. Черникова пришла к выводу, что Тайная канцелярия и ее Московская контора в 1730-х годах завели 1909 дел, общее число узников составило 10 512 человек, из которых 4827 были наказаны (так надо понимать выражение автора «число пострадавших узников»), в том числе 820 отправлены в ссылку. Основываясь на этом отношении и общем числе политических дел за 1715–1790-е годы (11 507 дел), можно предположить, что в сыске могло оказаться около 63 тыс. человек (11 507 дел по 5,5 человек в каждом), наказанию подверглись 31 тыс. человек, в том числе 5100 человек были отправлены в ссылку и на каторгу.

Много это или мало? И на этот вопрос я не берусь ответить определенно. В абсолютных цифрах эти данные, например, для XX века кажутся ничтожными. Согласно третьему тому «Ленинградского мартиролога 1937–1938 годов», только за ноябрь 1937 года и только в Ленинграде и области было расстреляно 3859 человек. Можно рассмотреть пропорцию общей численности репрессированных по политическим мотивам к численности населения. Так, если считать, что в 1730–1740 годах в России было не более 18 млн человек, а в сыск попадало не более 21 тыс. человек, то в сыске оказалось всего 0,116 %. Но очевидно, что эффект деятельности политического сыска определяется не только общей численностью репрессированных, но и многими другими обстоятельствами и факторами, в том числе самим государственным страхом, который «излучал» сыск, молвой, показательными казнями и т. д.

Нужно согласиться с Т. В. Черниковой, которая писала применительно ко времени «бионовщины», что «в исторической литературе масштаб деятельности Тайной канцелярии завышен», даже несмотря на то, что аннинская эпоха была более суровой, чем времена Елизаветы Петровны. К середине XVIII века и особенно со времени вступления на престол в 1762 году Екатерины II в политическом сыске исчезают особо свирепые пытки. В отличие от других стран (Франции, Пруссии и др.) в России во второй половине XVIII века не устраивают и такие средневековые казни, как сожжение, колесование или четвертование. На политический сыск стали оказывать сильное влияние идеи Просвещения. И хотя люди, конечно, боялись ведомства Степана Шешковского, но все-таки это не был тот страх, который сковывал современников и подданных Петра Великого или Анны Ивановны.

Подавляющее большинство всех политических преступлений того времени – это всевозможные «непристойные слова», оскорбляющие честь государя, а также преступления, связанные с ними («ложное слово и дело» и доноительство). «Ложное слово и дело» – столь широко распространенное преступление – тесно связано с «непристойными» словами потому, что обвинение в «ложном слове и деле», «ложном извете» возникает в результате «недоведения» извечником своего доноса на другого человека. Если бы в рассматриваемую эпоху в России не фиксировались преступления по «оскорблению чести государя», то и никакого политического сыска не было бы – предмет для его работы состоял почти исключительно в расследовании дел о ложных донощиках и о произнесенных кем-то «непристойных словах». Но тогда не было бы и самодержавия. А так как оно существовало, то преступления, составляющие суть работы политического сыска, сохранялись и в XVIII, и в XIX веке и даже перешли в XX век. Как и в древние времена, закон 1905 года карал за государственные преступления,

выражавшиеся в оскорблении государя посредством публичного показывания языка, кукиша, гримасы, «угрозы кулаком», а также в произнесении непристойных слов в адрес самодержца. За все это можно было получить до восьми лет каторги.

Поэтому мне естественным кажется преемственность политического сыска в России XX века. После окончания кратковременного периода свобод 1917 года и установления групповой, а потом и личной диктатуры большевиков произошло быстрое воссоздание всей старой системы политического сыска. Теперь она обслуживала новый режим, возникший на традиционном фундаменте самовластия, огражденной правом и насилием от контроля общества. Эта система имела глубочайшие корни в самодержавном политическом прошлом, царистском сознании, менталитете народа, не привыкшего к свободе и ответственности. Поэтому после 1917 года стремительно пошло оформление обширного корпуса политических преступлений, которые порой даже по формулировкам и инкриминируемым действиям совпадали с государственными преступлениями по «оскорблению величества» в XVIII веке. Следствием возрождения диктатуры было воссоздание – уже на новом уровне тотальности (но с применением старых приемов политического сыска и даже с использованием специалистов царской охранки) – института тайной полиции, выдвижение особо колоритных его руководителей-палачей, вроде Ежова или Берии, бурное развитие всей жестокой бюрократической технологии «розыска» с применением средневековых пыток, а также практики фактически бессудных (чаще тайных, реже публичных) расправ с явными, потенциальными или мнимыми политическими противниками, со всеми недовольными, а заодно с легионами любителей сплетен, анекдотов, с армиями болтунов и т. д. Всех их принимал в свои владения ГУЛАГ – быстро возрожденная каторга, которая в России была изобретена Петром Великим. Соответственно всему этому быстро возродился в человеке Государственный Страх, расцвело доноительство, начался новый цикл государственного террора. Деспотическая власть всегда и везде тотчас пробуждает демонов политического сыска, и тогда держать в нужнике клочки бумаги «с титулом» становится так же смертельно опасно в 1737 году, как и использовать с этой же целью газету «Правду» двести лет спустя.

Краткая библиография

- Веретенников В. И.* История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910.
- Голикова Н. Б.* Политические процессы при Петре I. По материалам Преображенского приказа. М., 1957.
- Евреинов Н. И.* История телесных наказаний в России. СПб., 1913.
- Есипов Г. В.* Раскольничьи дела XVIII столетия. Т. 1–2. СПб., 1861–1863.
- Есипов Г. В.* Тайная канцелярия. Из дел Преображенского приказа и Тайной канцелярии. СПб., 2010.
- Жандармы России. Политический розыск в России, XV–XIX века / Сост. В. С. Измозик. СПб., 2002.
- Коллманн Н. Ш.* Преступления и наказания в России раннего Нового времени. М., 2016.
- Новомбергский Н. Я.* Слово и дело государевы: (процессы до издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года). Т. 1. М., 1911.
- Семевский М. И.* Очерки и рассказы из русской истории XVIII в. Т. 3: Слово и дело! СПб., 1884.
- Серов Д. О.* Строители империи: очерки государственной и криминальной деятельности сподвижников Петра I. Новосибирск, 1996.
- Серов Д. О., Федоров А. В.* Дела и судьбы следователей Петра I. М., 2016.
- Hingley R.* The Russian Secret Police: Moscovite, Imperial Russian and Soviet Political Security Operations. New York, 1970.

Иллюстрации



Правёж – наказание должника. Пытка водой. Наказание батогами

Фототипии из книги «Заметки о России, ее коммуникациях с укреплениями и границах, сделанные Эриком Пальмквистом во время последнего королевского посольства к московскому царю в 1674 году». Стокгольм, 1898



Казнь стрельцов в 1698 году

Гравюра. Иллюстрация из книги Иоганна Корба «Дневник путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю Петру Алексеевичу в 1698, веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом». 1700–1701



Неизвестный художник. Портрет царевича Алексея Петровича. XVIII в.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Якопо Амигони. Портрет Петра I Великого
Национальный музей Швеции, Стокгольм



Вид с востока на Шоркарский погост на Оби

Вид поселения Троицкое на реке Обь в Сибири

Гравюра по рисункам Томаса Кёнигфельса. Иллюстрация к «Выдержкам из описания поездки, сделанной в Березов в Сибири» Жозефа-Никола Делиля, опубликован-
ным в XVIII томе «Всемирной истории путешествий» аббата Прево. 1768



Вид города Осы с восточной стороны

Гравюра по рисунку Томаса Кёнигфельса. Иллюстрация к «Выдержкам из описания поездки, сделанной в 1740 году в Березов в Сибири» Жозефа-Никола Делиля, опубликованной в XVIII томе «Всемирной истории путешествий» аббата Прево. 1768



Вид острога в Березове

Слева соборная церковь Рождества Богородицы, справа церковь, построенная А. Д. Меншиковым. Гравюра по рисунку Томаса Кёнигфельса. Иллюстрация к «Выдержкам из описания поездки, сделанной в 1740 году в Березов в Сибири» Жозефа-Никола Делиля, опубликованной в XVIII томе «Всемирной истории путешествий» аббата Прево. 1768



Иоганн Готфрид Таннауэр (?). Портрет президента коммерц-коллегии графа Петра Андреевича Толстого. 1710-е
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Неизвестный художник. Портрет графа Андрея Ивановича Остермана
Конец XVIII – начало XIX в.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Евграф Чемесов по оригиналу Пьетро Ротари. Портрет императрицы Елизаветы Петровны

Гравюра. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Иоганн Давид Шлойен Старший. Портрет графа Иоганна Германа Лестока, лейб-медика Елизаветы Петровны
Гравюра. Первая половина XVIII в. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Валерий Якоби. Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872
Государственная Третьяковская галерея, Москва

На картине изображена спальня болеющей императрицы Анны Иоанновны. У изголовья кровати сидит Бирон. У кровати – графиня Бирон. За столом играют в карты статс-дама Н. Ф. Лопухина, ее фаворит граф Левенвольде и герцогиня Гессен-Гомбургская. Позади них – граф Миних и князь Н. Трубецкой. Возле Бирона – его сын с бичом и начальник Тайной кан-

целярии А. И. Ушаков. Рядом сидят – Анна Леопольдовна, будущая правительница, французский посол де ла Шатарди и лейб-медик Лесток. В стороне у насеста с попугаями – поэт В. К. Тредиаковский. В дверях – кабинет-министр А. Волынский. Шуты: князь М. А. Голицын (стоит согнувшись) и князь Н. Ф. Волконский (вскочил на него), А. П. Апраксин (растянулся на полу), шут И. А. Балакирев (возвышается надо всеми), Педрилло (со скрипкой) и д'Акоста (с бичом). На полу, возле постели – карлица-шутиха Буженинова.



Неизвестный художник. Портрет Анны Иоанновны
Вторая четверть XVIII в.
Русский музей, Санкт-Петербург



Неизвестный художник. Портрет начальника Тайной канцелярии
Андрея Ивановича Ушакова. Середина XVIII в.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Николай Бестужев (?). Шлиссельбург: каземат с орудиями пыток XVIII в.
Рисунок с натуры в 1826 г. Опубликовано в журнале «Русская старина». 1892. № 5

Tom. I. N° XII.



J.B. le Prince del.

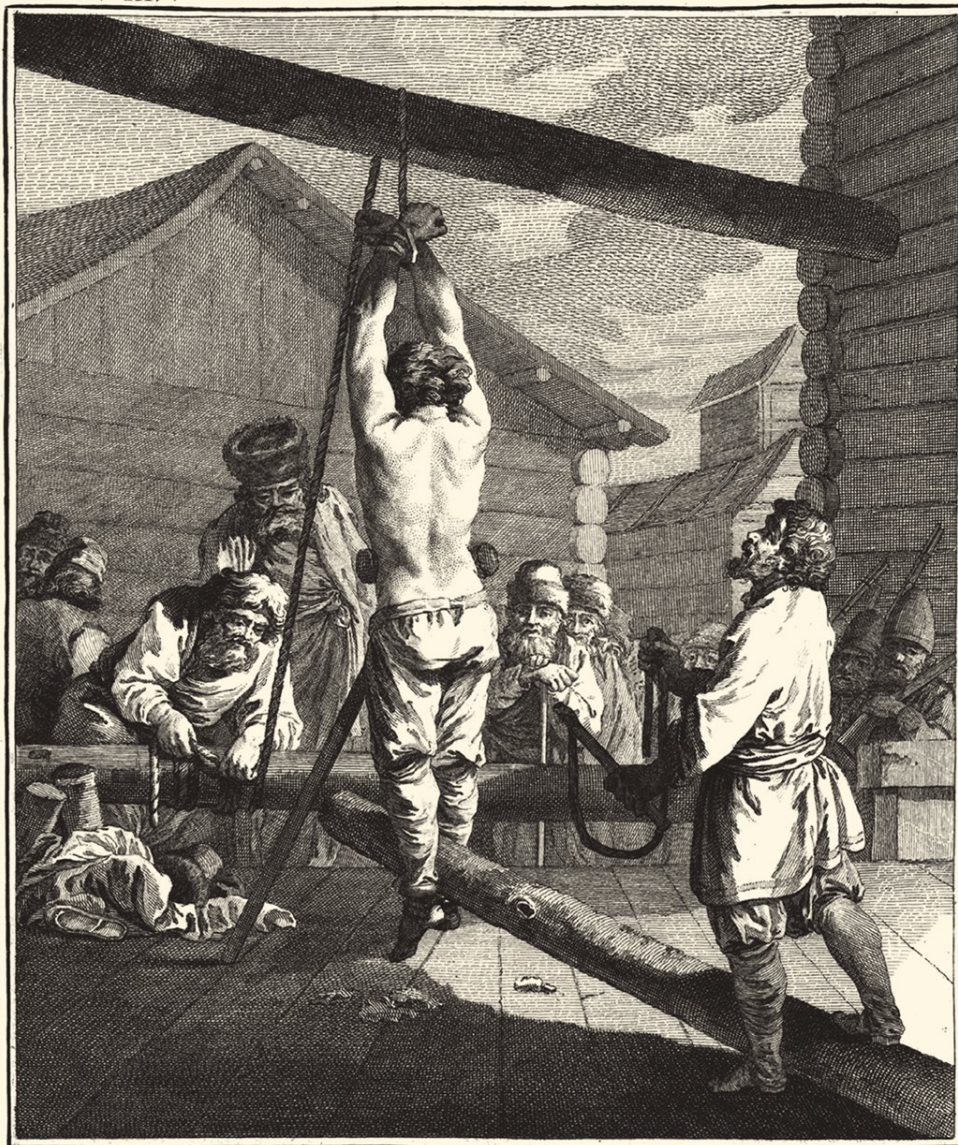
J.B. Tillard Sculp.

SUPPLICE DES BATOGUES.

Жан Батист Лепренс. Наказание батогами. Гравюра. 1766

Иллюстрация из книги «Путешествие в Сибирь» аббата Жана Шапп д'Отроша. 1768

Tom. I. N^o. XIV.



SUPPLICE DU GRAND KNOT.

Жан Батист Лепренс. Наказание «великим» кнутом на дыбе
Гравюра. 1766

Иллюстрация из книги «Путешествие в Сибирь» аббата Жана Шапп д'Отроша. 1768

Tom. I. N^o XIII.



SUPPLICE DU KNOT ORDINAIRE.

Жан Батист Лепренс. Наказание обычным кнутом (Наказание Н. Лопухиной). Гравюра. 1766

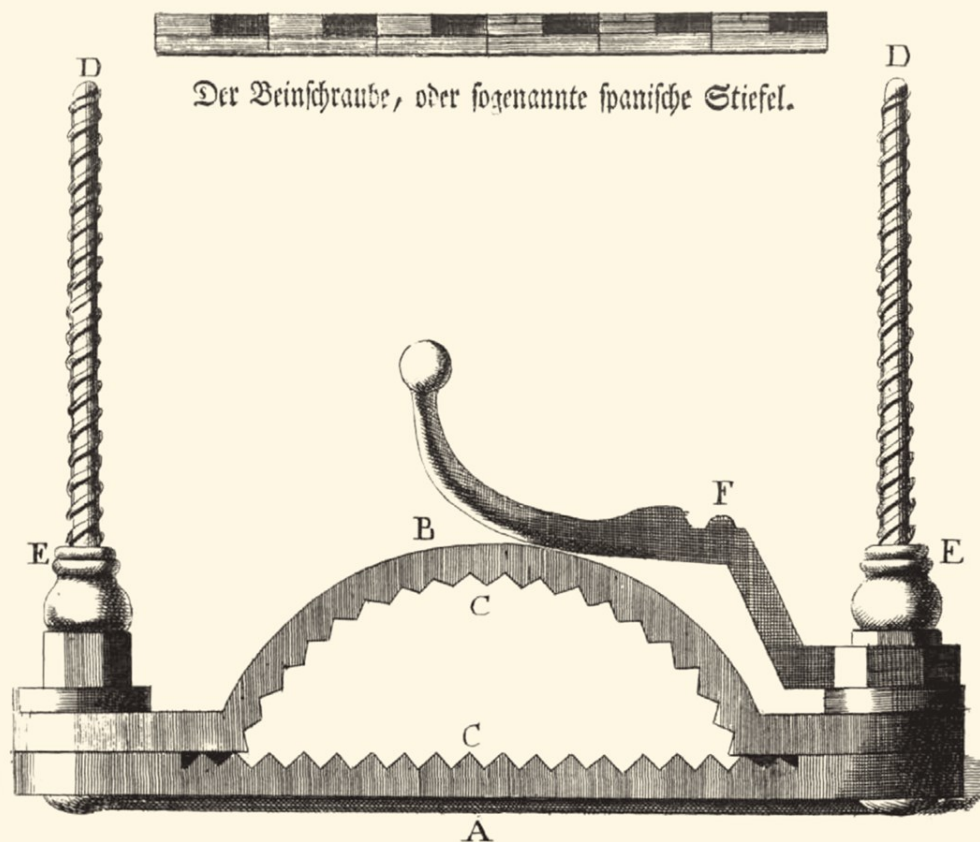
Иллюстрация из книги «Путешествие в Сибирь» аббата Жана Шапп д'Отроша. 1768

XLVI

Figura IV.

Maßstab von 6. Wiener Zoll.

Latus I.



Erklärung der Buchstaben.

- A. Das untere $8\frac{1}{2}$. Zoll lang- und $\frac{3}{8}$. Zoll dicke flache Eisen.
 B. Das obere eben $8\frac{1}{2}$. Zoll lang- und $\frac{3}{8}$ tel Zoll dicke Eisen, welches einen Bogen formiret, der in der Weite $4\frac{1}{4}$. Zoll, und der Höhe nach von dem unteren Eisen in der Mitte $1\frac{1}{2}$. Zoll ausmisset.
 C. Die in beyden Eisen einwendig $\frac{3}{8}$ tel Zoll tief eingefeilte Zähne.
 D. Die Schraubenspindeln.
 E. Die Schraubenmütter.
 F. Der Schraubenschlüssel, womit die Schraubenmütter an den Schraubenspindeln wechselweis angezogen werden, und andurch das obere Eisen immer mehr, und mehr gegen das untere herab gedrucket wird.



На этом развороте: Тиски для пальцев и способы их применения

Переламывание голеней с помощью «испанского сапога»

Иллюстрации из приложения к австрийскому Уголовному кодексу Марии Терезии. 1768



Неизвестный художник. Портрет Иоанна VI
(Иоанна Антоновича)
Русский музей, Санкт-Петербург



Федор Буров. Шлиссельбургский узник (Посещение Иоанна Антоновича Петром III в Шлиссельбургской крепости). 1885
Русский музей, Санкт-Петербург



Казнь Емельки Пугачева в Москве 10 января 1775 года
Литография издателя А. Руднева. 1865. Библиотека Конгресса США



Неизвестный художник. Портрет генерал-прокурора Александра Алексеевича Вяземского. Вторая половина XVIII в.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург



Виргилиус Эриксен. Портрет императрицы Екатерины II. Вторая половина XVIII в.
Рейксмузеум, Амстердам



Александр Орловский. Каторжники под конвоем. Рисунок. 1815
Русский музей, Санкт-Петербург



Девятихвостая кошка. Англия, XVIII – середина XIX в.
Музей науки, Лондон

Список иллюстраций

1. Правёж – наказание должника. Пытка водой. Наказание батогами. Фототипии из книги «Заметки о России, ее коммуникациях с укреплениями и границах, сделанные Эриком Пальмквистом во время последнего королевского посольства к московскому царю в 1674 году». Стокгольм, 1898.

2. Казнь стрельцов в 1698 году. Гравюра. Иллюстрация из книги Иоганна Корба «Дневник путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю Петру Алексеевичу в 1698, веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом». 1700–1701.

3. Незвестный художник. Портрет царевича Алексея Петровича. XVIII в. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2019. Фотографы: А. М. Кокшаров, Л. Г. Хейфец.

4. Якопо Амигони. Портрет Петра I Великого. Национальный музей Швеции, Стокгольм/Nationalmuseum, Stockholm.

5. Вид с востока на Шорскарский погост на Оби. Вид поселения Троицкое на реке Обь в Сибири. Гравюра по рисункам Томаса Кёнигфельса. Иллюстрация к «Выдержкам из описания поездки, сделанной в 1740 году в Березов в Сибири» Жозефа-Никола Делиля, опубликованым в XVIII томе «Всемирной истории путешествий» аббата Прево. 1768.

6. Вид города Осы с восточной стороны. Гравюра по рисунку Томаса Кёнигфельса. Иллюстрация к «Выдержкам из описания поездки, сделанной в 1740 году в Березов в Сибири» Жозефа-Никола Делиля, опубликованным в XVIII томе «Всемирной истории путешествий» аббата Прево. 1768.

7. Вид острога в Березове. Слева соборная церковь Рождества Богородицы, справа церковь, построенная А. Д. Меншиковым. Гравюра по рисунку Томаса Кёнигфельса. Иллюстрация к «Выдержкам из описания поездки, сделанной в 1740 году в Березов в Сибири» Жозефа-Никола Делиля, опубликованным в XVIII томе «Всемирной истории путешествий» аббата Прево. 1768.

8. Иоганн Готфрид Таннауэр (?). Портрет президента коммерц-коллегии графа Петра Андреевича Толстого. 1710-е © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2019. Фотографы: А. М. Кокшаров, Л. Г. Хейфец.

9. Незвестный художник. Портрет графа Андрея Ивановича Остермана. Конец XVIII – начало XIX в. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2019. Фотографы: А. М. Кокшаров, Л. Г. Хейфец.

10. Евграф Чемесов по оригиналу Пьетро Ротари. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Гравюра © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2019. Фотографы: А. М. Кокшаров, Л. Г. Хейфец.

11. Иоганн Давид Шлойен Старший. Портрет графа Иоганна Германа Лестока, лейб-медика Елизаветы Петровны. Гравюра. Первая половина XVIII в. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2019. Фотографы: А. М. Кокшаров, Л. Г. Хейфец.

12. Валерий Якоби. Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. 1872 © Государственная Третьяковская галерея, Москва, 2019.

13. Незвестный художник. Портрет Анны Иоанновны. Вторая четверть XVIII в. © Русский музей, Санкт-Петербург, 2019.

14. Незвестный художник. Портрет начальника Тайной канцелярии Андрея Ивановича Ушакова. Середина XVIII в. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2019. Фотографы: А. М. Кокшаров, Л. Г. Хейфец.

15. Николай Бестужев (?). Шлиссельбург: каземат с орудиями пыток XVIII в. Рисунок с натуры в 1826 г. Опубликовано в журнале «Русская старина». 1892. № 5. С. 270.

16. Жан Батист Лепренс. Наказание батогами. Гравюра. 1766. Иллюстрация из книги «Путешествие в Сибирь» аббата Жана Шапп д'Отроша. 1768.
17. Жан Батист Лепренс. Наказание «великим» кнутом на дыбе. Гравюра. 1766. Иллюстрация из книги «Путешествие в Сибирь» аббата Жана Шапп д'Отроша. 1768.
18. Жан Батист Лепренс. Наказание обычным кнутом (Наказание Н. Лопухиной). Гравюра. 1766. Иллюстрация из книги «Путешествие в Сибирь» аббата Жана Шапп д'Отроша, 1768.
- 19, 20. Тиски для пальцев и способы их применения. Переламывание голеней с помощью «испанского сапога». Иллюстрации из приложения к австрийскому Уголовному кодексу Марии Терезии. 1768.
21. Неизвестный художник. Портрет Иоанна VI (Иоанна Антоновича) © Русский музей, Санкт-Петербург, 2019.
22. Федор Буров. Шлиссельбургский узник (Посещение Иоанна Антоновича Петром III в Шлиссельбургской крепости). 1885 © Русский музей, Санкт-Петербург, 2019.
23. Казнь Емельки Пугачева в Москве 10 января 1775 года. Литография издателя А. Руднева. 1865. Библиотека Конгресса США / The execution of Emilian Pougatchiff in Moscow Janu. 10th, a pretender to the throne in the reign of Catherine the 2nd. Moscow Russian Federation, 1865. Moscow: Printed by A. Rudnev. Photograph: <https://www.loc.gov/item/2012648848/>.
24. Неизвестный художник. Портрет генерал-прокурора Александра Алексеевича Вяземского. Вторая половина XVIII в. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2019. Фотографы: А. М. Кокшаров, Л. Г. Хейфец.
25. Виргилиус Эриксен. Портрет императрицы Екатерины II. Вторая половина XVIII в. Рейксмузеум, Амстердам/Rijksmuseum, Amsterdam.
26. Александр Орловский. Каторжники под конвоем. Рисунок. 1815 © Русский музей, Санкт-Петербург, 2019.
27. Девятихвостая кошка. Англия, XVIII – середина XIX в. Музей науки, Лондон/Science Museum, London. CC BY.